

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 г.

№ 5 (664) • 2011

«ЮНОСТЬ» © С. Красавская. 1962 г.



Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

E-mail: unost-contact@mail.ru
<http://unost.org>

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Валерий ЗОЛОТУХИН
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Валентина ЛАНЦЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

главный редактор,
заведующий отделом поэзии
Валерий ДУДАРЕВ
главный художник
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
заведующая отделом критики
Анна КОЗЛОВА
ответственный секретарь
Ярослав ЛИТВИНЕНКО
заведующий отделом культуры
Александр МАХОВ
заместитель главного редактора,
заведующий отделом прозы
Игорь МИХАЙЛОВ
главный консультант
Эмилия ПРОСКУРНИНА
заведующая отделом
духовного наследия
Марина РЫБАКИНА
заведующая отделом
публицистики
Екатерина САЖНЕВА
консультант главного редактора
Евгений САФРОНОВ
директор по развитию
Светлана ШИПИЦИНА

**ТЕМЫ НОМЕРА: 1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА
2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ**

ПОЭЗИЯ

Евгений КАМИНСКИЙ	3
Александр ОРЛОВ	48

ПРОЗА

Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ	
ЯПОНО-ЗЫРЯНСКАЯ ЛЮБОВЬ Из воспоминаний бывшего лейтенанта	9
КАК Я ЕХАЛ ЖЕНИТЬСЯ Быль, похожая на сагу	16
Наталья ЛАВРЕЦОВА	
ЗЕЛЕНЕЕ СОЛНЦЕ Повесть. Продолжение	51
Ильдар АБУЗЯРОВ	
МУТАБОР Недельный роман. Продолжение	133

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ

БЕСЕДА С ОЛЖАСОМ СУЛЕЙМЕНОВЫМ	45
--	-----------

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА

Лев АННИНСКИЙ	
ФИС ГЮНТ	85

ШУМ ВРЕМЕНИ

Дмитрий ТАРТАКОВСКИЙ	
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ	86

БИБЛИОТЕКА ПЕРЕВОДА

Наим АРАЙДИ Израиль	114
СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ БОЛГАРИИ	

Елена ИСАЕВА

СЛАВЯНСКИЕ ПРИГРУДКИ	118
-----------------------------------	------------

Иван ДИНКОВ	118
Калина КОВАЧЕВА	119
Надя ПОПОВА	120
Станка ПЕНЧЕВА	121
Елка НЯГОЛОВА	122
Владимир СТОЯНОВ	124
Даниела СТОЙНОВА	125
Елица ВИДЕНОВА	125
Иван СТАВРЕВ	126

БИБЛИОТЕКА ПЕРЕВОДА / НАСЛЕДИЕ

Фридрих НИЦШЕ	127
Людмила БОЛОТНОВА	

ГЕНИЙ БЕЗУМИЯ	130
----------------------------	------------

ЖЕНСКИЕ ВЕДЫ

Светлана КАЙДАШ-ЛАКШИНА	
20 ШЕЛКОВЫХ ПЛАТЬЕВ	149
НАША ПРОСТИТУЦИЯ	150

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Дмитрий БОБЫШЕВ	
УВИЖУ САМ Человекотекст, книга 3. Продолжение	151

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Анна БРИКМАН г. Москва	155
Ольга ТОЛМАЧЕВА г. Москва	158
Антонина ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА г. Берлин	162

В КОНЦЕ КОНЦОВ

// Детектив на ночь //

Евгений РЫК	
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО Плутувской роман. Окончание	171

// Зеленый портфель //

Розалия ВАХИТОВА	
КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ	181

// «До востребования» //

Галка ГАЛКИНА	
А НЕ УПРАЗДНИТЬ ЛИ НАМ БУКВЫ К ЕДРЕНЕ ФЕНЕ?	183

// VERIORA VERIS //

Шалун ГЕО, человек под оркестром	
ВЧЕРА КУПИЛ ВТОРУЮ ЛЫЖУ, А СНЕГ СОШЕЛ!	184

Заведующая редакцией

Лидия ЗЯБИНА

Заведующий отделом информации

Игорь РУТКОВСКИЙ

Специальный корреспондент

по Белгородской области

Нила ЛЫЧАК

Редактор-корректор

Юлия СЫСОЕВА

Верстка и оформление

Елизавета ГОРЯЧЕНКОВА

Главный бухгалтер

Алла МАТЮХИНА

Финансовая группа

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Заведующая отделом рукописей

Ирина УШАКОВА

Интернет-версия

Наталья СЫСОЕВА

Секретарь-референт

Анастасия АХРОМЕЕВА

Дежурные по редакции

Аврора КОТОВА

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Людмила ГУДКОВА

Администратор

Зинаида ПОТАПОВА

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправок:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: **+7 (499) 251-31-22,**

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: **+7 (499) 250-40-60**

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Авторы несут ответственность

за достоверность предоставленных

материалов. Мнения автора

и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка

на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в типографии

ФГУП «ПИК ВИНТИ»

140010, Люберцы, Московская обл.,

Октябрьский пр., 403

Тел. **+7 (495) 974-69-76**

Тираж 6 500 экз.

Формат: 60x84/8

Заказ №



Евгений Каминский — поэт, прозаик, член СП СССР (ныне — Союза писателей Санкт-Петербурга).

Родился в Ленинграде в 1957 году. Окончил Ленинградский государственный университет в 1980 году. В журнальной периодике публикуется с 1986 года (стихотворная подборка в журнале «Нева», № 8). Участник нескольких поэтических антологий, наиболее известные из которых — «Поздние петербуржцы» и «Строфы XX века». Автор многочисленных (более шестидесяти) журнальных публикаций, в том числе в журналах «Звезда», «Нева», «Аврора», «Октябрь», «Волга», «Урал», «Литературная учеба», «Северная Аврора», «Литературус» (Хельсинки) и др. Публиковался в «Литературной газете», в отечественных и зарубежных альманахах, в частности в альманахах «Поэзия», «День поэзии» «Истоки», «Подвиг», URBI, «Васильевский остров», «XXI век» (Германия) и др., а также во многих коллективных сборниках.

Лауреат литературной премии независимой преподавательской ассоциации (1992 г.) за поэзию. Лауреат премии Гоголя (2007 г.) за роман «Князь Долгоруков».

Автор семи поэтических сборников: «Естественный отбор», «Толпа», «Исход», «Процесс», «Командированный», «Память смертная», «Из мрамора».

О ПОЭЗИИ

Там, где летящее в вечности небо сталкивается с Землей, со всего размаху расплющиваясь о башни, стены, крыши и ограды несвободы, живут, копошатся, ненавидя, толкая, пожирая друг, друга разные твари, некоторые из них когда-то были призваны к небесной жизни.

О эти твари, носящие внутри себя кусочки голубого неба! Как беззаветно влюблены они во все земное — неподъемное, тленное, лживое, несвободное, с какой радостью готовы платить за него собственным небесным!

Ну зачем им поэзия — этот инструмент поиска Слова, того самого Слова, что было прежде Всего и было Всем, того, что однажды, больно преломив плоть *невольника*, почти ничего от него не оставив, ведет его за собой, чтобы хотя бы одного вывести к Истине.

Поэзия без Слова — высосанная муха. Форма без содержания. Изящная, мертвая, бессмысленная. Такая истлеет прежде, чем просмердит ее сочинитель на каком-нибудь Ваганьковском или на Новодевичьем... Однако же и этой мертвой формой, этими заумными словечками можно дурачить публику: удивлять, восхищать всех этих давно расчеловеченных, счастливо оскотиненных и радостно безбожных, сидящих в уютных залах на поэтических вечерах в предвкушении последующих фуршетов. Эта виртуозная мертвечина может поднимать настроение, ломать представления и даже опускаться ниже плинтуса. Вполне может... Только одного не может — поражать в самое сердце любителя фуршетов, ломая хитиновый слой, за которым прячется розовая мякоть, давно тоскующая по небу.

Евгений Каминский



* * *

Умом Россию не понять...

Ф. Тютчев

Я из этих болот, из лесов, полных вещега страха.
В этих варварских нетях уже я по горло погряз.
Мне как раз по плечу клочковатого неба рубаха
и повальная скорбь деревень мне по сердцу как раз.

Узнаю эту жизнь по скирда́м и рекордным надоям.
Этот в люди народ выходящий с утра на бровях...
Я люблю это право себя утверждать мордобоем,
если не за что больше полечь в беспощадных боях.

И бабье, ничего уж не ждущее у хлеборезки,
разве кукиш в кармане несущее в дом мужичье...
Я люблю эту светлую веру в ничто по-советски
и на лучшую долю люблю это право ничье.

Я люблю это русское поле с хрустальной росой,
где, бежать не пытаясь, склонилась колосьями рожь,
для которой весь выбор — лишь между серпом и косою,
да еще ожиданья последнего ужаса дрожь.

Нет, умом не понять, не измерить аршином... Иная,
чем у прочих, твоя на хулу обреченная статья...
Я бы верил в тебя, только нет тебе веры, родная.
Так любить хоть позволь, не гони. Что с тебя еще взять?!

* * *

Кого погубили слова,
тому доживать втихомолку...
Убрать бы морщины со лба,
на пальцах бы сделать наколку.

И тайно, на страх свой и риск,
оставив семью под вопросом,
убраться бы в Новороссийск,
на сейнер наняться матросом.

Чтоб боцман тебя научал,
слегка привирая, как Троцкий,
швартовы бросать на причал,
рубать макароны по-флотски,

коптить для старпома угря
и вспарывать брюхо наваге,

с апреля и до ноября
нося в себе море отваги,

чтоб с бака блевать на волну,
по самые уши в тавоте...
Как будто ушел на войну —
и больше ничто не заботит...

Как будто погиб на войне,
но не для того, чтобы птицей
парить наконец-то вовне,
а чтоб наконец-то родиться.

* * *

Жизнь уже мимо течет.
Жаль, что еще ты — не птица...
Выставлен гамбургский счет.
Значит, пора расплатиться.

Добрый бараний тулуп,
старенькой мамы сережки...
Только оценщик так скуп,
что не заплатит и трешки...

Что ему с прошлым мешки?!
Разве что эта вещичка —
чем черт не шутит! — стишки?
Может, прочтет и смягчится.

Слов драгоценный металл —
самый нетленный, по слухам...
Это ли не капитал
даже для нищего духом?!

Может, присвистнет в кулак
сей обездушенный хламом,
видя, какой Пастернак
в руки идет с Мандельштамом.

Может быть, выкрикнет: «Ша!»,
пачку швыряя банкнотов.
Мол, христианка душа
даже у нас, живоготов!

И, доведя до дверей,
скажет восторженно, с жаром:
«Ты уж умри поскорей,
чтоб это стало товаром».



* * *

Скрученный, как валторна,
смысл нерожденных строк
радостно и просторно
сердцу дарил восторг,

предвосхищавший слога
первого в слове звук...
Бывшему дудкой Бога
как это — согнуть вдруг?!

Быть наравне с травой
вытоптаным дотла
нынешней татарвою?!
Чисто метет метла

новых времен по старым...
Выйдешь с берегов Невы,
слово отдавший даром,
превозмогая рвы,

горы передвигая,
волн прогибая гладь...
В сердце струна тугая
стонет: не смей рыдать!

Это еще не точка.
(Мало ли что — не в мочь!)
Будет и в грудь заточка,
и за колючкой ночь.

Станет еще кошмаром
быль о родной стране,
где погибал ты даром,
быть не желавший вне.

* * *

Поезд ушел. Даже даль не дрожит — тишина.
Тянет с испугу пуститься вдогонку по шпалам...
Стоит ли тщиться тому, чья судьба решена?
Право, не лучше ль, смирившись, утешиться малым?

Пыльной ромашкой, болотиной с ржавой водой,
хилой ветлой, что, весну разлюбив, надломилась...
Синего неба над лесом кусок дармовой
для понимающих — чем не последняя милость?!

Кто его знает, что нас по прибытии ждет!
(Что если — с длинной косою безносая дева?)
Ах, этот поезд, умеющий только вперед
и повернуть не имеющий права налево!

Ах, кочегар этот, любящий жару поддать,
с красным лицом, потемневшим от угольной пыли!
Тот, для которого в бездну лететь — благодать.
Тот, о котором в вагонах, похоже, забыли.

Право, не лучше ль в отставших от поезда нам
числиться здесь, согреваясь огнем из бутылки,
чем кочегар этот вечно смеющийся там,
в пункте конечном, объявит с издевкой: «Приплыли!»

Мать

И когда повели Его, пыль поднимая окрест,
каждый волос с Его головы объявив вне закона,
ты, за сон посчитавшая этот постыдный арест,
до последнего ждущая крыл легион с небосклона,

при стечении праздничной, стыд потерявшей толпы,
в эту пятницу вставшей на путь мятежа и разрыва,
все желала проснуться, к горе направляя стопы,
шевелившейся морем живым от людского наплыва.

Глядя в бельма собратьев, хулой искаженные рты,
разрываясь в себе меж любовью и ужасом, между
двух обрывков эпохи по сердцу разорванной, ты
по смирению только не смела оставить надежду.

Даже там, на вершине, когда Его вздыбил палач,
а обветренный воин меж ребер копье Ему вставил,
ты, из сердца не выпустив твердь сокрушающий плач,
понимала, что личное это теперь против правил.

И под ржанье коней, крики римлян, хвативших винца,
сквозь толпу иудеев вдруг зрелищ взалкавших плебейски,
ты несла свое сердце, брела, ожидая конца...
Но когда взял ту кровь на себя твой народ иудейский, —

все двенадцать колен, обступив Его, как воронье, —
то мольбою такой, что не снилась и высям Синая,
выкупало у черного космоса сердце твое
всех ревущих «Распни!» здесь, за каждого из распинаясь!



* * *

Порох вышел. Остался слезу выжимающий дым,
за живое хватающий призрак блаженства былого —
как на дачу, когда мог беспечно поехать в Надым,
словно этот Надым есть не больше, чем дикое слово.

Ох уж эти слова! Нет, не те, что молот языком,
а бесшумные те, что, во мне оставляя невольно
ощущение бездны, все шли сквозь меня косяком
для кого-то другого. Но именно мне было больно.

Это я надрывался, а вовсе не тот дуралей,
что держал, упиваясь слезами горючими сладко,
этих слов благородную тяжесть в тетрадке своей,
посчитав, что их автору должно сгореть без остатка...

Это мне отвечать за слова, а ему — лишь одно:
их без счету транжирить... Ну как не любить дуралея,
змеем таким льющего строф колдовское вино
в душу птички надушенной где-нибудь в темной аллее?!

* * *

Ты там была, где не было меня.
В твоих владеньях, жаром благородным
весь день пылая, доблестью звеня,
я был, наверно, телом инородным.

Сказать, что ты всегда была при мне
изгибом шеи, душным опереньем,
а трепетной душой — на стороне,
еще не повод для стихотворенья.

Сказать, что даже выгнувшись дугой
в тисках любви, как в лапищах Прокруста,
я был, по сути, истиной другой,
чем та, что утоляет, — не искусство...

Но вот душа, что, тщетна и тиха,
в руках Любви как нищенская кружка —
удобная копилка для стиха
и для искусства славная игрушка.



Михаил ЛИВЕРТОВСКИЙ



Мне почти 88. Я инвалид Великой Отечественной войны. Незнакомые порой кличут «дедулей», но через пару слов мы с новым собеседником становимся ровней — независимо от его возраста и положения. Этому научила нелегкая, но интересная жизнь. Мне довелось обитать в разных городах и селах, встречаться с интересными людьми, многому учиться. Ну а Великая Отечественная война?! Ее прошел от Подмосковья — через Смоленск, Сталинград, Украину, восточную Европу — до чешской Праги! И в войне с Японией — через пустыню Гоби, Хинган — до Порт-Артура! Офицером в Гвардейской танковой армии.

После я работал токарем на Пресненском заводе. В Торговой палате — художником-оформителем. Воспитателем в детском доме... И тридцать лет трудился на Центральном телевидении редактором, режиссером. А в последние годы — штатным сценаристом в литдрамвещании.

Печататься начал во фронтовых газетах. Позже не переставал сотрудничать с московскими изданиями, киностудиями. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.

На моей памяти рождалась «Юность». Сохранился в памяти небывалый успех журнала, его авторов. Я обрадовался возрождению «Юности», и, откликаясь на ваш призыв, предлагаю две рукописи: о японо-зырянской любви, свидетелем которой был, и о том, как я ехал жениться на незнакомке, — этой свадьбе в этом году в апреле исполнилось 65 лет! Посмотрите.

С уважением, ЭМБэ

ЯПОНО-ЗЫРЯНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Из воспоминаний бывшего лейтенанта

Э то случилось... Не-ет, конечно же, то, что произошло — не случай, а — событие! Не оттого ли оно так прочно обосновалось в моей памяти, не покидая ее вот уже больше шестидесяти лет? И всякий раз, всплывая, причиняет мне острую боль, погружает в глубокую печаль и... радуется! Да-да...

Ее, японку, звали Сацико. В ту пору бездетной вдове было лет так (если я правильно понимал язык ее жестов и кокетливую улыбку, соскользнувшую с узких губ) за тридцать. А зырянину Коле, заряжающему второго орудия первого огневого взвода, едва исполнилось восемнадцать. Он прибыл в нашу часть с последним военным призывом из республики Коми, только и успев поучаствовать в событиях на Дальнем Востоке.

Когда же Япония капитулировала и Вторая мировая завершилась, у Сацико с Колей (или у Коли с Сацико) все и началось...

Было это в конце 1945 года на севере Китая — в Маньчжурии.

Наша воинская часть еще оставалась там в ожидании эшелонов для отправки на Родину, и мы временно расположились на окраине города Мукдена в бывших японских казармах. Но скорая встреча с Отчиной стала по разным причинам откладываться и омрачаться уймой неприятностей: в Китае вспыхнула гражданская война, разгулялись банды. А что стоило наше поселение по соседству с семьями японских офицеров?! Ведь они были окаменело закрыты. Даже дети не обращали на нас никого внимания, на



наши машины, пушки. Японская замкнутость казалась взрывоопасной...

Сегодня может показаться смешным упоминание о «пугающем соседстве». Но ведь и сегодня японское общество не очень открыто. А тогда мы никакого представления о жизни японцев, об их женщинах, детях не имели. Ну кто-то слышал оперу «Чио-чио-сан», кому-то был ведом смысл слова «гейша». Тогда ведь телевидения не было, заграничных фильмов не показывали, а радио, печать не очень распространялись о быте и характере Страны восходящего солнца. Да, мы знали, что у них есть император Микадо, самураи, смертники-камикадзе, остальной же народ был для нас массой солдат, которая только и делала, что захватывала разные страны, покоряла народы да постоянно штурмовала наши неприступные границы. Мы, конечно, понимали, что даже таких зловредных вояк должны были производить на свет женщины. А прежде чем эти вояки станут вояками, им нужно какое-то время побыть детьми. Но представить себе этих детей играющими в прятки, салочки, ходящими в школу, наконец, мы даже не пытались. Представить же японок работающими, студентками, влюбленными девицами, женами, кормящими мамами — просто не могли. А уж офицерскими женами — верными, заботливыми и нас ненавидящими за то, что мы их мужей победили, пленили, а некоторых даже убили... и потом еще вообразить их способными влюбляться в нашего брата — такое ни в каком сне не могло присниться!

Но именно это и произошло. Нет-нет. Это не значит, что они стали бросаться нам на шею или распахивать свои объятия... Они смогли смягчиться и открыться. Этим семьям пришлось многое преодолеть. А помогли им, как ни странно, разгулявшиеся тогда бандиты.

...Рядом с казармами, где мы расположились, выстроилась шеренга домов, целый квартал — для семей японцев-окупантов. При нас мужчин там уже не было — кто погиб, а кто попал в плен. Обитали в тех домах только женщины и дети. Вот на них-то и стали нападать бандиты под лозунгом мщения за оккупационную жестокость мужей. Вдов и отпрысков грабили, избивали, насильвовали. И делали это, как правило, по ночам. Власти города почему-то не преследовали погромщиков. А нам мешало это делать союзническое соглашение о невмешательстве.

Тогда японки попробовали защититься одной лишь близостью к нам — победителям! И как-то, на ночь глядя, их семьи разбили лагерь вокруг казарм. Им повезло — мы их не прогнали, и «мстители» не решились подойти к нашему «забору»! А после трудного объяснения с союзниками мы разрешили нашим соседям и далее так коротать ночи. Но это

возможно было только в хорошую погоду, а в ненастье нам, по причине душевной доброты, пришлось ютиться эти семьи в казарме.

Наши люди, всегда готовые помочь потерпевшим, принимали гостей радушно. Гости же вели себя очень сдержанно. Должно быть, не могли простить себе такого унижения: спастись под крылом врага! Как плененные, они входили в казарму, а там, быстро отыскав темные углы, места под лестницей, больше никак себя не проявляли. Лишь в случае дежурного обхода или неожиданной встречи с «нашим человеком» они, в каком бы состоянии ни находились — сидя, лежа, — вскакивали, молитвенно складывали ладони на груди, покорно кланялись и уступчиво пятились, если пространство позади них позволяло. Различали ли они нас по званиям или возрасту, не знаю. А мы их — только по цвету халата или, как у них называется, по кимоно! Все они казались нам, как и в первые дни, на одно лицо.

Но природа ведь никогда ничего не создавала одинакового — штампы не ее стихия. И пришлось недолго ждать, чтобы она это лишний раз доказала.

Мне довелось увидеть, как совершавший дежурный обход боец Коля буквально наткнулся на вынырнувшую из-под лестницы японку. (Я тогда не знал, что это была Сацико, и знаком ли был с ней Коля до того, тоже не ведал.) Она испуганно сжалась, соединила на груди ладони, уткнулась в них носом, закрыла глаза и попробовала пятиться. А Коля остановил ее, взял в свои руки пальцы сжавшихся ладоней. Разъединил их, и ему открылись крепко зажмуренные глаза и дергающиеся в смущенной улыбке губы. Он тоже улыбнулся. Дотронулся до ее плеча, чтобы успокоить. Отошел на пару шагов, оглянулся. За ним следил один приоткрытый глаз японки. Он еще раз улыбнулся, помахал ладонью, прощаясь. При этом он игриво пошевелил пальцами. Японка попробовала повторить его жест. Но вдруг смутилась и стыдливо закрыла лицо руками. Я тоже улыбнулся, и тогда, и сейчас. Такая встреча с таким прощанием не могла не позабавить. А сейчас подумалось, что именно та встреча произвела на японку такое сильное впечатление, что даже одним глазом она сумела разглядеть в Коле что-то привлекательное, цепляющее. Да, а его прикосновение к ее плечу?!

Позже мне представили эту женщину как способную вести переговоры по смягчению возможных конфликтов между нами и гостями. Она владела английским, знала даже несколько русских слов, китайских, а я говорил по-немецки, имел на вооружении несколько китайских и японских слов. Нельзя было, разумеется, сбрасывать со счетов язык жестов. Все это позволило мне узнать, что ее зовут Сацико, что она вдова погибшего офицера достаточно высо-



Рисунок Антонины Решетниковой

кого ранга, что она потеряла мать и двоих детей во время атомной бомбардировки Нагасаки. К тому же, сообщая о гибели мужа, вдова вся как-то подтянулась, давая понять, что гордится подвигом человека, отдавшего жизнь за императора, Японию! Во время переговоров Сацико вела себя достойно, разумно. Напрягая шею, высоко тянула голову. Отчего казалась намного выше, чем была на самом деле.

Интересно, когда я разговаривал с Сацико, то все время пытался соединить две половинки этой женщины — сидящей передо мной и той, что случайно повстречалась с бойцом Колей. Не получалось. И еще я долго не мог понять, почему Сацико, когда приходила ко мне, часто озиралась, всматривалась в лица встречавшихся бойцов. Скорее всего, она искала среди них бойца Колю. Уже тогда, должно быть, отсутствие его в поле зрения томило Сацико.

А боец Коля... Фамилии его не помню. Ее редко произносили. Обычно бойцов звали только по фамилиям, а он оставался почему-то для всех и всегда — Колей. Среднего роста, белесый, со светло-голубыми глазами... Скорее можно было сказать, что он казался бесцветным, мягким, незаметным, лишенным каких-либо отличительных признаков. Очень немногим было известно его умение увлекаться, дотошно в чем-то разбираться. Далеко не всем доводилось увидеть, как загораются особым блеском его глаза. Как он в эти моменты становится плотнее, крупнее, жестче, как его энергетика, дотеле жидковатая, обретала ясные очертания. А когда понятливость, умение и возможности Колины проявлялись и не могли не удивить мало знавших его товарищей, то он объяснял это тем, что происходит не просто из коми, а из коми-зырян, подчеркивая, что из зырян происходили Ломоносов, Распутин и



знаменитый философ-социолог Сорокин! Вряд ли он успел (вернее, сумел бы!) к тому времени все это сообщить Сацико. Да если бы и успел, то вряд ли она смогла оценить перечисленные достоинства.

Ведь в любви (а то, что у них была любовь, сегодня я могу утверждать с уверенностью!) ищется и ценится совсем другое. Теперь, в солидном возрасте, я хорошо знаю, что любовь на многое способна. Она может ослепить, но может вооружить влюбленного «приборами», которые позволят без труда обнаружить в любимом такие качества и возможности, о которых их обладатель даже не подозревает!

Сдержанность наших «гостей», обогреваемых вниманием «хозяев», заметно таяла. Но первый шаг к оживлению сделали дети. Сначала они принялись пересчитывать ступеньки казарменных лестниц. Позже заинтересовались пушками, машинами, когда бойцы проводили чистку матчасти, ее регулировку. Детское любопытство не мешало, оно даже забавляло личный состав. Незаметно бойцы и офицеры стали все чаще обмениваться мнениями по поводу детской активности... с их мамами.

А потом... я еще раз увидел, как заряжающий второго орудия первого взвода обменивается улыбками с той, которую звали Сацико. И в какое-то мгновение показалось, что они понимают друг друга. Разговаривают. Когда же они прощались, то помахивали друг другу ладонями, игриво перебирая пальцами. Притом парочка не обращала никакого внимания на удивленные взгляды окружающих.

Надо сказать, что разговаривали, ну, скорее, общались, почти все. Почти у всех с кем-то как-то складывались какие-то отношения. Совершенно по-разному (и не могло быть иначе), ведь никто ни на кого не был похож — ни наши ребята, ни японки, ни их дети. Кто-то был застенчив, кто-то — лукав, проворен, кто-то тянулся к прикосновениям, а кто-то их старательно избегал... Но при этом все заглядывались на Колю с Сацико. Трудно сказать, что занимало всех. Осуждали эту пару или пробовали брать с нее пример?

Мне же нравился любой мотив, я радовался отсутствию конфликтов. Но мой заместитель по политической части усмотрел в общении личного состава с японками и их детьми «размагничивание воинской дисциплины». Я попытался его успокоить: мол, скоро мы уедем, а у вчерашних врагов останутся в памяти наша открытость, доброта, и они потом расскажут сестрам, братьям, мужьям, папам. «Священный долг» мешал замполиту сразу со мной согласиться, но...

Вскоре меня вызвали в штаб армии. Обсуждалась проблема отъезда на родину. Поиск времени и места погрузки занял почти весь день. Когда же я

вернулся в казарму, то попал в самый разгар переустройства: мои подчиненные приспособляли для обитания наших гостей спортзал. Все занятия физкультурой личного состава решили перенести на свежий воздух. Это было предложение старшин подразделений, одобренное всеми командирами и, что меня особенно обрадовало, замполитом. Я ему благодарственно пожал руку. А когда на ночлег стали собираться наши уже не просто «гости», а «желанные», и нельзя было не заметить, что они дружно волокут тележки с выстиранным и выглаженным солдатским бельем (!), то я даже обнял замполита!

И тут через его плечо я заметил, как к старшине артбатареи подбежала Сацико и жестами стала объяснять (ну совсем как девчонка!), что ей нужна помощь, она одна, ей трудно тащить тележку. Рядом со старшиной стоял Коля, его-то старшина и подтолкнул к японке: помоги, мол... На лице японки вспыхнуло и заиграло благодарственное сияние.

Легко было догадаться, что Сацико подошла к тому старшине не случайно, а потому, что он стоял рядом с Колей. А как она схватила его за руку и поволокла за собой! Он этому тоже обрадовался, покакав за Сацико козликком...

На это все обратили внимание, потому что движения убегавшей пары никак не походили на японский церемониал. Но так как веселенькая пара быстро исчезла, то все спокойно вернулись к своим делам. И я тоже. К тому же мне надо было ознакомить офицеров с планами отъезда нашей части и предстоящей уже через два дня погрузки. Я, наверное, никогда не вспомнил бы об этих веселых скачках бойца Коли и японки, если бы...

Через пару дней в разгар наших сборов ко мне подошел командир второго орудия первого огневого взвода и спросил:

— Что делать с этим... Колей?

Тут уж сразу вспомнились «веселые скачки». Я не успел спросить: «А что случилось?», как сержант, оглядевшись по сторонам, шепнул:

— Он два дня не ночевал в казарме.

— А где он?

В ответ Колин командир орудия пожал плечами.

Никто на нас не обращал внимания. Все были заняты сборами. И японки, и их дети помогли нашим бойцам. Это надо было видеть. Эту картину можно было бы долго рассматривать, если бы у меня и у командира орудия было на то время.

Мы двинулись не зная куда. Попробовали налево, потом направо... Неожиданно к нам подошла рослая японка и жестами дала знать, куда следует идти. И сама двинулась впереди нас. Затрудняюсь сказать, хотела ли она помочь нам или своей подружке... и была ли та ее подружкой или, наоборот, сопер-

ницей, и наша проводница желала ту — другую — выдать, проучить? Мы тогда об этом не думали — нам надо было найти Колю. Эта ситуация очень тревожила. Действительно, ситуация — пренеприятнейшая. При любом исходе! Как бы она ни прояснилась, каким бы боком она ни раскрылась. Даже если это гибель человека, даже если это шутка! Я понимал, что Коле грозит трибунал (и не только ему одному!).

В моей голове вертелась куча предположений — бегство, убийство, увлечение, месть за мужа со стороны японки... и неотступно цеплявшийся за любое предположение вопрос: что делать?! Волнение, даже страх завоевывали во мне все больше и больше клеток.

Мы, конечно, торопились, шли быстро, но едва попевали за деловито семенившей японкой. Она так быстро и решительно двигалась, будто предпринятая вылазка для нее — важнее, чем для нас. Но перед тем самым домом она резко остановилась и жестами дала понять: дальше она — ни-ни. Да также без слов объяснила нам, как следует самим двигаться к цели.

На втором этаже перед нужной дверью мы, я и сержант, нерешительно остановились, одновременно о чем-то задумавшись. Но два синхронных глубоких вдоха дали нам сигнал: надо что-то делать. А дверь сама распахнулась, и на нас двинулась стопка глаженного солдатского белья, которую в руках держала Сацико. Может быть, она решила, что мы пришли за этим самым бельем? Но увидев офицера, да притом командира части, сообразила, почему и за кем пришли!

Она попыталась захлопнуть дверь, но сержант успел вставить в проем ногу, и Сацико, сбросив стопку белья на наши руки, устремилась в комнаты. На ходу она что-то суетливо шептала. Из многих слов угадывалось лишь «Коля!».

Колю мы увидели поднимающимся с циновки, неторопливо заматывающим простыней свое нагое тело. Красивое, крепкое тело. А Сацико в дополнение к простыне набросила на него кимоно и, чтобы совсем прикрыть, защитить его от нас, встала перед ним — лицом к нам. Мол, не отдам! Маловатая для защиты на фоне крупного Коли (таким он показался), она выглядела смешно. И мы невольно заулыбались. Сацико, должно быть, уловила, что шума и насилия не будет, обмякла. Молитвенно сложила ладони, уткнулась в них лицом и затихла.

— Не бойся, я никуда не уйду,— сказал Коля для нас и ласково прижал Сацико к груди, поцеловал в затылок. Этот жест должен был иметь смысл перевода с русского, который устроил Сацико. Тогда женщина взглянула на нас, чтобы убедиться, дошел ли смысл текста до нашего сознания. А сержанта

этот демарш разозлил, и он не то спросил меня, не то предложил:

— Надавать ему...

Я остановил его:

— Не надо ни бить, ни ругать, — и обратился к Коле: — Надо, Коля, чтобы ты понял, что нарушаешь присягу. Предаешь нас.

— Война кончилась, и я свободный...

— Ты можешь попроситься, и тебя могут отпустить. Но не раньше, чем ты вернешься на родину. Ты можешь обвенчаться или расписаться здесь с разрешения командования. Ведь это брак граждан разных стран, — пытался я усилить мотивацию необходимых поступков.

— Что-о?! — вспыхнул Коля. — Кто-то будет мне разрешать, любить или не любить. Я ее не брошу! — Он подхватил Сацико на руки, как ребенка, и стал целовать ее. А она так радостно отвечала!

«Всего восемнадцать годков, а каков?! А она... Что значит — любовь! Во что она превратила зрелую, солидную женщину!» Когда я мысленно произнес слово «любовь», то понял, что оно точнее всего определяет их отношения, определяет их самих — любящих. Как она изменилась, когда учуяла угрозу их отношениям, как он встал на защиту их чувств. Он кажется выше меня и сержанта, он просто огромен, и выглядит, и ощущается значительнее нас, его командиров. Я не заметил, как у них все начиналось, как вызревала их любовь, но вдруг мне стало страшно за них. Ведь они даже не подозревают, какие люди, какие органы вплетутся, вмешаются в их отношения!.. А как им доходчиво объяснить, я не знал.

Очувтившись в сочных, сладких объятиях, «молодые», должно быть, совсем забыли о нас, неожиданных. Пришлось напомнить о себе, и я попытался все-таки объяснить:

— Коля, только хотел бы тебе напомнить, что ты находишься на службе в армии, армия временно дислоцируется на территории чужой страны, живущей по своим законам. Поэтому в самой армии законы ожесточаются. Нарушив мой приказ, ты рискуешь гауптвахтой, несколькими днями разлуки с любимой. А нарушив армейские, ты рискуешь оставить любимую без... себя самого — навсегда! Тебя как дезертира расстреляют. Война для нас с тобой еще не закончилась, — я, не останавливаясь, произносил эти жесткие слова. Откуда они брались, не знаю, от них мне самому становилось страшно, но оттого, что на Колю они не производили никакого впечатления, становилось еще страшнее.

— Ох-ох, — засмеялся Коля.

Сацико, конечно, не понимала, о чем мы говорим, поэтому Колин смех ее заразил — она расхохоталась.



— Коля, тебя ждет родная страна, мать, в конце концов, — не унимался я.

— У матери нас много. Она даже не заметит...

— Прости, но ты еще не любишь — ты только влюблен. Ты должен будешь привыкнуть к новому языку. К местному быту, ее возрасту! Она же намного старше тебя! Она что, похожа на твоих сестер, соседок, одноклассниц? — настойчиво пытался я пробиться в его сознание.

— Она ни на кого не похожа. Она одна во всем мире...

Командира орудия завело упорство подчиненного, он напрягся, чтобы проучить упряма — поколотить или скрутить и потащить в расположение части. Коля, учув намерения сержанта, опередил его, вспрыгнул на подоконник и схватился за шпингалет оконной рамы, демонстрируя готовность выскочить из окна.

— И тебе даже не жаль любимой, ведь разобьешься?!

— Показать вам, как я прыгаю со второго этажа? — игриво успокоил нас Коля. Веселый тон и улыбка возлюбленного продолжали подбадривать Сацико. Она тоже улыбалась и часто гордо вскидывала голову.

Затянувшееся препирательство теряло смысл.

— Ладно, ты подумай, — сказал я. — Будем ждать тебя с твоими предложениями, как лучше решить эту проблему. Счастья вам.

— Идите-идите, без вас разберемся. Только не надо портить нам жизнь, — бросил мне вслед Коля.

Я поднял руку, игриво пошевелил пальцами, подмигнул — этот прощальный жест был адресован Сацико, повернулся и вышел. Архипов немного задержался, но на лестнице догнал меня. Сказал ли он что-нибудь на прощание Коле, не знаю — он не рассказывал. Только по дороге все время оглядывался в надежде на то, что Коля одумается и побежит за нами.

Мою голову, наконец, правомерно заняла дума об организации отъезда: времени-то мало оставалось.

Но все же, не спросясь, в мою головушку прорывались мысли о том, как спасти их любовь. Любовь же ведь! Это я чувствовал. Я понимал, что у меня нет никаких возможностей, средств, связей, союзников! Но не думать об этом я уже не мог.

Когда мы вернулись в расположение, то сборы там были в самом разгаре — подготавливали матчасть, складывали боеприпасы, аппаратуру. «Наши гости» принимали в сборах самое активное участие. Да так аккуратно, старательно, что очень веселило личный состав. Меня тоже. А женщинам было грустно. Может быть, даже тяжело, ведь они лишались понравившегося им общества, к которому стали привыкать, и охраны! Чего больше, не скажу. Я только замечал,

как они украдкой утирают слезы. И в это же время не могло не подуматься: награнный сейчас армейское начальство, то нам за это содружество здорово влетело бы... Косточки мы вряд ли бы собрали.

И тут как нарочно появился уполномоченный Смерша. Первое, что пришло в голову, — накаркал! Или кто-то успел доложить о Коле? Но оказалось, что он просто пришел проведать — давно не был. И ему понравилась картина сборов. Более того, показывая пальцем то на одну сценку, то на другую, он приходил все в больший восторг!

— Смотри, как осторожно они устанавливают ящик с гранатами! А как штопают чехлы для пушки! А бойцы какие чистенькие и без матюгов... Ну ты и выдумщик, такое организовать!

— Это все замполит, — спокойно отказался я от незаслуженной славы. И тут же мне показалось, что сейчас самый подходящий момент обсудить со смершевцем ситуацию «японо-зырянской любви».

Он на секунду задумался и спросил — а она не похожа на якутку или бурятку, как с языком? И заключил: можно было бы устроить в санбат или в столовую. Ты говоришь, он потомок Ломоносова, а она тоже там какая-то... Такое могло бы получиться? Если это настоящая любовь? Или ей с голодухи захотелось мальчика? Ты уверен?

После этого я задумался, и в этот момент послышались выстрелы.

Нам потом рассказывали. И случайные свидетели, и сама Сацико... После того, как я на прощание игриво пошевелил пальцами руки, она успокоилась, но, увидев валяющееся на полу недавно стираное белье, принялась быстро приводить его в порядок и потом понесла в часть... А на улице проезжал извозчик. Он вез веселую компанию китайцев, которые выскочили из коляски, вырвали у Сацико белье, на разбросанную кучу повалили ее. Она закричала. Из окна выпрыгнул Коля. Началась возня, драка. И Колю — убили.

Он лежал на куче белья в разорванном кимоно. Смершевец своим вопросом «Кто его так нарядил?» сразу сумел погасить всякие разговоры и догадки по поводу странного Колиного облачения и приказал переодеть бойца.

Колю похоронили на следующий день в братской могиле на главной площади города. Там покоилось немало товарищей — жертв мирного времени. Погибшему отдали честь салютом. И когда мы остались вдвоем у могилы, я обнял Сацико за плечи и сразу ощутил трогательный отклик благодарности. Я не знал, чем и как утешить эту чудную женщину, наказанную только за то, что она полюбила!

Неожиданно я (неверующий) решил обнадежить ее тем, что Она — Сацико и Он — Коля обязательно



Рисунок Антонины Решетниковой

встретятся на небесах и никогда уже не расстанутся. Как я передал ей это представление, не помню. Но она поняла. Ее улыбка широко растянула ее тонкие губы. Даже глаза заулыбались. Она посмотрела на небо. Голубое-голубое. Но не потому, что подумала о такой возможности, а из благодарности мне — за старание ее утешить. При том она покачала головой, что означало: нет. Потом с большим трудом объяснила, что японцы живут только на земле. Загробная жизнь для других.

Потом мы шли. Долго, молча. Вдруг она схватила меня за локоть. И, безжалостно кромсая русские слова, старательно выискивая японские, три раза спросила одно и то же. Я, наконец, понял.

— Это правда? Ты сам веришь, что я с ним там встречусь?!

Я кивнул, твердо добавив: «Да».

Я надеялся, что Сацико успокоится. Но она быстро сложила ладони, уткнулась в пальцы носиком, несколько секунд, не больше, что-то пошептала (мы остановились на мосту через реку), потом решительно рванулась к ограде и перескочила ее...

На мосту откуда-то набралось много народа. Одни рассматривали корявую лунку на тонком льду, оставшуюся после падения Сацико. А другие держали меня, собравшегося было броситься на помощь самоубийце, и объясняли мне, что ей уже не помочь, — высота, лед, быстрое течение... И потом разве поймешь япо-

нок, может быть, ей так лучше. Объясняли на разных языках. Объяснение дошло до меня позже. А тогда у меня просто не осталось сил сопротивляться сдерживающим меня людям и вникать в их советы...

С тех пор минуло столько лет! И каждый раз, когда вспоминается это событие (в разных условиях, по неожиданным поводам), то всплывают все те же вопросы: «Зачем я сказал ей “Да”, что верю?! Может быть, она дожила бы до сегодняшнего дня, японцы долго живут! Встретила бы новую любовь или хранила бы и берегла память о той, что даровал ей Великий Случай!» А что же все-таки вело юнца и зрелую женщину с разных сторон земного шара навстречу друг другу? Что позволило им разглядеть в водовороте еще не устоявшихся событий, на поле, еще не остывшем от горячих схваток, где смертельно ненавидящие друг друга люди утверждали свою правоту, — что все-таки помогло этим двоим разглядеть в другом милого, нежного, ласкового человека, способного по-настоящему любить?!» Радостная любовь тогда выросла, расцвела, но жестокая среда смяла этот цветок, растоптала...

А может быть, они встретились? Там! Возможно, так бывает? И счастливы по-настоящему. И вместе машут руками, как когда-то, — игриво пошевеливая пальцами, шлют мне издалека благодарственный привет...



КАК Я ЕХАЛ ЖЕНИТЬСЯ

БЫЛЬ, ПОХОЖАЯ НА САГУ¹

За невестами, как правило, едут. Если избранница не живет в соседнем дворе или еще ближе — за стенкой. И, конечно же, если ненаглядная сама не заявится со своим скарбом и не объявит вам, что пришла насовсем.

Обычно едут. Прежде ехали верхом на резвом скакуне или — в телеге, застланной цветастым одеялом да с разнаряженной парой лошадей в упряжке, а кто-то — в карете с четверкой или даже — шестеркой распрекрасных нетерпеливых везунов. Теперь же мчатся в шикарных автомобилях, в скорых поездах, летают на лайнерах (!), дабы невеста поняла, что жених не лыком шит. Торопятся, чтобы лучшая из лучших не успела передумать или ловкий соперник не перебежал дорогу и не перехватил твою избранницу. Женильба — дело очень серьезное! Ведь кто-то обретает красоту, кто-то — приданое, жилплощадь, кому-то может достаться — любовь! Не оттого ли, во избежание осечки, претенденты на руку и сердце желанной не чураются помощи родичей, знакомых, свах? Потому как промах и недобрый случай, подстерегающие жениха на каждом шагу, могут свести на нет все его надежды и старания.

Я, понятно, не первый и не последний — тоже ехал, да еще издалека. Поначалу на старенькой железнодорожной дрезине с ручным двигателем, затем на поезде — целых десять суток! И жениться собрался на незнакомке. А вместо свахи, родителей, друзей у меня, тогда военнотружашаго, на руках был приказ командира части «без жены не возвращаться!». Я, к сожалению, в то время не сообразил сделать на память копию со своего командировочного удостоверения, хотя смысл его — «направляется», «поручается», ну и все в том же духе — не мог не запомниться.

Но в течение моей довольно долгой жизни это почему-то не вспоминалось, не доводилось расска-

зывать даже близким, друзьям — не находилось, как говорится, повода, времени, места. И сейчас, возможно, память не вернула бы меня к тому необычному событию, если бы не...

...В третьем тысячелетии на шестом его году меня и мою жену Зорьку, простите, Зорю Владимировну, настигла совсем нешуточная дата: шестьдесят лет нашей супружеской деятельности! Так назовем бесхитрое, пусть не безоблачное, но достаточно энергичное сосуществование в предложенных временем и судьбой обстоятельствах двух до сих пор по-юношески влюбленных друг в друга супругов!

Время лихо, мы даже не заметили, как из прожитых нами дней и ночей, месяцев и годов, из наших судеб, радостей и печалей оно сумело соорудить нечто высотой в шесть десятилетий и посадить нас с женой на самую вершину.

«В такие вот часы, — сказал бы поэт, — встаешь и говоришь — векам, истории и мирозданию!» Мы же сидели молча, остро ощущая свое одиночество. Такого мы еще не испытывали. Нам с женой никогда не было скучно вдвоем, да и оставаться наедине нам приходилось нечасто. Мы были постоянно нужны родителям, детям, друзьям, на работе были востребованы. Мы привыкли к шумной многолюдной круговерти будней, мало чем отличающейся от праздников. Но к этому юбилею мы пришли совсем одни. Уже на серебряной свадьбе пришлось многих не досчитаться из тех, кто был на нашей первой! На золотой было их: раз-два — и обчелся. А сейчас — не осталось ни-ко-го! Не стало старшей дочери, первого внука... На шестидесятилетней высоте нас окутал густой туман грусти...

Правда, нынешние знакомые и соседи горячо поздравляли меня и Зорю, желали, чтобы мы дожили до какого-то еще юбилея (только все забывали, как он называется, поскольку о нем еще реже слышат в жизни, чем о таком, как наш)!

Что нас могло согреть, взбодрить — это, пожалуй, воспоминания о прошлом. Руки тянулись к альбо-

¹ Сага — древнескандинавский прозаический рассказ с отдельными стихотворными вставками, по сюжету — биографическое, историческое или героическое сказание.

мам со старыми фотографиями, к ветхим справкам, сувенирам, к коробкам с письмами — не без трепета мы прикасались к ним, как к живым свидетелям нашей жизни, напоминая о том, что и как вело нас навстречу друг другу... Письма! Ведь это они определили наши отношения!

Завязалась наша переписка во время Отечественной войны, в середине прошлого века. В начале 43-го года нас (совершенно незнакомых — фронтового офицера и труженицу тыла тогда Зорьку Лаврентьеву) заочно свела случайность. Работницы московского завода прислали нам, фронтовикам, солдатам и офицерам, в подарок связанные ими теплые варежки и носки. Они были разложены попарно в отдельные пакеты с письмами, содержащими добрые пожелания песенного характера типа «если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой» и предложения переписываться. Такие посылки не были редкостью, но эти обращали на себя внимание особой аккуратностью упаковок. И еще тем, что все письма были написаны одинаковым почерком. Хорошим. Красивым. Правда, подписи были разные. К тому же мне достался пакет, в котором кроме варежек и носков были наколенники, а к ним приписка: «Если у тебя не побаливают колени, не мерзнут, то отдай их, дружок, тому, кто в них нуждается. Зоря Лаврентьева». У меня после ранений суставы очень болели, стыли! И несмотря на то, что посылка пришла в конце мая, все присланное Зорей мне очень пригодились, особенно по ночам. Не мог я не обратить внимания на то, что подпись Зори была выведена той же рукой, которая начертала все остальные дружелюбные послания.

Я не удержался и написал ей. Мое письмо в основном состояло из вопросов: «Почему такое странное имя?», «Почему присланы теплые вещи к лету? Это основное творение их производства?», «Как вы узнали, что именно я нуждаюсь в наколенниках?» и, наконец, «Чем вы занимаетесь в промежутках между вязанием?».

Ответы были веселыми, остроумными. Они не могли мне не понравиться. А ответ на последний вопрос меня просто сразил! Оказывается, она со своими подругами, с мальчишками допризывного возраста под руководством стариков «в перерывах между вязанием» делает снаряды для 76-миллиметровых пушек, то есть для меня, для моих однополчан-артиллеристов!

Слово за слово — и...

Мне все больше и больше стали нравиться письма Зори Лаврентьевой. Ее почерк. Слова, которые очень точно, как мне казалось, передавали ее чувства, мысли, знакомили с жизнью завода, цеха, посвящали в домашние дела, личные проблемы. Если письма от этой девушки долго не приходили, я начинал беспо-

коиться, наконец, тосковать по ее рассказам, рисункам, стихам! Чувствовалось, что она действительно *была, жила, творила* — чем бы ни занималась. Это завораживало. И я сам стал чаще писать. Почти каждую неделю. Писал обо всем, чем жил, писал, как в дневник, из окопов перед боем и после боя, на марше, из госпиталей. А когда получал ответы, такие же искренние, написанные в цехе, во время обеденного перерыва, ночью, если ей не спалось, на комсомольских собраниях, на институтских лекциях, то ощущал себя необычайно счастливым. И наступил такой момент, когда даже само ожидание писем от Зори стало радостным! Ведь я привык к потерям, поэтому такое обретение, такой дар не мог не оценить.

Регулярный поток крупных треугольников (так во время войны упаковывались письма из-за нехватки конвертов) — из Москвы в нашу часть и обратно — попал в поле особого внимания военных цензоров. Они их пристально читали и... стали делать доброжелательные приписки, давали советы, мирили, когда мы ссорились (и такое бывало)...

О переписке, конечно же, знали все в отдельном артиллерийском дивизионе, в котором я служил. И были не только осведомлены: некоторые даже кое-что приписывали, передавали и получали приветы, пожелания. А когда я по причине ранений попадал в госпиталь и был не в состоянии писать, товарищи не давали прерываться романтическому потоку, поддерживали его, успокаивали мою (да и их тоже) незнакомку...

Переписка длилась больше трех лет. И почти все письма удалось сохранить.

Иногда, при случае, к большелистным, многостраничным письмам добавлялись телеграммы, порой обозначавшие этап в нашей переписке. Например, такая, отправленная мной и полученная Зорей в марте 1946 года: «22-го встречай на Северном поезде 6 вагон 10 Гвардии Мишка». Она появилась еще до первого нашего свидания...

На выставках фотографий, писем, документов, которые мы подготавливали к большим семейным праздникам и демонстрировали на специальных стендах, эта телеграмма неизменно привлекала к себе внимание наших гостей. Пояснения давать всегда вызывалась Зоря, начиная их, как правило, словами: «Когда я получила эту телеграмму...» Зоря великолепная рассказчица. Поэтому гости вполне обходились без моих добавлений. И я потихоньку стал забывать о том, «как я ехал жениться».

А на этот раз, спустя шестьдесят лет, взяв в руки историческую телеграмму, моя жена Зоря спросила:

— А почему ты никогда не рассказывал, как ты ехал целых две недели?!

— Десять суток.



— Ну, тоже немало...

Я внимательно всмотрелся в небольшой, сильно пожелтевший листок бумаги, и какая-то неведомая сила очень легко и быстро перенесла меня в то далекое время — отчетливо увиделись лица, дорога, услышались голоса, завывание степного ветра, стук вагонных колес, паровозные гудки — как будто и не отделяли меня от тех дней и ночей шестьдесят лет!

Кончилась война. Невиданно страшной грозой отгрохотала, отсверкала она, испепелив, изуродовав все, что смогла, и — отошла. Отсверкали и стихли залпы победных салютов. Наступила оглушительная тишина...

Казалось, что люди, оставшиеся в живых, разом смолкли и погрузились в вязкую думу: что делать дальше? На войне мы думали о том, как *выжить*. А после войны пришлось задуматься над тем, как *жить*. То, что всем вместе и неотложно следует приниматься за восстановление страны, было ясно! А вот с чего начинать каждому человеку в отдельности, решить было не так просто.

Трудно было и нам — офицерам, солдатам, чья танковая армия закончила войну и вернулась к мирной жизни почти на год позже, чем вся страна. Так случилось, что после Победы в Европе части нашей армии перебросили на Дальний Восток — в Маньчжурию, где в сражениях с Японией доводывалась Вторая мировая. Только когда мы выполнили там все порученные дела, то вернулись на родимую землю — уже в 1946 году. Правда, нас не стали далеко везти — разместили армию, в которой мы служили, прямо тут же, на границе с Китаем. На бескрайнем пустыре, окаймленном со всех сторон горизонтом, на пустыре, где властвуют разгульные вздорные ветры, сшибающие на своем пути: человека — с ног, машины — с колес, да все, что ни попадалось им. Здесь не было даже деревца, кустика, которые сдерживали бы их прыть. И гоняли ветры летом песок и гальку, а зимой — валы снега.

Была зима, которая в том году закончилась в мае. Укрываться от бесчинствующих ветров нам удавалось лишь в землянках. В землянках располагались казармы, офицерские «квартиры», штабы, «лекционные залы»... Да! Был еще один признак цивилизации: недалеко от нашего гарнизона пролегла железная дорога. По ней рано утром и поздно вечером небольшой паровозик, отчаянно пыхтя, будто пытался взлететь к заманчиво подмигивающим звездам, натужно тащил пару товарных вагонов и один пассажирский. Поутру он волочил вагоны с севера на юг, а в полночь — с юга на север. Паровозик изредка тоскливо завывал, будто жаловался на то, что не удастся взлететь к звездам и приходится по-

прежнему тянуть надоевшую лямку. Нытье паровозика нагоняло такую тоску, что впору было самим взвыть. Ведь паровозик напоминал о том, что где-то за горизонтом, пусть далеко от нас, очень далеко, есть... ну не совсем еще нормальная (об этом мы знали из писем), но очень влекущая нас жизнь!

Болезненно тянуло домой, а тех, у кого не осталось ни дома, ни семьи, тянуло куда-нибудь! Потому как на территории части да и во всей округе делать было совершенно нечего. Разве что время от времени приходилось приводить в порядок порушенную ветрами технику, которая казалась уже ненужной, — так что жажда мирной деятельности, о которой мечталось всю войну, давала о себе знать!

Наше командование не торопилось с реализацией приказа о демобилизации. Начальство больше заботило освоение дикой местности, где армии предстояло расположиться надолго, да так, чтобы можно было не только приемлемо существовать, принимать новобранцев, но и эффективно крепить боеспособность войска!

Потому же неохотно отпускали нашего брата на короткую побывку домой или на смотрины места будущей работы, жизни. Правда, давно уже ходили слухи о составлении каких-то мифических графиков...

В этих условиях народ сам принялся искать кратчайшие пути к своей цели. Блуждали по штабным лабиринтам. Писали рапорты, прошения. Оказалось, надо было еще раздобывать разного рода справки о состоянии здоровья жен, детей, родителей. Организовывать экстренные вызовы из-за «смерти», «рождения», «сорванной крыши родного дома»... А так как мы находились на большом удалении от всех нужных мест, то достучаться, докричаться, а потом дожидаться ответа — было очень трудно! Активно обменивались между собой всевозможными сообщениями. Шумели. Ссорились. Мирились. Затихали. Морила теплота землянок. Не брезговали товарищи и спиртным, чтобы успокоиться. Его не забыли прихватить в Китае, когда выезжали оттуда. Здесь-то ничего не было — даже вода по талонам выдавалась.

Кажется, только я один не суетился, не нервничал. И не потому, что я не хотел покидать этого не приспособленного для жизни пространства, и не потому, что у меня не было никаких планов, что дома мне нечего было делать и никто меня не ждал, просто в то время мне не на что было надеяться. Я был в дивизионе самым молодым офицером. Мне только исполнилось двадцать два года. У меня не было семьи, которая нуждалась бы в неотложной помощи. Тем более что мой отец уже сообщил письмом, что демобилизовался и едет за матерью и бабушкой. Они тогда находились в эвакуации. Я не владел про-

фессией, которая до зарезу требовалась в то время стране...

Конечно, не скрою, мне хотелось, очень хотелось встретиться с Зорей Лаврентьевой. Поговорить. Дотронуться до ее руки, поцеловать, поцеловаться (по письмам было понятно, что Зоря вообще девушка строгих правил, а в этом вопросе солидарна была с Чернышевским и Зоей Космодемьянской — «ни одного поцелуя без любви!») — все же мне хотелось! Тем более чувствовалось по письмам, что она меня уже любит, должна полюбить! Но писать прошения о том, чтобы меня отпустили для свидания с незнакомой девушкой (для чего надо было ехать через всю страну — в Москву!)... Никто даже не стал бы их рассматривать. Бегать же по инстанциям и смешить своей просьбой начальство... У меня было более интересное занятие. Я читал и перечитывал письма от милой сердцу незнакомки. А их скопилось несметное количество, пока я находился в Китае. (Нам туда почему-то письма не доставляли.) А письма, как обычно, — многостраничные, со стихами, рисунками. И все в основном про стремление к познанию нового, к учебе, работе, про любовь к солнечным и пасмурным дням, к звукам, краскам... Но во всем этом таилась просто любовь — песнь истосковавшегося девичьего сердца.

Я тоже писал, писал, чем живу, о чем мечтаю, деликатно опуская тему, какой мне видится наша встреча! За моими письмами регулярно заходил пожилой армейский почтальон, чтобы я не выходил лишний раз из землянки — не простудился бы, не дай боже. Он меня очень уважал за эту переписку и берег для незнакомки, которую тоже уважал. И не только он. Меня и Зорьку почитали многие — за необычную переписку и за то, что Зорины письма даже в пересказе, одной цитатой могли в трудную минуту уравновесить, взбодрить многих — уставших, увядших, испуганных.

За суетой, нервотрепкой, злобными спорами и вздорными поступками мои товарищи да и я за чтением писем, писанием ответов не заметили, как пролетел месяц, и наше начальство сумело составить «мотивированный» график отпусков. Всех нас пригласили в большую землянку под названием «красный уголок», чтобы ознакомить с этим сочинением.

Сходились медленно, лица у всех были настороженными. Понятно, что товарищи готовились к спорам. Собравшиеся расселись на скрипучих самодельных скамьях, запахло табачно-спиртовым перегаром, растаявшим снегом, отсыревшей кожей сапог и... напряженностью. Но на удивление график оказался удачно скроенным, притом всех удовлетворил! Народ заулыбался, оживился, стал благодарить начальство.

Я с удовольствием наблюдал за своими радующимися, торжествующими товарищами — после стольких нелегких дней и ночей, проходивших в напряженной борьбе с неизвестностью! И вдруг поймал на себе удивленный взгляд замполита (заместителя командира дивизиона по политической части). Удивление могло читаться как «где ты пропадал?» Оно и понятно: мы еще с ним не встречались после моего возвращения из Китая. Но он тут же жестами попытался уточнить вопрос: вот ты, мол, почему не написал заявление? Я пожал плечами, что означало: ну зачем связываться в бесполезную борьбу...

Замполит встал и направился к столу, за которым восседали комдив и начальник штаба. Еще на ходу он заговорил:

— У меня есть предложение внести кое-какие изменения в график.

Все разом стали серьезными, снова насторожились.

— Я принимал участие в составлении этого графика и должен попросить прощения: мы забыли тут про одного... Вы прекрасно знаете о переписке нашего боевого товарища с Зорькой, простите, с Зорей Лаврентьевой. — Все закивали, заулыбались. Еще бы, я им и в последнее время, особенно в напряженные для них дни, читал отрывки из Зориных писем! Многие приходили специально, чтобы хлебнуть чужой радости, когда спирт уже не брал. Но настороженность не пропала, потому что неясно было, куда клонит замполит. А тот продолжал: — Вы знаете, во всяком случае, должны понимать, какое значение ее письма играли в поддержании боевого духа у нашего товарища! И это не могло не отразиться на нашем с вами общем настроении. Это не может не породить у нас всех особой благодарности этой девушке. А что пишет она в одном из последних своих писем? — и замполит по памяти воспроизвел отрывок письма Зори Лаврентьевой: — «Что мне делать, чтоб не думать о тебе, чтоб не снился ты почти что в каждом сне, чтобы встречи так мучительно не ждать, чтобы писем этих глупых не писать?!» — Многие знали эти стихи и подчитывали или подпевали (не знаю, как точнее сказать), о (!) — подборматывали замполиту. А он продолжал: — И если в ближайшее время мы не поможем человеку, которому эти слова адресованы, встретиться с этой девушкой...

Все поняли, о чем речь, и радостно зааплодировали. Кто-то даже предложил свою «очередь»...

— Правильно! — поддержал замполита командир дивизиона. Голос у него был низкий, с привычным командирским оттенком. — Наша промашка. Будем исправлять. Как же, как же! А сам герой романа еще и рапорта не подавал, хорош гусь! Мы за это его командидуем, чтоб женился, успокоил дорогую нам



всем подругу. И поскорее. Промедление может девушке дорого обойтись! Какой-нибудь... — комдив немного замялся, подыскивая нужное слово, и через короткую паузу выдал его: — ...«артист» подвернется, заморочит дивчине голову, а она сейчас в самом трепетном состоянии («Не ты ли ее до этого довел?!» — комдив посмотрел в мою сторону). И пропадет наша подруга без нашего боевого товарища, нашего достойного кандидата... — Он многозначительно сжал свой большой кулак. — Правильно я говорю?!

— Пропадет! — подхватило офицерское собрание.

— Или ты это все — несерьезно? — спросил меня комдив.

— Серьезно! — снова хором вместо меня ответили все офицеры.

— И я так думаю... — завершил свою речь комдив. — Так, и еще... Не надо жертв. Командование возьмет решение этого вопроса на себя. Поручим начальнику штаба, чтобы побыстрее оформил документы. И кого-нибудь в пару подобрал. Ну как «посаженного», что ли, для поддержки. Чтоб наверняка, без промашки! А тому, второму, чтоб было по пути — или как там? В общем, начштаба обмозгует!

Офицерская братия дивизиона возликовала. Все обступили меня. Жали руки. Похлопывали по плечам, по спине. И среди смеха и всевозможных возгласов отчетливо слышались деловые советы, предложения принять подарки для «невесты».

Признаться, меня удивило такое единодушие однополчан. Ну то, что все знали о переписке, — понятно. Но в ее детали, тонкости были посвящены немногие. Кого-то она мало интересовала. Кто-то посмеивался над этой мистической связью. Кто-то ревновал меня к незнакомке. И такое было! А отношение замполита к моей переписке, к судьбе Зори Лаврентьевой, то, что ему были знакомы тексты, что он знал их наизусть, — меня просто поразило! Да я, честно, и не верил в реализацию этого предложения. Уж очень все это походило на театральную постановку. Но спектакль продолжал развиваться как по писаному, и пелась песня как по нотам...

Через два дня проездные документы были готовы. Подобрали мне и напарника из минометного батальона — командира взвода Гришу Крылова, с которым мы были дружны и в боях, и в игре в футбол (уже в мирное время), защищая честь бригады, корпуса на стадионах Чехии, Китая. Ускорили оформление демобилизации моему 38-летнему ординарцу ефрейтору Фадеичеву (которого товарищи звали просто — Фадеич). Он должен был возвращаться в подмосковный поселок. И комдив, вручая мне командировочное удостоверение «на срочное улажи-

вание семейных отношений», проездной литер и желая удачи, сказал:

— Командиру корпуса эта идея тоже понравилась! Ну если опростоволосишься — не женишься или гарбуз привезешь — невеста откажет, — смотри у меня! — комдив поднял на уровень моего лица сжатый кулак. Наш командир был украинец, походил на всех запорожцев вместе взятых с картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», поэтому его кулак был огромен и страшен. Почувствовав, наверное, что он переборщил с угрозой, комдив выделил из сжатого кулака один указательный палец. Пошевелил им. Но и эта «единица» таила в себе немалую опасность.

Я отдал честь: «Приказ понял! Готов выполнять!» А товарищи бросились успокаивать комдива, заверяя, что никакой осечки быть не может! Все надеялись, а многие были совершенно уверены в исходе.

Товарищи помогали мне собираться, упаковываться, а я уже был там, в Москве! Представлял, как мы с Зорькой сидим рядом и говорим «о том, что было, о том, что неизвестной скрыто мглою, о том, что знать нам не дано, о том, что чудится зимою через замерзшее окно».

На полночный поезд меня с «посажеными» провозжал весь дивизион. За исключением дежурных. Комдив и начштаба даже пришли с женами. Товарищи посменно несли вещи отъезжающих. Основная масса старательно протаптывала сильно заснеженную дорогу, чтобы я не устал. «Жених должен быть свеженьким!» — твердили провожающие. Все-таки от землянки до разъезда №74, где предстояло садиться на поезд, было 2457 метров (артиллеристы любят точность), почти два с половиной километра первого отрезка пути, длина которого десять тысяч этих самых километров, а на преодоление их уйдет немало дней, ночей... И все вместе, не переставая, старательно меня нафаршировывали советами. Особенно в этом преуспели женщины. Обстоятельные инструкции получили и мои попутчики (или, точнее, сопровождающие).

Итог дававшимся советам попробовал подвести замполит.

— Все эти житейские вещи хороши, но главное — надо оставаться достойным человеком, воином! И не обижай эту девушку. Она, по всему видно, хорошая, трудолюбивая.

И комдив, считавший, что в дивизионе последнее слово должно оставаться за ним, не мог не добавить:

— Давай-давай, все равно лучше не найдешь, — сказал он со знанием дела. — А наш кандидат (он имел в виду меня) — что, на дороге валялся? — он снова сжал свой огромный кулак, только на этот раз

на уровне своего пояса, без угрозы — для убедительной поддержки.

А я представлял, как рассказываю Зоре об этом кулачище, о том, что мне грозит, если она мне «преподнесет гарбуз»!

Мы шли неторопливо. По расписанию поезд должен был подойти еще не скоро. А оказалось, что он уже стоит на рабочем пути и паровоз деловито попыхивает. По-доброму светился зеленый глаз светофора.

Все дружно ускорили шаг, направляясь к пассажирскому вагону, который находился рядом с паровозом. Но когда мы поравнялись с лесенкой, ведущей в вагон, паровоз безрадостно взвизгнул, будто нехотя, дернул состав и потащил его прочь. Дивизион как по команде заорал: «Сто-о-ой!!!» А самые активные товарищи схватились за подножки, поручни, буфера, стараясь остановить поезд. Трудно представить, чем могла завершиться борьба дивизиона с поездом, если бы не громовая команда комдива «Отставить!», которая остановила бесполезные действия подчиненных. Сам комдив решительно направился к дежурному по разъезду, который, как мы потом поняли, дал отмашку машинисту на движение. Дежурный учуял угрозу в приближающемся к нему недюжинном человеке и попытался спрятаться в будке на переезде. Но когда комдив потряс дверную ручку, то дежурный понял, наверное, что его убежище не очень надежное, и... открылась дверь. Из нее к комдиву вышла... женщина. Полушубок внакидку. Большой живот. Она была беременна. Комдив, видно, подрастерялся и тихо заговорил. К нам доносились только обрывки их разговора: «А мы думали, что все вы, вся армада, а в вагоне мест нет — там под завязку...» — сказала она. А он: «Три героя войны...» Комдив показал на меня и моих сопровождающих. Вид у нас был необычный. Особенно у меня. Ну, мы возвращались из Китая зимой, а туда соответствующее зимнее обмундирование не прислали, так что экипироваться по распоряжению командования пришлось во все японское. Только знаки различия — наши. А еще на мне было шитое по заказу китайским умельцем кожаное пальто с меховым воротником — тако-ое! Да! А борода?! У меня была рыжая борода не то шотландского, не то шкиперского кроя! И видная, добротная палка-трость с металлическими бляшками-символами городов и мест, в которых она побывала. Я ее приобрел в Мукдене на толкучке в помощь своей ноге, которая после последнего ранения еще плохо слушалась. «А чего не предупредили?» Комдив что-то шепнул женщине и добавил: «...генерал... комендант гарнизона, есть документы». Беременная женщина взглядом выделила меня из триумвирата, улыбнулась широко, на

сколько позволяло ее круглое доброе лицо, и громко пообещала: «Я предупрежу тот разъезд...» — и что-то сказала дежурному, должно быть, мужу.

Тогда-то в мою историю и вписалась допотопная машина — открытая дрезина с ручным двигателем (это когда вы руками с помощью специальных рычагов приводите ее в движение). Дежурный вывел дрезину из тупика, наверное, чтобы догнать на следующем разъезде нужный нам поезд. Что значит «вывел»? Все провожающие помогали очищать перовобытную машину от снега, раскатывали ее, замерзшую. Погрузили на нее наш багаж. Все готовы были нас сопровождать, но на дрезине имелось только четыре места!

То, что мы от старательных движений быстро взопрели...

То, что мы на каком-то повороте потеряли часть багажа, соскользнувшего с обледенелого настила дрезины, и угроза остаться без нужных вещей, без подарков для невесты, без провианта в десятидневном путешествии заставила возвращаться, рыться в ночи в снегу под откосом, а потом отчаянно наверстывать упущенное время...

То, что поваливший снег вынуждал сначала каждые пятьдесят метров, чуть позже — тридцать, двадцать, — останавливаться, брать в руки лопаты и очищать от заносов колею...

Это все были цветочки, а ягодкой, которая к тому же очень скоро поспела, стала буря. Не то она настигла нас, не то мы догнали ее... Как бы то ни было, она закрутила нас: залепила глаза, стала набивать снег в рукава, за воротники... Увлеченные греблей (так назовем работу с рычагами, которые приводили в движение нашу утлую лодчонку в бескрайнем, бурлящем снежном море), мы не сразу почувствовали, что колеса нашей машины пробуксовывают. А когда поняли, от сознания своей беспомощности обмякли. Руки повисли. А испарину буранный холод враз превратил в ледяную корку. Стало быть, легко и быстро можно было перейти в другое качество: превратиться из человека — в сосульку?!

Мне до боли стало жалко дежурного по разъезду и особенно его жену, которая из-за меня лишится мужа, и ребенка, который останется без отца! Мой остывающий мозг корил мою едва теплившуюся совесть за то, что я не отложил поездку до завтра, и поэтому демобилизованный человек, мой бывший ординарец, не сможет уже никогда, после многолетнего перерыва, обнять, приласкать своих домочадцев! А мой спутник-дружок-минометчик? И, конечно же, не забылась и Зоренька, с которой так и не суждено, должно быть, свидеться! Никогда — ни на фронте, ни в пустыне, которую пришлось пройти в Китае, — не доводилось так реально ощутить обре-



ченность. Уже не озноб, а коварное тепло разливалось по телу, оно уже плавило меня, я таял, и, будто последний выдох, до моего сознания, как закливание, донеслось: «Зоренька ясная...»

Но то ли буря устала куролесить, то ли providение услышало, что я во всем случившемся виню только себя... но, почуяв, что она в своих стараниях перебарщивает, злая снежная круговерть прекратилась. Все вокруг заметно прояснилось. Оглядевшись, чтобы понять, куда и как нужно двигаться, ехать, идти или ползти, я встретился взглядом с уставившимися на меня сигнальными огнями последнего вагона поезда, в который мы уткнулись...

Чтобы обрадовать своих спутников, мне, самому едва способному шевелиться, через не могу пришлось их разбудить. Они от усталости успели уснуть... или замерзнуть? Я их тер, тряс, потом они — друг друга, во всяком случае, с большим трудом они возвратились в полусонное сознание.

Зато разбудить спящих проводников нужного нам вагона не удалось. Или они принципиально не открывали. Чтобы никого не впускать в переполненный вагон. Там все ехали до Узловой. Пришлось устраиваться в паровозной (чуть не сказалось — в топке) — кабине машинистов. Дежурного мы уже не отпустили, потащили с собой до Узловой, а оттуда с этим же поездом он вернется на разъезд. Жену, чтобы не волновалась, предупредили по телефону.

Через открытое окошко вместе со снежинками, круто замешанными на пару, в кабину влетало натужное ритмичное дыхание машины. И в этот ритм вплетались слова: «...поговорим о том, что было, и о том, что неизвестной скрыто мглою, о том, что знать нам не дано, о том, что чудится зимою через замерзшее окно...» Несмотря на то, что окошко было открыто, в необозримой безразмерной белизне все равно ничего нельзя было разглядеть.

Было еще несколько вынужденных остановок. На узловую станцию мы прибыли с большим опозданием. Опоздали на скорый поезд, который ушел на Москву. Следующего нужно было ждать сутки.

И сутки эти начались неудачно. Сразу что-либо разузнать о посадке — где и когда, оформить проездные документы мы не смогли.

Сразу и остро пришлось почувствовать разницу между военной, хорошо организованной, жизнью и *мирной*. В той жизни мы были «грузом №...» — нас подвозили, погружали, везли, выгружали... А в этой — новой (хорошо забытой старой)...

Никто ни на какие наши вопросы вразумительного ответа дать не мог. Настенное расписание движения поездов было все исчеркано-перечеркано. Пробившись к кассе через тела ожидающих, мы

увидели затянутое паутиной окошко с полустертой, но еще хорошо читаемой надписью «Не стучать». Рядом приписка, должно быть, обиженного пассажира: «Безнадега»... Поодаль стоявший милиционер, внимательно оглядев нашу солидную и вместе с тем странную экипировку, добротные кожаные чемоданы и особенно мой ладный реглан с меховым воротником, закрывающим погоны, необычную мою бороду, палку-трость с загадочными бляшками, сказал: «Попробуйте, тут один полковник постучал, и ему открыли...» Пушистый меховой воротник, должно быть, заставлял предполагать более высокое звание, чем то, что было мне присвоено.

Я попробовал, предварительно смахнув с окошка пыль, старые окурки, паутину, постучал. Но действительно — «безнадега»! Милиционер виновато пожал плечами и глазами показал на объявление, прикрепленное повыше: «Касса проездными документами не обеспечивает!» Каково?! Что делать? Куда обратиться?

На камере хранения — табличка: «За сохранность багажа не отвечаем»... На титане — надпись: «Горячей воды нет!» На баке для холодной воды — просто: «Нет воды».

И далее везде: «не курить», «не сорить», «не хлопать дверью», которая не закрывалась из-за обледенелого порога. Кроме того, на входной двери... да на всех дверях были прикреплены бумажки-объявления о том, что «извещать пассажиров о прибытии и убытии поездов по радио не будем. Радио не работает. Будьте внимательны!».

Обиженные, разозленные пассажиры черкали, царапали чем попало эти объявления, расписывали их бранными словами, гасили о них окурки... Но все старания не в состоянии были зачеркнуть всеобщего отрицания всяческих услуг, всевозможной помощи, даже информации... Сквозь росчерки, грязь, окурочные ожоги на всех объявлениях настойчиво проступало: «Не, не, не... нет!»

— Да-а-а-а... — Гриша Крылов растянул короткое слово, насколько хватило дыхания, осматривая зал ожидания как поле боя, плотно усеянное телами, валяющимися на лавках, на полу, в углах (они даже не храпели), казалось, бездыханных, потерявших всякую надежду на что-либо мужчин, женщин и детей. А когда Гриша снова вдохнул, то добавил: — Придется нанимать дрезину, а иначе отсюда...

Мой бывший ординарец возразил, ни на грамм не прибавив оптимизма:

— Не пойдет: если не замерзнем, то доберетесь к концу отпуска, а то с полпути вернуться придется вам. Я-то вольная птица.

— С таким настроением... — я попробовал было заразить своих товарищей оптимизмом ну хоть не-

множко, но не закончил фразу, потому что сам не знал, даже не мог представить, как и куда, в каком направлении следует сделать первый шаг. И сами собой у меня стали складываться строки: «Что мне сделать, чтоб увидеться с тобой, расчудесною моей мечтой...»

— Вы офицеры — вы и придумывайте, а я схожу в одно местечко, — сказал мой бывший ординарец, и чтобы было яснее, нарочито поддернул брюки.

Ушел и вскоре вернулся с милиционером. Сначала, глядя на виновато улыбающегося Фадеича, можно было подумать, что милиционер задержал его за какое-нибудь нарушение порядка, а оказалось... Милиционер явился, чтобы нам помочь. Возможно, что его вдруг одолела простая человеческая жалость. То ли мы ему чем-то приглянулись. Он еще раз окатил нас оценивающим взглядом, чтобы окончательно убедиться в нашей благонадежности (уж очень мы какие-то не такие), и на всякий случай спросил:

— Документы у вас какие есть?

Мое удостоверение его потрясло! Бланк гвардейской танковой армии, корпус Сталинградско-Киевский... Будапештский... Венский... Пражский... Порт-Артурский... командирует... (ознакомившись с текстом, он еще раз взглянул на меня!)... подпись — генерал! Милиционер только на секунду задержался на том месте, где указывалось мое звание — не полковник и даже не майор. Улыбнулся своей недавней промашке. Как человек с юмором, глянул еще раз на мой воротник, мне в глаза, понял, что это не игра, и... (Мы потом узнали, что он — рядовой участник войны, пехотинец, все время, отведенное ему судьбой на фронте, просидевший в одном окопе под Ржевом, — очень уважает тех, кому довелось сделать на войне гораздо больше, чем ему.) Он, сержант милиции, подтянулся, отдал честь, вернул документ и решительно сказал:

— Пошли попробуем.

Он подвел нас к двери с надписью «Посторонним вход строго воспрещен», еще раз подтянулся и ввел нас к дежурному. Милиционер говорил обо мне, о моих товарищах так, будто мы только что спустились с небес, добавил: «Я все тщательно проверил». Дежурный — пожилой человек с очень уставшим, плохо запоминающимся лицом — внимательно осмотрел нас, не найдя к чему придраться, задвигал челюстью, губами, словно пережевывал ситуацию, и, наконец, спросил:

— Вам обязательно на скорый? А то, вы видели, ожидать сутки негде. Тут пришел такой... Если не устроит, то пересядете в Иркутске, Красноярске... Я предупрежу там дежурных. Посмотрите. Такой — сейчас стоит.

Через служебный ход мы вышли на перрон, у которого стоял состав с надписями на вагонах: «Вла-

дивосток — Москва». Поезд, видно, только что прибыл. Но ни в нем, ни вокруг не наблюдалось никаких признаков движения. Все вагонные двери были наглухо закрыты.

— Подождите, — попросил дежурный, — я поищу главного, — и торопливо, насколько позволяли возраст и усталость, заковылял к первому вагону.

В это время Фадеич шепнул мне, хитро улыбаясь:

— Видите, мир не без добрых людей.

Тогда я понял, что это он привел милиционера, и не очень строго, но все же выговорил ему:

— Обманщик, сказал, что по нужде. — Я сжал и поднял кулак на уровень его носа, как это делал комдив, когда меня провожал. Но жест получился не таким угрожающим. Тем более что оправдательный ответ Фадеича оказался очень аргументированным:

— А что, разве не было нужды? Добрые люди на дороге не валяются — их надо искать.

Впрочем, вскоре случай опроверг Фадеичеву теорию — и добрые люди явились сами.

Вид поезда не был многообещающим. Каждый вагон гляделся неприступным дотом — не состав, а оборонительная линия.

Неожиданно из-под вагона, стоявшего напротив нас, вылезли (чуть не сказал — два «ангела-хранителя», но так я могу сказать сейчас, а тогда...) два матроса. Посмотрели направо, налево. На нас. Прикинули: не на патруль ли наткнулись? А когда поняли, что им ничего не угрожает, расслабились и развязно приблизились. Даже для здоровых, крепких парней они были очень легкомысленно одеты — без бушлатов, шинелей, зимних шапок. На ядреном сибирском морозе их форменные белые рубашки с гюйсами и бескозырки выглядели по меньшей мере странно. Когда же они вспрыгнули на перрон и душисто выдохнули, стало ясно, что ребята в хорошем подпитии и, должно быть, настроились искать еще. Откуда они пришли и куда двигались, трудно было догадаться. Но с нами начали разговор с курева. «Не найдется?» — спросили они и показали жестами. Разухабистые, больше напоминающие босяков, чем моряков Тихоокеанского флота, если верить надписям на бескозырках, они все же чем-то вызывали симпатию.

Я достал початую пачку английских сигарет «Большой Бен», которыми нам удалось запастись в Китае, и протянул матросам. Пачка даже в пред-рассветном полумраке лоснилась лаком, а пахучесть табака произвела впечатление даже на спутанные хмелем чувства поддатых моряков. Казалось, что они вырвут пачку с рукой, но их огромные ручищи робко потянулись к белеющим сигаретам. Каждый неловко вынул по одной, оба церемониально провели ими по верхней губе, глубоко вдыхая аромат



незнакомою продукта. После чего разом, не сговариваясь, попросили: «А еще одну можно?» «Берите», — сказал я, не убирая пачки. Взяли и, пока выискивали в карманах спички, насколько могли осознанно оглядели нас, причудливой формы зажигалку, предложенную им для прикуривания. Подивились хорошо пригнанной незнакомой им зимней японской экипировке. Ну, знаки различия, звездочки были наши. Не могли не удивить рядовых плавсостава Тихоокеанского флота мои причиндалы (как они потом сознаются) — моя меховая шапка, рыжая борода шотландского или шкиперского кроя, мое кожаное пальто с меховым воротником, скрывающим значение моих погон, отчего моряки на всякий случай, как и милиционер в зале ожидания, назвали меня подполковником. Это мне не мешало, а потом даже будет помогать.

Не могли моряки, несмотря на солидное похмелье, не обратить внимания на наш багаж: добротные кожаные чемоданы (в то время редко встречавшиеся), японские солдатские ранцы, офицерские планшеты. «Вы откуда?» — «Мы не *откуда*, а — *куда*», — ответил я. «На восток, на запад?» — «В Москву». — «У-у-у, — загудели оба, таким образом проявив свой интерес к нам. — Айда с нами!» Чем был вызван этот интерес, трудно сказать, — вкусными сигаретами, заманчивым видом багажа или многообещающим общением с необычными людьми?! «А куда?» — не поняли мы. «Так вот наша посудина, мы вас берем!» Нам еще оставалось сказать: «У нас нет билетов...» А они дуэтом ответили: «Какие билеты в наше время?! В тесноте да не в обиде! Айда!»

Дежурный по вокзалу, подходивший в этот момент, услышал последние слова и спросил матросов: «Эта дверь открыта?» Они, как хорошо сыгравшиеся актеры, одинаковыми жестами объяснили, что вход с противоположной стороны, и взялись было за чемоданы. Но мой бывший ординарец, еще не вышедший из роли, ревниво и деликатно отстранил непрошенных носильщиков от нашего багажа, объяснив, что там хрусталь, фарфор — подарки для невесты...

— Какой невесты?!

Сержант милиции многозначительно перемигнулся с ефрейтором Фадеичевым, а когда заметил, что я понял, о чем у них идет немая речь, то, широко улыбаясь, вслух торжественно произнес:

— Желаю удачи! Счастья вам, — и на всякий случай тихо добавил: — Товарищ гвардии лейтенант!

И пока мы перебирались под вагоном через рельсы, бывший ординарец успел, должно быть, посвятить матросов в тайну нашего путешествия. Потому что один из них воскликнул: «Какая-нибудь королева или принцесса? Так почему она самолет не при-

слала...» — «На границу нельзя!» — «Так в Читу хотя бы! Не знакомы?! Ну даете!»

А за то время, что мы пролезали под вагоном через дырку, проделанную в гармошке, предохраняющей мостик перехода из вагона в вагон, в тамбуре успел организовать фронт сопротивления вторжению незваных пассажиров. Проводник решительно воспротивился нашему поселению во вверенном ему вагоне. Пробовал сбросить наши вещи с площадки, вцеплялся поочередно то в одного из нас, то в другого. С ним — маленьким, но плотным, цепким, — два моряка еле справлялись. А старые «поселенцы», забившие своими телами проход в вагон, поддерживали своего проводника криком, выразительными жестами! И если бы хватило пространства, то по всему было видно — они обязательно вступили бы в борьбу. Но подоспевший вовремя главный кондуктор (все-таки дежурному по вокзалу удалось его привести!) сумел урегулировать наше пребывание в поезде, в этом вагоне. Это был сложный процесс: с символическими штрафами, оформлением платежей за билеты по условному тарифу, в общем, как бы то ни было, мы сели! Наше нахождение в вагоне было узаконено (оказалось, это возможно!) — мы едем! И весь... ну если не весь, то полвагона точно, сменив недавнюю вражду на милость, почему-то стало помогать нашей троице разместиться!

А вагон был настолько плотно населен, что многие места занимали по два человека, по три... Отдыхали по очереди. Заняты были и багажные полки. Притом тесно было не только людям, но и вещам, звукам, запахам.

А смешанные запахи — табачного дыма, самогонного перегара, неснимаемых сапог, немывтых тел и всевозможных косметических средств — дружно вытесняли кислород...

Но сонный храп счастливых, споры неспящих, плач капризничавших детей и непременный в таком воздухе кашель всех без исключения взрослых и детей создавал, как ни странно, удивительную мелодию, под которую легко засыпалось, спалось и просыпалось.

На больших станциях кое-кто будет сходить. Но в плотности жизненного пространства, в воздухе, звуковом оформлении ничего меняться не будет...

Под руководством моряков нас так удачно разместили, что мы могли все трое одновременно отдыхать. Для чего использовали наши чемоданы, которые оказались по высоте вровень с нижней полкой. Но соседская забота о нас не ограничивалась только устройством: нам предлагали кружки для чая, табак, сухари... И при этом все во всем безотказно слушались моряков. Их боялись? Но вокруг были мужики и покрупнее, покрупнее и женщины, привыкшие к

почитанию, умеющие распоряжаться мужчинами... Неужели из благодарности за то, что матросы привели нас именно в этот вагон?! Это, конечно, было лестно! Но чем нам нужно будет расплачиваться за это доверие?

Все на нас смотрели с любопытством, приветливо улыбались и, казалось, чего-то ждали. Это ожидание настораживало, а порой и смущало.

Не зная точно, как выбраться из создавшейся ситуации, я попробовал представиться, познакомить соседей со своими товарищами, которые сразу уснули, как только прислонили к чему-то свои уставшие тела. Все-таки путешествие на дрезине нам дорого обошлось. Мне тоже очень хотелось спать, но неистребимое чувство ответственности перед людьми, чего-то ждавшими от нас, помогало мне сохранять бодрость.

Я стал рассказывать о нашей службе. О боях, в которых мы участвовали, — на западе и на востоке. Слушали меня как будто внимательно, слушали молча. Или стеснялись перебивать? Вскоре выяснилось, что моих слушателей в действительности интересовало совсем другое...

— А вы сами — едете жениться? — осмелилась, наконец, спросить молодая женщина. Цветущая, жизнерадостная — она выделялась на фоне поблекших лиц и вялых тел. Но все поблекшие и вялые оживились: началось то, что им было нужно!

Понимая, что народу уже что-то известно, я стал обдумывать уклончивый ответ. Но не успел его сформулировать из-за своей не отступающей сонливости, как услышал новый вопрос:

— А вы правда не знакомы с ней?

Вопрос вспугнул мою сонливость, она миготом отцепилась от меня и улетучилась. Я враз, можно сказать, протрезвел, стал быстро-быстро перебирать варианты возможной информации, которой располагал народ, и ее источников.

Гриша Крылов, командир минометного взвода, не словоохотлив. Да его по-настоящему и не интересовали подробности моих отношений с Зорей. Он мог из вежливости спросить: «Что пишет? Что нового?» И не дождавшись ответа, перейти на футбольные темы. Его больше всего интересовал футбол. Уволившись в запас, он поиграет за горьковское «Торпедо». А потом станет тренером. Даже во время своих бесчисленных поездок по стране, заглядывая иногда ко мне, он так ни разу и не спросит, чем и как закончилась тогда та моя (наша) командировка. Он ведь в этот раз не доедет со мной до Москвы, бросит меня — свернет по своим делам.

Фадеич? Он же по прозвищу «Эх ты мое ни то ни се»? (За его обычную присказку, которой он корил неумех или себя за свои же промахи.) Мой теперь уже бывший, но еще не вышедший из роли ордина-

рец? Он меня не раз ставил в неловкое положение, желая сделать как лучше.

Как-то на фронте, на западе, где-то под Веной, меня крепко ранило. А в это время командование разрешило бойцам и офицерам отправлять домой посылки, подбирая вещи из трофеев. Трофеями считались брошенные дома, магазины. Фадеич собрал посылку для своих близких и для моей мамы, не забыл о Зоре, ее матери, младшем братишке (про них он знал). Со мной он посоветоваться не мог, поэтому обратился к товарищам. Никто, понятно, Зорю не видел и не мог себе представить, как она выглядит. И тут приходит от нее письмо, где она пишет о том, что пришло время, наконец, счищать с оконных стекол бумажные наклейки-перекрестья: угроза бомбардировок миновала навсегда. При этом она себя изобразила за этим занятием...

«Эх ты мое ни то ни се» прикинул: она художница — значит, умеет соблюдать пропорции. И сам как тогда посчитал, что окно в стандартном доме метр семьдесят пять, ширина... и она — в рост... Пошел он в магазин готовой одежды, подобрал разные платья, штанишки — парнишке, гардины! Хорошую посылку собрал...

Возвращаюсь я из госпиталя, получаю письмо от Зорьки. Ну, сказать ругательное — ничего не сказать. «Что ты себе позволяешь?! Как ты мог?! Мы с тобой условились — никаких меркантильных отношений... Это последнее письмо. Больше мне не пиши!» Я ничего не понимаю: пишу, что только прибыл из госпиталя. В ответ приходит перечень товаров, которые якобы я послал. Нахожу виновного. Он признается в содеянном. Пишет письмо-покаяние. Подписывается и оставляет отпечаток большого пальца. Нас простили — фейерверк благодарностей: все как на заказ! А ведь переписка могла прерваться — не было бы этой командировки!

Это я так долго расписываю, а тогда быстро сообразил, что затягивать с ответом неудобно и говорить надо правду и только правду. Не обманывать же столько любопытных глаз! И эту сияющую, распаленную собственной смелостью молодуху!

— Нет, почему я с ней не знаком? — ответил я. — Только никогда не виделся...

Притухшая было моя собеседница снова оживилась:

— А как же ж? Не виделись и...

И эхом откликнулись другие слушатели: «А как же ж?»

— Мы переписывались больше трех лет. Почти всю войну, — попытался объяснить я.

— Так, может, это — я? — воссияла молодуха еще больше, расцвеченная собственной придумкой. — Я тоже писала на фронт.



— Может быть, — попробовал я подыграть и тут же решил играть по своим правилам: — А как ты подписывалась?

— Ну, я не помню — с тобой... Я со многими переписывалась. Напомни... Или ты тоже со многими?

Она снова взяла игру в свои руки, а мне почему-то не хотелось проигрывать, и я назвал:

— Зорька...

— Похоже, — воссияла она, будто вспомнив, как подписывалась, — а оно и идет мне, это имя. Зорька... Правда? — она всматривалась в окружающих, будто разглядывала себя в зеркалах. Большинство одобрительно кивало. Только один пожилой хрипловатый голос с легким укором произнес:

— Ну наглая девка — дает...

— А я тебе нравлюсь? — обратилась она ко мне.

— Да... — сознался я, и самому стало неприятно. Она действительно была хороша, особенно в затеянной ею игре: отважно белокура, открытые многообещающие глаза, правильные черты живого лица. Хотя она была плохо одета: на ней было много платьев и кофт — то ли для тепла, то ли для того, чтобы в руках было меньше багажа. Но и под этим несурзным нарядом угадывалось ладно скроенное тело.

— И ты мне нравишься. Так зачем же дело стало? Ты собрался жениться... — Она решительно придвинулась к соседней со мной нижней полке, села. — Я не собиралась замуж, но теперь согласна.

Ситуация стала меня раздражать, и потому, что я не знал, как ее завершить, расстраивался еще больше. Злился на себя за то, что втянул в этот фарс Зорьку. Зачем-то назвал ее имя. По письмам я догадывалась, что Зоренька сама не прочь ввязаться в авантюрные истории, но сама...

Совсем не представляя, что делать дальше, я, чтобы сократить паузу, на всякий случай спросил:

— А тебя, невестушка, как звать на самом деле?

— Ольга, Оля, Оленька. — Она, как настоящая актриса, сыграла все три модификации имени. И сыграла хорошо. «Может быть, она действительно актриса?» — подумал я, будто искал в этом какого-то оправдания для себя. Но на всякий случай (или из-за того, что не хотелось в этом спектакле проигрывать?) я спросил:

— А какое для меня ты выберешь имя из всех твоих корреспондентов? Ничего, что я еще до полного знакомства говорю ты?

— А чего? Мы же в письмах были на ты... А твое имя? — Она сделала вид, что задумалась, выбирая, или вспоминала, что поведал ей Фадеич, и произнесла: — Михаил... Мишка... Гвардии Мишка!

Да-а, продал меня Фадеич!

Все дружно рассмеялись. Должно быть, понравилась ее находка. А может быть, все или почти все

были посвящены в то, что знала она. Заканчивая игру или начиная новую, Оля-Оленька (как она назвала себя) решительно подвинула своим бедром мою соседку напротив (да так, что та прижала своих детей к деревянному чемодану). Придвинулась, чтобы быть ко мне поближе, и протянула свои руки к моим. Красивые руки. Но они мне не нравились. И вообще эта Оленька, ее темперамент, красота стали раздражать меня. Мне стало стыдно перед Зорей за этот затянувшийся бездарный спектакль.

А Оля-Оленька не унималась.

— Договорились, по рукам? — спросила она, но я не понял, о чем речь. Мое внимание привлекла плачущая маленькая девочка. Она, видно, больно ударилась об угол деревянного чемодана, и ее старались утешить старший братик и мать. Оля-Оленька тоже посмотрела в ту сторону.

— Простите, — сказала она детям.

И в это время женщины встретились взглядами. Чего было больше в глазах матери — моей соседки: боли, удивления или укора?! И боль, и удивление, и укор относились не только к неприятности, которую Оля-Оленька причинила детям, но ко всему, что случилось здесь и сейчас. Ольга сразу все поняла. Она, оказывается, была не только красива, свободна, игрива, но и умна. Она поняла, что не понравилась мне, и почему...

— Простите, — сказала уже моей соседке, матери детей. — Простите, лейтенант, — обратилась Ольга ко мне, заметив, как мой сосед, натягивая на голову мой кожан, потянул за воротник и открыл лейтенантские погоны. — Я понимала, вы не майор и уж совсем не полковник. Вы до мозга костей лейтенант. Вы мне очень нравитесь. Я хотела бы ехать с вами до Москвы. Увидеть вашу Зорьку и убедиться, что она лучше меня, лучше всех! А я должна сходить в Красноярске, где он меня очень ждет. Мы редко видимся, но я успеваю и за это короткое время причинить ему кучу неприятностей. Пусть вам будет лучше. Удачи вам.

Она порывисто меня обняла, чмокнула в щеку и...

Остальной народ не слышал, о чем она говорила. Все были заняты обсуждением вопроса, не стоит ли свадьбу организовать в поезде. Выделить купе... Неизвестно откуда взявшиеся моряки, где-то хорошо подзарядившиеся, громко прошипели:

— Тш-ш-ш... Что за шум, а драки нет? Почему майору не даете отдыхать? — здорово они наловчились говорить дуэтом.

— Подполковнику, — поправила моряков Ольга-Оленька, пробиваясь сквозь густо сбившуюся толпу, бурно обсуждавшую предстоящую свадьбу.

— Правильно, полковнику, — согласились с ушедшей уже Олей моряки. Отправил ли я Ольге ответный воздушный поцелуй? Не помню. Чувство ответ-

ственности заснуло раньше меня. И я не запомнил, чем этот день закончился.

Я отключился, когда солнце только вставало, а очнулся глубокой ночью. И вспомнив об игре суток с временными поясами, подумал, что в Москве еще вечер. Что сейчас может делать Зорька? Попробовал представить: расстилает постель, укладывается спать...

...Она это делает медленно, предвкушая... нет, скорее всего, она безоглядно бросается в кровать или на тахту и сразу тонет в сновидениях.

В моем воображении смешались все ее рисунки, письма, и я стал создавать что-то среднее в ее облике, манере поведения, составил кроки ее маршрута. Сейчас она должна перелистать тетрадь с прошло-недельными лекциями, чтобы подготовиться к семинару, и... К какому семинару? Она же из Института боеприпасов, где обучалась по путевке завода, перевелась на заочное отделение в Индустриальный институт. И пошла работать — преподает в школе, в начальных классах, рисование (Зорька перед войной окончила художественную школу). Так что ей теперь нужно собирать... вазочки, коробочки, книжки с яркими обложками для постановки натюрмортов.

Мама болеет, отец погиб — приходится прираба-тывать, кормить «маленькую, но семью», как сказал поэт. Наш любимый с ней — Маяковский. Ничего. Приеду — попробуем что-нибудь придумать.

В это время меня отвлек разговор неспящих пассажи-ров. Я прислушался и понял, что они говорят обо мне, о моей предстоящей встрече с незнакомкой. Показалось, что беседуют пожилые люди, потому что они сравнивают мой предстоящий «наскок» с прежними обстоятельными помолвками, подготов-кой свадеб с помощью посредников, свах...

— Д-а-а, но ты-то так же женился — на севере? — заметил один из собеседников.

Другой засмеялся и весело согласился:

— Еще хлеще! Понаехали и парни, и девчата — и ну разбираться по парам!

— Так ты хоть видел, что берешь, даже мог пощупать!

Я невольно рассмеялся, правда, тихо, чтобы не спугнуть собеседников, и представил себе, как я обхожу Зорьку вокруг. Разглядываю ее со всех сторон... щупаю... Да я, не глядя, подхватываю ее на руки и умчу в свою жизнь! И если бы я в тот момент хоть на один шаг мог бежать быстрее поезда, то уже помчался бы!

Тут мне напомнила о себе естественная нужда. Я вскочил и направился было к ближайшему от нашего лежбища туалету. Но меня заставила остано-виться бодрствующая вместе с мужчинами жен-щина, которая только-только заканчивала очень важную фразу:

— Что вы дурью мучаетесь? Он вам пудрит мозги, а вы серьезно думаете! Посмотрите на него! Такой — и возьмет не глядя? Да он сто раз взвесит! — Мое не-ожиданное появление заставило женщину испуганно съезжиться. Она побоялась, наверно, что я «накажу» ее за подобную догадку, и даже тихо вскрикнула: — Ой, простите...

Я тоже попросил прощения и показал рукой на ближний тамбур, куда устремился. Но женщина еще раз, но не так испуганно, попросила прощения:

— Ой, простите, там не работает. Надотуда. — И она указала рукой в противоположную, дальнюю сторо-ну вагона, добавив нежно: — Беденький...

Я себя тоже пожалел. Но выхода у меня друго-го не было — пришлось настойчиво продираться к цели. Не теряя надежды, что в глухую ночь там все-таки не будет очереди. Но очередь была. Правда, не-большая. И в ней стояла...

— Ольга? И вам не спится?

— Я не Ольга, а Светлана, и я не стою в очереди, и не надо мне выкатать. Мы ведь давно перешли на ты. Да мы всегда были на ты. Разве вы... ты — не понял?

И она с какой-то неожиданной и непонятной страстностью обрушила на меня лавину упреков, похожую на камнепад. Да такой, что через минуту мой огород сплошь был усеян булыжниками. Но это почему-то меня не удивило, не обидело, не за-ставило почувствовать себя в чем-то виноватым. Да и в чем эта Ольга, или Светлана, или... да она могла назвать себя как угодно!.. в чем она меня об-виняла?! В мужской широте, доброте, вниматель-ности, чуткости, умении по-настоящему любить...

Я с любопытством разглядывал ее отражение в темном вагонном окне (следил за ее мимикой, же-стами) и неожиданно для самого себя обнаружил, что говорившая была уже одета. В пальто. В шапке. Белых бурках. И коленкой прижимала чемодан к стенке тамбура, чтоб не упал. Значит, она сходит? Но самое удивительное: в этом наряде Ольга-Света была очень похожа на Зорьку. Вернее, на Зорькин автопортрет в одном из последних ее писем... Та же меховая оторочка на круглой шапочке с помпо-ном, меховой воротник, обвивший шею. Сияющие, широко открытые глаза. Радостная улыбка, при-ветствующая парящие в воздухе снежинки! Правда, эти глаза и улыбку я мысленно приклеил Ольге-Свете, но не насильно — у нее были такие же глаза и улыбка, когда она представлялась днем. А сейчас она недобро смотрела в темное окно и цедила сло-ва сквозь стиснутые зубы. И тогда, утром, двигаясь, она казалась круглее, ниже. В то время, помню, мне она тоже показалась похожей на мое представление о Зорьке.



Сейчас же она была выше Зорьки, стройной. Я не мог не подивиться ее умению перевоплощаться! Невольно спросил:

— Вы, простите, ты случайно не актриса?

— Нет, я случайно не стала артисткой, я собиралась — боялась, что буду играть в жизни. Так и случилось. Он настоял. Он за это получил собственную актрисулю. Но я уже больше не могу. Два года мы живем эпизодически, а теперь еду насовсем. Нет, я не поеду. Он хорошо устроен, хорош собой. Говорит, что любит. Да не любит он — ему просто нужна видная, красивая, с дипломом инженера! Он терпит меня. Да уже и не терпит. Злится — на меня, на себя. И я его не люблю. Я не еду в Красноярск. Я здесь схожу.

Я не знал, как и чем перебить затянувшийся монолог из незнакомой мне пьесы. Но Оля-Света повернулась ко мне и с жалким-жалким видом (как она вдруг преобразилась — из несговорчивой, злой превратилась совсем в незащищенную... Актриса!) — и спросила:

— Откуда ты такой взялся? Я уже другого полюбить не смогу... Понимаю, что я героиня не твоего романа, но мне трудно будет от тебя отвыкнуть. Во всяком случае, не скоро.

— Любовь с первого взгляда? — сказал я зачем-то не то в шутку, не то всерьез. Она прикусила губу, чтобы не ответить мне какой-нибудь резкостью, и через долгую паузу тихо произнесла:

— Поцелуй меня на прощание...

Я не знал, нужно ли, хочется ли мне. Неопределенное чувство, наверное, легко читалось на моем лице, поэтому она немного решительнее предложила:

— Можно я? — И не дожидаясь ответа, приложила губами к моей щеке — мягко, нежно-нежно. Потом тыльной стороной своей ладони легко провела по тому месту, которое запомнило прикосновению ее губ, и еще раз провела, будто хотела стереть оставшийся след. После чего она, то закрывая, то открывая глаза, многозначительно кивала, будто говорила: «Пусть у тебя все будет хорошо. Желаю тебе удачи...» Так мне, во всяком случае, слышалось. И тут же она решительно пригрозила пальцем, добавляя деланно сердитым голосом:

— Но если вдруг передумаешь или Зорька закапризничает и посмеете разрушить такое, то знайте — на Дальнем Востоке живет и за вами следит такая Светлана...

— Ольга, — в шутку поправил я.

— Пусть Ольга — тебе, я вижу, все равно...

В это время поезд так резко затормозил, что Светлану буквально бросило в мои объятия. Мне, чтобы она не упала, пришлось крепко прижать ее

к себе. Она легко высвободилась, благодарственно кивнула и схватилась за свой чемодан. Я попытался ей помочь, но она решительно помотала головой: нет, не надо, и рванулась к выходу. Только на секунду задержалась в дверях, чтобы сказать:

— Он придет на вокзал. Ты его сразу узнаешь. Весь — такой! Скажи, что я не смогла. Совсем не смогла! — сказала и прыгнула с подножки, растворившись в темноте.

Он действительно пришел, и я его действительно сразу узнал — такой красивый, представительный. Он искал ее глазами. Я его спросил, не Светлану ли ищет... «Да...» — «Она просила передать, что не смогла и вообще не сможет». — «Дура! — сказал он зло, резко развернулся, но через пару шагов обернулся: А ты кто такой?!» Я не знал, что ответить, попробовал объяснить плечами, руками. Он презрительно скользнул по мне своими выразительными глазами, выкрикнув: «Еще хлебнешь с ней...»

Тут ударил колокол, засигналил локомотив, громче зашумели выходящие еще из вагона, входящие в вагон, и я уже не услышал, чего хлебну. Но это будет через сутки. А тогда я остался в тамбуре в каком-то неопределенном состоянии: немного грустно, немного радостно. Мне было приятно то, что она говорила. Мне были приятны ее прикосновения. Мне было безумно жаль ее, его... И смогу ли я рассказать обо всем этом Зорьке? Не омрачит ли это нашу встречу? Ведь мы ничем не сможем им помочь. Да и кто сможет? И как трудно быть счастливым рядом с таким неблагополучием. Думая об этом, я с большим трудом (но все же оставаясь счастливым!) пробирался на свое место, совершенно запамятовав, зачем преодолевал такую трудную дорогу. И вспомнил, уже добравшись до нашего «купе» рядом с противоположным тамбуром.

Оставалось только с отчаянием спросить у бодрствующих соседей:

— А почему этот закрыт?

— Какие-то неисправности... — Эту информацию отвечающие дополняли поднятием бровей, выпячиванием нижних губ, пожимали плечами. Пришлось срочно будить моего недавнего ординарца-сантехника в довоенной жизни, который после войны сумел скомпоновать для своей работы в мирное время уникальнейший набор инструментов, при виде которого недоверие на лицах наших соседей сразу сменилось долгожданной надеждой. Даже проводнику, не подпускавшему нас «к объекту», чтобы не доломали, достаточно было беглого взгляда на то, как Фадеич подбирает и готовит этот невиданный инструментарий для «операции», чтобы дать добро на производство рискованных, с его точки зрения, работ.

Я не стану описывать неисправный туалет тех времен в тех вагонах, потому что кто это видел, не забудет, а кто не видел, не сможет себе представить. В общем, такая картинка... в стиле буйствующего абстракционизма. Но мы взялись. Пришли моряки. Помощников (хоть и не очень верящих в успех) столпилось предостаточно.

Только мой второй сопровождающий — взводный Гриша Крылов, давно проснувшийся, лежал неподвижно и скептически улыбался. Ну, я его понимал. Он не умел и не любил работать руками, даже почерк у него был скверный... Вот ногами, головой в футболе! А до того, как после войны начались наши футбольные баталии, он пребывал среди минометчиков в ореоле потомка славного дедушки-баснописца — любил цитировать. И сейчас он сочился словами, будто им самим сочиненными: «А вы, друзья, как ни садитесь, — все в музыканты не годитесь...»

Но мы сели и сыграли заказанную обстоятельными работами как по нотам! Для меня работа руками всегда была в удовольствие, и я многое умел. Ну а Фадеич... В то время, как проборматывал свою присказку «эх ты мое ни то ни се», успел поставить диагноз несложному механизму и, на глаз определив возможности каждого добровольного помощника, раздал понятные задания. Задуманное, нужное дело выполнили даже раньше предполагаемого срока — получилось! Моряки дружно выразили свой восторг:

— Ну ты, полковник, даешь! Такой шурум-бурум организовал!

Я попробовал их осадить:

— Во-первых, мы договорились: я — не полковник...

А они:

— Ну подполковник, для нас — не меньше. Майор не смог бы такое организовать!

— А во-вторых, отремонтировал все Фадеич!

— Фадеич — бог: качать его!

Фадеич делано не реагировал на похвалу и старательнее засобирав инструменты, никому не доверяя себе помогать.

В туалет еще до окончания работ сформировалась очередь не только из нуждающихся, но и из любопытных. Слава о нас облетела весь вагон. Наша тройка (то, что Гриша не работал, никто не заметил) стала еще популярней и значительней. Оказалось, что мы не просто пришельцы из легенды, мы работы, приносящие дары...

Все же тема свадьбы незнакомцев (то есть моя и Зорькина) оставалась на первом месте. И лишь стоило мне выйти из туалета, куда я был заслуженно допущен вне очереди, и перекурить «это дело», как ко мне придвинулся новый пассажир, спросив, правда

ли то, что ему рассказали, — переписка, свадьба без смотрин... Мне не хотелось сердиться, у меня было хорошее настроение, а у спрашивающего немного подавленное — поэтому я выслушал его.

— Я, знаете, тоже переписывался... Такие хорошие письма писала! После госпиталя мне дали отпуск. Дай, думаю, поеду, проведу, а там, может, что и выйдет! Приехал по означенному адресу, тоже в Москве. Поднимаюсь по лестнице. Звоню. Открывает дверь такая страшенькая женщина, горбатая. «Вам кого?» — спрашивает писклявым голоском. А там под звонком целое расписание — сколько кому раз звонить. И я звонил сколько надо. А она: «Ее нет, уехала. Когда будет, не сказала», — и быстро захлопнула дверь. Я растерялся. Чего делать — не знаю. Тут женщина поднимается по лестнице, открывает ключом дверь... Спрашивает: «Вам кого?» Я говорю фамилию, имя, а она: «Вы кто ей будете?» — «Мы переписывались», — говорю, а она: «Ты прости ее, милый, она многим писала, но чтоб не свидетелься, а... ты ж видел ее...» Вот какие дела бывают (отсутствие погон заставило рассказчика внимательно всмотреться в мой китель из необыкновенного материала, замечательно сшитый). — И он на всякий случай добавил: — Товарищ майор.

В это время появились матросы. Они подозрительно оглядели моего собеседника и спросили:

— Не мешает, товарищ подполковник?

— Ой, простите, товарищ подполковник, — извинился за нечаянно допущенную «ошибку» мой собеседник.

Я великодушно отпустил ему «грех», добавив: «Спасибо за предупреждение». Тем самым высоко оценив его сообщение. Он же на всякий случай виновато попятился и вышел из тамбура. Тогда моряки взяли резво за меня. Пора, мол, подполковник, и отдохнуть — впереди еще вон сколько остановок. Они одновременно указали на расписание движения поездов, прикрепленное к стенке тамбура, и завершили дуэт такими словами:

— Много курить вредно! Оставьте нам бычок (так называли окурки) — и на боковую. Мы в курсе, как вы коротали ночь с «принцессой». Говорят, вы не промах... А что мы скажем Зореньке?

— Я ей все скажу сам. А вы скажите: у вас уже кончились сигареты?

— Что вы! Мы их бережем, как вы велели, — праздничный товар!

Я моим оберегателям на всякий случай погрозил пальцем: смотрите, старших обманывать нельзя. Они спешно осенили себя множеством клятвенных знамений, и я, изобразив успокоенный вид, вошел в вагон. Но стоило прикрыть дверь, как ко мне при-



двинулся молодой солдат и вкратце изложил свою историю, поглядывая на дверь... Видно, мой предыдущий собеседник поведал ему о морской охране! Его краткое изложение короткой истории выглядело примерно так: он тоже переписывался с девушкой, письма были со стихами, рисунками... Он приехал к ней, а она оказалось замужней. И муж ее в это время вернулся — весело было... Солдат собирался еще что-то сказать, но, видно, его голос услышали моряки, распахнулась дверь — солдатик скрылся в вагонной неразберихе. Я жестом успокоил моряков — дверь закрылась, можно было укладываться на наше лежбище.

Фадеич уже устало храпел. Крылов отвернулся на своем месте к стенке. Может быть, тоже заснул. Он любил поспать. А возможно, так прятался от ответственности за неправильный прогноз во время ремонтных работ в туалете, за свое неверие в Фадеичево и мое умение...

Я лег, укрылся остатком своего кожаного реглана (основную часть его прихватил на себя Фадеич) и заснул. Нет, я просто закрыл глаза и долго не мог уснуть — думал...

Ну о чем я мог думать?! О ней, конечно. О Зорьке. Мысленно перечитывал ее письма и вносил коррективы в ее облик, предполагаемые поступки. Вот я вхожу в ее комнату. Тихо. Свет настольной лампы едва позволяет рассмотреть комнату. Зоря спит на тахте, укрывшись пледом. Нет, это еще не ночь — поздний зимний вечер. Она просто устала и прилегла отдохнуть. Я тихо ступаю, чтобы ее не разбудить, и осматриваю комнату. Насколько мне здесь все знакомо! Книжный шкаф, старинный, красного дерева. В нем книги дореволюционных изданий. А у окна простенький однотумбовый письменный стол. На нем разбросаны цветные карандаши, которыми Зорька недавно рисовала Красную площадь. Из-за кремлевских стен виднеются всполохи салютов. Слева на рисунке ее портрет — улыбка до ушей, в широко раскрытых глазах отражается разноцветье салютных огней — это письмо предназначается мне...

Вдруг хлопнула дверь, я испуганно оглянулся — не разбудил ли этот звук Зорю. Глаза мои открылись, и я понял, что этот звук родился в вагоне — хлопают тамбурной дверью «очередники». Вышедший не закрыл ее за собой, и стало слышно, как моряки старательно корят проводника: «А ты их не хотел пускать!» Моряки, наверно, имели в виду нашу троицу. Проводник отчаянно винился: «Каюсь, ребята, каюсь». А моряки все наступали: «Так чтобы ты слушался нас...» — «Буду, хлопчики, буду!» — «Закрой лучше дверь, а то разбудишь всех. Разбухтелся: буду, буду...» Дверь закрыли. Стало тише. Я всмотрелся в

соседскую полутьму — не разбудил ли этот шум ребяташек или их маму.

Мама не спала. Мы встретились взглядами.

— Вас разбудил шум? — спросил я.

— Нет-нет, я давно не сплю, — ответила соседка.

— Мы что, напрасно вернули к жизни этот туалет? Теперь вам стало беспокойно тут. И не отдохнешь.

— Да нет, я смотрю на вас и все думаю...

Я еще внимательнее всмотрелся в полутемный портрет. Увидел улыбку на ее лице. Она улыбалась одними морщинками: у глаз, возле уголков рта. Но морщинки ее совсем не старили, не портили. Даже наоборот. Они делали ее еще милее, более открытой, интересной.

Я приподнялся, сел, сложил руки на коленях для упора, нагнулся к ней, чтобы не заставлять ее усиливать голос, и приготовился слушать. А она накрыла мои руки своими, огрубевшими от стирки, готовки, закаленными трудолюбием и безотказностью, но чувствовалось, что они еще не утратили способности быть проводниками сердечной теплоты, нежности...

— Вы правда не видели ее? — спросила она тихо-тихо и очень заинтересованно.

Я отрицательно покачал головой, а она настойчиво переспросила:

— Ни разочка? Даже в щелочку? Честно?

— Честно. А почему это вас так беспокоит?

— Боязно за вас. Вы такой молодой. Чувствуется, положительный. Аккуратный, видно, а ту, в которую влюблены, за которой едете, — не знаете. Одни картинки. А жить надо с человеком, со всей женщиной, как говорится.

— Я знаю... и то, что меня привлекает...

— Не говорите, — пошла в наступление соседка. — Вот вы не знаете: любит она убирать посуду после еды или нет? А это очень важно.

Я не удержался и засмеялся. То ли мой смех, то ли еще что-то разбудило детей: они зашевелились. Мать привычно попригладила, поукрывала их, и они притихли, ритмично засопели. И меня соседка не отпускала из объятий своей материнской заботы.

— Ой, зря смеетесь, зря, — тихо, но твердо настаивала моя, видно, хорошо обученная жизнью, просветительница.

Я не мог защищать Зорю в этой плоскости, потому что уборку грязной посуды мы в письмах не обсуждали. И я не мог знать, что Зоренька еще с детского сада не любила убирать за собой... Она, скажем, после еды, с которой очень быстро расправлялась, вскакивала и привычно выкрикивала: «Закон моря! Последний убирает со стола!» — и убегала к более приятным для себя занятиям. Эта привычка сохранилась у Зори по сей день. Но это обстоятельство никак не будет меня смущать, задевать, раздра-

жать, унижать. Мне пришлось объяснить, почему смеюсь. Не над поучениями. И не потому, что различно отношусь к грязной посуде и вообще — к неряшливости. Просто я сам люблю мыть и убирать посуду. Еще с детства. А она сказала:

— Это тоже плохо! Женщине это может не понравиться. Она может подумать, что вы ей не доверяете. Знаете, какие есть ревнивые?

Пошел разговор о ревности...

Я вырос в дружной семье, с этим чувством мне не приходилось сталкиваться. Поэтому слушал рассказ соседки о ее жизни как недобрую сказку без счастливого конца. Злобное тираническое чувство, понимаемое многими как выражение, проявление... любви! Муж заставил ее бросить работу. Чтобы она постоянно была рядом с ним. А она, учительница младших классов, без детей тосковала. Когда появились свои дети, он стал ревновать к ним. Упреки, подозрения, постоянный контроль. Она любит мужа, поэтому не уходит. Но никак не может проявить эту любовь. Потому что все время приходится оправдываться, обороняться...

Она так увлеченно, со слезами на глазах жаловалась, что даже не заметила, как проснулись дети и, почувствовав что-то недоброе, прижались к матери, стараясь ее как-то защитить от непонятной угрозы, неясно откуда исходящей. Они подозрительно на меня поглядывали. А я попробовал избавить их матушку от боли, которую она сама себе причинила, разбередив незаживающую рану: вынул свои руки из ее, крепко сжимавших мои запястья, мягко погладил тыльную сторону и ладони ее рук... Она словно очнулась, вернулась из забытья, улыбнулась. Потом кулаками смахнула со щек выкатившиеся из глаз непрошеные слезы. Подхватила полотенце. Легко подняла с лежбища свое надежное женское тело, еще не лишенное гибкости, и, проворно преодолев всевозможные вагонные препятствия, скрылась в тамбуре, ведущему к недавно возрожденному туалету. Да, она еще успела на ходу дать детям указания: «А вы поберегите дяньку...» — кивнула она в мою сторону.

Девочка, младшенькая, лет пяти, проворно соскользнула на пол, придвинулась ко мне и смело, как мать, взяла мою руку в свои маленькие мягкие ручонки. Стала поглаживать. Братик, старший, лет семи, попробовал было ее остановить: «Ты еще руки не мыла...» Передернув плечиками, девочка освободилась от власти старшего брата и смело спросила: «А как тебя зовут?» Я хотел представиться как «гвардии Мишка», но решив, что это слишком смелая шутка, сказал: «Дядя Миша». А девочка, не дожидаясь вопроса, представилась: «А я — Оля...» Я чуть не воскликнул от удивления: «И ты? А на самом деле?»

Но во время спохватился, тем более что она уже представляла брата: «А он — Коленька». — «Николай», — поправил ее брат.

В это время легко, будто освободившаяся от всех болей, бед и обид, вошла в наш отсек мама ребятишек. И Оленька ее тоже представила: «А маму зовут Галя». Но брат тут же поправил сестренку: «Галина Михайловна». — «Спасибо, — сказала мама, — я сама не догадалась представиться». Очень пластично передвигаясь в тесноте, Галина Михайловна собрала детей для похода в туалет, поручила Коленке-Николаю помочь младшенькой помыть уши и принялась приводить их семейное лежбище в дневной порядок.

Уже заметно посветлело, и я смог внимательно рассмотреть свою соседку. Она была очень хороша. Красива, умела. Точна в движениях и в словах. Все у нее естественно — ничего деланного. Привлекательна-а-а! Она мне очень нравилась. «И как можно такую тиранить, унижать, не давая развернуться в любви?» — думал я и в это время улыбался:

— Знаете, вот есть женщины, которые не любят ни расстилать, ни застилать постель. Правда. Вот генеральную уборку делают с удовольствием — к Первому Мая, ко Дню Парижской коммуны (тогда этот день отмечали), а вот каждый день прибрать кровать...

Я вспомнил, с каким удовольствием Зорька расписывала генеральную послевоенную уборку. С картинками. Большую стирку! А если окажется, что она не любит каждый день? (Потом оказалось — не любит! Ну и что?) Тогда же я рассмеялся и рассказал Галине Михайловне, с какой любовью я этим занимался в детстве. И если кто-нибудь приготовит мне постель, то я обязательно перестилаю, конечно, если это только не мама, которая меня учила... А потом в армии был такой случай: меня поставили в наряд, и мне предстояло привести в порядок шестьдесят коек. Они были объединены в трехэтажные ярусы. Так крепились кровати, чтобы была компактной спальня. И я за час выполнил приказ. Пришел поверяющий — полковник. Не поленился — облазил все ряды и сказал:

— Молодцы, как будто один человек делал!

После этого командир нашей учебной батареи перед каждой начальственной проверкой вызывал меня и говорил: «Чтоб как один человек!»

Моя соседка, мать двоих детей, бывшая учительница, расхохоталась. Смеялась долго, как ребенок, без устали, заразительно.

В наш отсек заглядывали ближние, дальние соседи и тоже начинали смеяться, но не потому, почему смеялась Галина Михайловна, а потому, как она смеялась! Вернулись дети — прибежали на хохот, и тоже заразились.



Вскоре весь вагон гудел, даже казалось, от этого он стал сильнее раскачиваться. Пришли разбуженные гвалтом моряки, посмотрели на меня, на мою визави, и с укоризной покачали головами, будто спрашивали: «А что мы скажем Зорьке?» Я им дал отмашку: мол, все в полном порядке. Они тяжело вздохнули — какой это порядок?! Но все же ушли на боковую — досыпать. Только мои сопровождающие не проявили никакой реакции ни на громовой хохот, ни на общее движение и шум. Правда, Фадеич пару раз улыбнулся, но это, скорее всего, из-за чего-то случившегося во сне.

Немного успокоившись, Галина Михайловна принялась внимательно меня разглядывать. В ее глазах то появлялись вопросы, то исчезали. На одни вопросы она, возможно, находила ответы, и тогда на ее лице появлялась довольная улыбка. А когда она сомневалась в ответах, то лицо ее становилось серьезным. Чтобы она не мучилась, не блуждала среди догадок, я сам решил ответить на ее немые вопросы.

— Я нашел девушку, — сказал я, — которая мне очень нужна. Она лучше всех мне известных. И если она чего-то не умеет, во что я совершенно не верю, или что-то не хочет, или не любит делать, но это нужно, — сделаю я. А если уж и я не сумею — сообща найдем решение.

Радость, удивление, растерянность — все сразу отразилось на лице моей соседки. Она даже зачем-то стала озираться по сторонам, будто искала поддержки... В чем? Зачем? Она привлекла к себе детей (на помощь?). Прошлась глазами по лицам соседей, тоже внимательно выслушавших мой монолог. Кто-то согласно кивнул головой, кто-то беспомощно развел руками — что с ним поделаешь?! Она со всеми была согласна. И долго не знала, что сказать. Галина Михайловна очень добро улыбнулась мне. Коснулась моей руки, погладила ее. Взгляд ее сделался томным-томным. Маленькая Оленька тоже коснулась моей руки, прижалась ко мне. Я поцеловал ее круглый, пахнущий чем-то приятным лобик. Она потрогала мою бороду. Коля-Николай позавидовал сестринской решительности. Но потом придумал, как поучаствовать в этом действе. Коля постучал себе по груди и показал пальцем на мои орденские колодки: что эта обозначает, а эта, а та? Я механически отвечал, не будучи в силах оторвать взгляда от Галины Михайловны. Слегка размягченной, с затуманенными, чуть прикрытыми веками, глазами. Неожиданно она собралась с силами и попыталась спросить: «А если она?..» Я не дал ей закончить — решительно замотал головой: нет. Побежденная, она откинулась к спинке лежбища и тихо засмеялась.

Неожиданно я почувствовал, что моя соседка по купе влюбилась в мое увлечение, в мою цельность, верность избраннице, непоколебимость — она влюбилась в мою любовь... Ее только пугала непредсказуемая реакция избранницы, она не хотела доверять такие искренние мои чувства незнакомке.

Мы еще проведем вместе целый день и целую ночь. И все это время я с ней буду говорить о Зоре. Она попросит разрешения взглянуть на письма, почитает их. После чего снова станет рассматривать меня.

— Вот вас я вижу, могу дотронуться до вас, могу ощутить вас — и понять, что вы собой представляете... хоть немного! Ну вот тут недавно сидела молодая, красивая, общительная женщина — живая, и сразу чувствуешь, понимаешь, что перед тобой — хищница, зверь!

Я попытался высказать свое мнение об Оле-Свете. Но Галина Михайловна не позволила себя перебить, не дала мне сказать и слова, заговорив без пауз: «А тут одни линии, черточки — карандашные, чернильные», — показала она пальцем на Зорино письмо. И при моей попытке что-то возразить она выставила перед собой руку для защиты своего мнения: «Да, конечно, из этих черточек получились буквы, слова...»

— А какой почерк! — наконец, я сумел вклиниться в ее монолог.

— Можете мне поверить — я учительница, доводилось встречать почерк и получше.

— Но не такой! — еще раз вставил я. Когда она удивленно вскинула плечи, попытался объяснить: — Есть такая наука: графология...

— Астрономия, астрология, — попробовала пошутить учительница.

— Я в ней не очень разбираюсь, — продолжал я, пытаюсь закончить свою мысль, — но вот жена нашего начштаба — дока в этом деле. Так она, только взглянув на ее письмо, сказала: «Немного прижмистая... Вот видишь — конец строки чуть не помещается, она старается ее втиснуть, не разделяет слово — не переносит на следующую строчку, но для женщины это хорошо. А вообще (просматривая лист за листом, она заключила), Мишка, тебе очень повезло!» А я до этого ощутил ее образ, который ничто не может разрушить. Детали могут только дополнять его.

Галина Михайловна, обладающая всеми качествами, составляющими понятие «интересная женщина» — бывшая учительница, жена очень ревнивого мужа, мать двух прелестных детей, я бы добавил еще — надежный и достаточно сильный человек, проиграла сражение со мной «за меня». Проиграла и от этой борьбы очень устала. Обессилев, она тя-

жело выдохнула, совсем обмякла, прислонившись к тюфяку, уже готовому к выносу, и уснула. Но перед этим она еще раз посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом. Оценивающим то, что она потеряла или...

Мне вообще показалось, что она вовсе не спит, а думает. И не о том, что потеряла, а что обрела в проигранной схватке со мной! Это было настолько важно для нее, что она даже не обращала внимания на ползающих по ней детей (они пробовали ее причисывать, перезастегивать пуговички на ее кофточке, прижимались щеками к материнской груди, прикидываясь спящими). Соседка даже не обращала внимания на проснувшихся, наконец, моих товарищей. Они сидели рядом со мной, по обеим сторонам, глядели на соседку, ее детей, старательно тараща глаза, при этом громковато посапывая. Они никак не участвовали в нашем разговоре и, кажется, даже не следили за ним. Было полное впечатление, будто они досматривают свои сновидения широко раскрытыми глазами. Дети же по наивности думали, должно быть, что дяденьки с широко раскрытыми глазами следят за их действиями, — и старались...

И тут послышался голос проводника, возвестивший о приближении... забыл какой станции... Зима? Тюмень? Помню только деревянный перрон и широкую деревянную лестницу, ведущую к станционному зданию, возвышающемуся на горе. На последней ступени этой лестницы на фоне бело-синей старинной станции заметна была статная фигура мужчины в аккуратном штатском одеянии. Рядом со спящими в полувоенном облачении (убывающими, прибывающими, встречающими и провожающими) его хорошо сохранившийся довоенный наряд обращал на себя внимание. Он выглядел величавым, спокойным. Только изредка нервно резкие повороты головы то вправо, то влево выдавали его нетерпение. Видно было, что он кого-то ждет, ищет среди прибывающих, внимательно вглядываясь в окна вагонов остановившегося поезда, в лица выходящих из вагонов...

По рассказам Галины Михайловны я уже имел представление о том, как должен был выглядеть ее ревнивый супруг, как одет, — о его пальто, головном уборе в виде мехового пирожка... Специалист высокой квалификации, он был востребован на многих предприятиях, часто разъезжал по Сибири, и семья едва за ним поспевала. Поэтому я без труда узнал встречавшего. Жена и дети радостно замахали ему. Он кивком головы дал понять, что тоже увидел их. Но по его настороженному взгляду можно было уловить, что он заметил рядом с женой незнакомого военного. Жена чуть было погрустнела. Но тут же озорно разулыбалась, задорно взмахнула рукой и двинулась к выходу, на что-то решившись.

Моряки перед этим схватили в охапку все ее вещи, Фадеич и Гриша Крылов взяли на руки детей, а я, не желая дразнить мужа покидающей нас соседки, пошел за ней на достаточном расстоянии. Но, увидев на выходе из вагона свою жену и детей в столь пышном и ярком сопровождении (моряки, странно экипированные сухопутные военные!) — веселящейся кавалькады, — встречающий муж растерянно поозирался по сторонам, а потом восстановил на своем лице властное, точнее, властолюбивое выражение, сильно замешанное на обиде, подтянулся, гордо выправился, повернулся и зашагал прочь, уверенно поднимаясь по лестнице. Он не бежал, поэтому моряки его легко догнали, обложили вещами и что-то такое сказали, отчего он замер и стал терпеливо поджидать, когда к нему подбегут дети и прижмутся, потом запрыгают вокруг него... А жена его, Галина Михайловна, снова поднялась по вагонным ступенькам ко мне (я остановился на пороге тамбура) и демонстративно обняла меня. Имитируя поцелуй, она зашептала мне на ухо: «Начинаю борьбу за свою любовь. И клянусь — добьюсь своего! Спасибо за урок. Удачи вам». После чего она по-девчоночьи легко спрыгнула на перрон и, перескакивая через одну-две ступеньки, помчалась вверх по лестнице к мужу, к детям.

Поезд тронулся, захватывая на ходу новых пассажиров. А мы через окно увидели, как наша недавняя соседка бросилась на шею своему мужу, немного опешившему (видно, до сих пор на людях это было у них не принято), и стала отчаянно его целовать... Отпрянет на секунду, чтобы разглядеть лицо любимого, и снова, что-то приговаривая...

Заметив, что наш вагон тронулся, Оленька и Коленька часто-часто замахали обеими руками, прощаясь с нами. И мама стала отправлять нам воздушные поцелуи. И муж, правда, вяло, но тоже...

Моряки заняли место наших недавних соседей, улеглись валетом, примостив под головы свой нехитрый скарб, и я спросил у них:

— Что вы ему сказали, что он так?.. — я имел в виду мужа Галины Михайловны.

— Ну, надо же учить пижонов, — дуэтом ответили моряки, после чего, словно по команде, синхронно захрапели. И сколько я ни пытался представить себе конкретный текст их нравоучения, ничего не получилось.

Заснули и мои товарищи-сопровождающие — Фадеич и Крылов. Они тяжело дышали, будто переводили дух после бега наперегонки. Мне же не спалось. Ни в одном глазу, как говорится. Я не переставал думать о Галине Михайловне, об Ольге-Свете, участниках неудачно завершившихся переписок. Сколько людей с опытом разочарований, обманов, конфликтов... Только кончилась *такая война*, и



казалось, что на смену жестокости, злу придет всеобщее добро, взаимопонимание, — ан нет. Человеческие отношения остаются такими же сложными, приносящими много боли.

Ой, как неловко чувствовать себя удачливым, счастливым! Как трудно защищать свою любовь перед советами обделенных удачей людей! Я и на фронте считал себя счастливым! В войну говорилось: «Кому война, а кому — мать родна!» Эта поговорка касалась тех, кто обогащался на горе, жировал. Пользовался благами, которые злая война ее участникам обычно не дарит. А я считал себя обладателем, подаренным войной. В уютном, грязном окопе, на жесткой госпитальной койке я упивался радостью, чувством, именованным любовью, любовью, дарованной мне войной...

...Снова сошла ко мне с рисунков, снова заговорила со мной языком своих писем Зорька. Я закрыл глаза, чтобы меня ничто не отвлекало от приятных видений. В это время к нашему закутку подошли какие-то люди. И кто-то сказал: «Спит». Другой голос согласился: «Отдыхают, подойдем позже». Видно, интерес ко мне, к важной перипетии в моей жизни все еще сохранялся. Мне казалось, что он должен, наконец, иссякнуть. За долгую дорогу соседи должны были устать; да и пассажиры стали чаще меняться; количество их заметно сократилось. Время шло, но, как ни странно, интерес не пропадал. Каждый входил и вносил свою особенную способность говорить, мыслить. Чукча и русский, белорус и таджик — до чего мы разные! Они говорили не только с разным акцентом, но с разным пониманием, и согласно своему, как теперь сказали бы, менталитету давали советы.

Один бурят спросил меня: «Куда едешь так далеко? Зачем? У нас за победителя любая девушка пойдет — самая красивая! И не будет баловать! Будет слушаться! А хочешь, по дружбе — две!»

Я обещал ему, чтоб не обижать, на обратном пути захватить. А украинка-попутчица смотрела на меня с такой жалостью, готовая прослезиться, будто перед ней был великовозрастный ребенок, никак не могущий научиться держать головку, сидеть. Когда мы оказались рядом в очереди на туалетные процедуры, она спросила шепотком, словно выведывала какую-то страшную тайну: «Не бачили (в смысле — не видели)? — и сокрушенно качала головой: — И не боитесь? А вдруг... ой, аж страшно подумать!»

Мне, конечно, льстило такое внимание, но все же благодарнее своим спутникам я был тогда, когда они не мешали мне предаваться раздумьям о Зорьке, о нашей предстоящей встрече. Но почему-то в тот момент образ Зорьки, представление о ней стали ускользать от меня. В старании настичь ее я раскрыл

глаза. Полутьма, жухлые краски незатейливого интерьера, духота, храп, бормотание соседей ничем не смогли помочь. А непроницаемо черный квадрат вагонного окна — загадочный, как на знаменитом полотне Казимира Малевича, — заставил меня думать о другом. В мое сознание поползли мысли, замешанные на предупреждениях бывалых людей, их соображениях, знаниях. Конечно, мне многое известно о девушке, которую я люблю, но далеко не все... По-настоящему не знаю, что у нее было до нашей переписки, не знаю ее близких, друзей. Ждет ли она именно меня. А если и ждет, то так же жаждет встречи, как я?! Но — я ее люблю! И она мне очень-очень нужна! А какие-то мысли роились в извилинах моего мозга, заставляли думать о ненужном, уводили куда-то далеко, и трудно было возвращаться к своим мечтам. Мысли копошились, пока одна решительная их не растолкала и не заняла в моем взбудораженном мозгу главенствующее место: Зорька ведь не знает, даже не может себе представить, что я еду к ней! С каждым километром поезд все настойчивее приближает меня к Москве, к ней. Она же...

В это время я заметил, что еще недавно непроницаемо черный квадрат вагонного окна заметно посерел и, кажется, стал розоветь — наступал рассвет. В те дни светало поздно. Рабочее утро уже давно началось. И в Москве... Я никак не мог представить, чем Зорька в это время занимается, о чем думает!

Да и в Москве ли она?! Она могла поехать к бабушке в Ленинград! Могла... да все что угодно! Нужно как-то дать знать о себе, о том, что еду. Почему я не оповестил Зореньку раньше?! Из Иркутска? Из Новосибирска, наконец, откуда я полгода назад отправлял телеграфом деньги своей матери, Зорьке, своему другу-однополчанину, который после тяжелого ранения уже не вернулся в часть? Отправлял большие деньги, ставшие тогда мне ненужными. Отправлял тогда, когда мы ехали «туда» (на войну с японцем), давая тем знать, что увидимся не очень скоро... Это было без малого год тому...

Я вскочил и стал пробираться к табличке с описанием движения нашего поезда. В плотной толпе формирующейся утренней очереди в туалет, между разнообразными непрестанно движущимися причинами, ушами, шеями, плечами не сразу удалось разглядеть белеющий квадратик заветного документа, прикрепленного к противоположной стене тамбура, но я без труда ввинтился в доброжелательную ко мне живую очередь и легко достиг своей цели. К сожалению, таблица была набрана очень мелким шрифтом. Нелегко разбирались названия станций, часы прибытия, время стоянок... Между наименованиями и цифрами терялась связь. Стоявший рядом со мной

человек спросил теплым низким голосом: «Считаете, сколько остановок осталось?» Я не собирался вступать в разговор и никому ничего объяснять, поэтому машинально кивнул головой, не переставая обеими руками сопоставлять названия и цифры в расписании.

Сверился со своими часами — скоростанция? «А как Зорька воспримет... мое появление?» — неожиданно зароилась в моем мозгу непрошенная мысль. И чувствую, как мной овладевает панический страх! Вот чего от себя не ожидал! Куда подевалась моя веселая и веселящая других уверенность?

Стоп! Станция Кунгур — еще не место встречи. Отсюда до Москвы поезд может идти двое суток, а то и больше.

— Не терпится увидеть? — голос прозвучал чуть повыше и уже чем-то задел меня.

Я взглянул на рядом стоявшего человека. Это был полноватый мужчина. В возрасте. Большая круглая голова удобно устроилась на покатых плечах. Все было вроде ничего. Разве что заметный живот чуть перевисал через солдатский ремень и немного портил картину. Да, и эта плотная, я бы даже сказал, солидная фигура была с большим трудом втиснута в бэушную солдатскую форму, притом сверх нормы потрепанную. Ему, наверное, больше пошел бы прикид, как теперь говорят, полковника, на худой конец майора. Может быть, офицер, разжалованный за какие-нибудь нарушения, что тогда нередко случалось? Но, возможно, этот человек готовился к съемкам фильма в роли бывшего солдата. Тем более что в нем было что-то артистическое, и он походил сразу на нескольких знаменитых в то время актеров. Как бы в доказательство этому он из клочка газеты картинно свернул знаменитую фронтовую «козью ножку», вынул кисет с махоркой и ловко стал ею набивать самокрутку.

— Молодой человек, — обратился он ко мне, не назвав меня ни полковником, ни майором, даже капитаном... Его большие глаза, щедро метавшие ироничные лучики, должно быть, видели меня насквозь. Меня это не обижало, более того, этот человек мне даже нравился, и я готов был его слушать. И он продолжал: — Вам, наверно, уже много наговорили, советовали...

Этот человек говорил, все делал естественно, как дышал. Чувствовалось, что он многое знает, и я решил перебить его, чтобы узнать то, что меня в тот момент интересовало больше всего:

— Следующая станция должна быть Кунгур. Вы не знаете, там есть телеграф?

— Кунгур? Там есть все, как в Греции, — уверенно ответил мужчина цитатой из модного тогда фильма «Свадьба» (по Чехову), который мне еще не до-

велось посмотреть. Я хотел было спросить этого человека, почему он так уверен, но не успел. Он, не останавливаясь, продолжил свою тему: — Но вас предупреждали, что нельзя жениться на женщинах, которые грызут ногти или еще хуже — губы? Учтите, этих ничего не интересует, кроме своих ногтей и собственных губ! Избегайте наценок и особенно евреек...

Услышать эти слова после *такой войны* с фашизмом, геноцидом, после холокоста! И от кого? От нашего человека? Фронтовика? В моей голове забродили какие-то речовки на интернациональные темы. Но в это время поезд тормознул, напомнив тем самым о приближающейся остановке, и я ринулся к выходу, который находился в противоположной стороне вагона. А уже за своей спиной услышал (незнакомый голос сказал): «Ну что вы говорите? Как вам не стыдно! Вот у меня жена еврейка...», а знакомый низкий, теплый ответил: «Я сам еврей, старый еврей и поэтому знаю, что говорю...»

Мне уже удалось добраться до середины вагона, когда поезд резко остановился. Я неудачно оперся на больную, еще не вполне окрепшую после ранения ногу, опоры под руками не оказалось, и я головой сильно ударился о какой-то угол. Почти теряя сознание, еле передвигаясь, я продолжал продираться к выходу. Попутчики заметили, что мне как-то не по себе, и поддержали меня. Буквально передавая с рук на руки мое не совсем уверенное в себе тело, им удалось даже вывести меня на перрон. Все это время мои помощники нелестно отзывались о нашей устаревшей колыхаге — поезде, место которому на свалке, о неловкости машинистов, которых покрывали толстым слоем сочного мата...

На свежем воздухе я пришел в себя, и на вопрос дежурного по станции Кунгур «В какой помощи нуждается?» ответил: «Где находится телеграф? Работает?» Дежурный указал на здание станции, сказал, что в зале ожидания...

В глаза бросились чисто подметенный перрон, сверкающие окна зала ожидания. Само задание небольшого вокзальчика показалось высеченным из цветного камня, прямо вот так — из самой горы! Ни дать ни взять малахитовая шкатулка. Изящное сооружение, окруженное всевозможными хвойными деревьями, припорошенными чистым-чистым, белым-белым, местами слегка отливающим зеленью снегом, которые и создавали, должно быть, эту иллюзию. В благоустроенном зале ожидания все работало: камера хранения, буфет с розовощекой полногрудой буфетчицей за вкусно пахнущим прилавком, продукты, товары — по карточкам и по коммерческим ценам (мне довелось впервые услышать о таком понятии и такой форме торговли), касса,



билетная касса (работала!). Работал киоск-магазинчик, торгующий изысканными сувенирами. Вспомнился вокзал той узловой станции, на которой наша группка пересаживалась, и подумалось, что чего-то не может быть: той жизни или — этой...

Все это произвело на меня такое впечатление, что я чуть не забыл, зачем сошел на этой станции. Здесь все напоминало сказы Павла Петровича Бажова: просыпающийся утренний горный пейзаж, картинно смотревшийся в оконных рамах. Какая из этих гор медная, а какая золотая? Даже пассажиры, отдохнувшие в станционном зале, напоминали героев бажовских сказов, многие походили на описанных писателем золотоискателей, на рудобоев, знаменитых горщиков, тут совсем не было видно военных — только виделся трудовой люд. И уже верилось: кто-то из них обязательно должен быть Данилой-мастером.

Окошко под большой отчетливой надписью «Телеграф» напомнило, зачем я здесь. Пока я ковылял к окошку и сочинял текст телеграммы, в которую пытался втиснуть все-все, что я передумал в пути, все, что услышал и что предстало моему взору здесь, на родине «малахитовой шкатулки»... За окошком увиделась немолодая, немного уставшая, красивая темноволосая с седеющими висками деловая женщина. Она на чем-то сосредоточилась — должно быть, отправляла или принимала телеграмму. Но все же сумела дать знать, что заметила меня, приподняв указательный палец, и тихо, правда, так, чтобы я услышал, сказала: «Секундочку!» Мне очень понравилось, как она меряет время — даже не минутами, секундами! И действительно, ее рабочая секунда продлилась не намного дольше той, которую отмерила секундная стрелка на больших часах, висевших над телеграфным аппаратом. Я тоже постарался очень кратко изложить, что мне нужно. В ответ телеграфистка тем же самым «рабочим» пальцем деловито указала на полочку рядом с окошком. Там лежали короткая инструкция (под стеклом), стопка телеграфных бланков, две изящные ручки для письма (выточенные из какого-то цветного камня), не менее привлекательная, кажущаяся малахитовой чернильница (тогда еще не было в обращении ручек-самописок). Заметив мой растерянный вид, рыжую бороду, телеграфистка улыбнулась серыми все понимающими глазами и тихо сказала: «Там все есть».

Я привычно, быстро написал адрес: «Москва, 100, 3-я Звенигородская, 5/9, 21», только на секунду остановился — не знал, как написать: Зорьке... или Зореньке, чтобы не терять времени, вывел: «Лаврентьевой»... И все же — добавил: «Зорьке!» Остро почувствовав, как время плюс крохотное пространство бланка безжалостно ограничивают мои воз-

можности, я резко сократил задуманный ранее текст и начертил приведенные в начале рассказа слова, вошедшие навсегда в историю нашей семьи: «22-го встречай на Северном... поезд такой-то, вагон такой-то гвардии Мишка».

Проверяя мой текст, телеграфистка дважды строго вскидывала на меня серые глаза и спрашивала (первый раз): «Зорька — это что, кличка, имя — нельзя ли заменить, опустить? А то на другом конце провода еще не поймут, о чем речь, спутают адрес...» Я замотал головой: нет-нет. А во второй раз, остановив карандаш на моей подписи «гвардии Мишка», спросив «Оставить?!» и получив утвердительный ответ, она отодвинула от себя на вытянутых руках бланк, прищурила глаза, чтобы рассмотреть текст, как обычно рассматривают художественное произведение, и сказала с грустью: «Я хотела бы получить такую...» Как много боли было в этих словах! Я пробовал понимающе кивать. Попробовал улыбнуться, но не получилось — не сумел... Приемщица назвала какую-то небольшую сумму, которую я должен был уплатить за пересылку и доставку телеграммы. Пока я доставал деньги, она быстро, даже, я бы сказал, артистично набрала на телеграфном аппарате мой текст и в знак окончания работы элегантно раскинула руки. Я достал крупную по тем временам денежную купюру, протянул ей и тоном подгулявшего завсегдатая московских ресторанов сказал: «Сдачи не надо». Телеграфистка, отсчитывая сдачу, серьезно запротестовала. А я, заслышав звон станционного колокола, возвестившего об отправлении поезда, устремился к выходу на перрон. Превозмогая боль непослушной ноги, я едва доковылял до шикарного выхода из зала ожидания, когда в ответ на сигнал колокола прозвучал свисток главного кондуктора, и поезд тронулся. Догнать его у меня уже не хватило бы сил, и я в отчаянии остановился, с горечью посмеиваясь над собой: Зорька получит телеграмму, а я, получилось, посмеялся над ней, зазимовав на сказочной станции Кунгур.

И зазимовал бы, если бы в тот миг не распахнулись зеркальные двери зала ожидания, не вбежали бы друзья-морячки, не подхватили меня на руки, не рванули бы со всех ног вдогонку за поездом, приговаривая: «Ну ты и даешь, лейтенант! Разве так можно?» Что «можно», они не объяснили — некогда было. Но я все-таки успел заметить: ребята то ли с испугу забыли, что привычно величали меня полковником, то ли, не простив моего легкомыслия, понизили в звании. Но несмотря на это через несколько мгновений я уже стоял на площадке вагона, тут же за мной на подножку вскочили и мои спасители. Правда, на площадку подняться уже не могли — там

не было места. Площадка и тамбур были переполнены сочувствующими и любопытными нашими дорожными спутниками. Они со страхом наблюдали и обсуждали случившееся: «Ой, так же можно было опоздать! Как так можно? Ой! Надо же...» Кое-кто попробовал меня ощупать, все ли у меня на месте, не повредил ли чего. Но друзья-моряки даже во «взвешенном состоянии» не переставали меня опекать и скомандовали любопытным: «Руки!», что означало — прочь от его (моего) тела.

...А на чистом перроне, на котором ни в какую погоду не увидишь иголки, ни еловой, ни сосновой, а ветки деревьев нависали над станционными строениями и шумно раскачивались, приветствуя прибывающие и убывающие поезда, — на этом чистом-чистом перроне стояли дежурный по станции, нервно перебиравший в руках желтый и красный флажки, не зная, какой из них, наконец, показать машинисту нашего поезда, и телеграфистка с зажатой в кулаке сдачей — и растерянно-сочувственно смотрели нам вслед.

Дежурный — высокий, статный, с манерами и поведением, достойными сказочного места службы, — наверняка быстро придет в себя. В его практике, должно быть, и не такое случалось. А вот телеграфистка, вполне возможно, с таким отправителем сталкивалась впервые. Но и она вскоре найдет решение проблемы: ей известны Зорин адрес и имя отправителя. Так что вслед за телеграммой «22-го встречай...» Зоря получит деньги с припиской «для гвардии Мишки сумма за вычетом по тарифу... Кунгур». Представляете?! Зоренька-девонька получает две телеграммы, которые могут озадачить и бывшего мужа!

Когда проводнику нашего вагона, удалось, наконец, утрамбовать переполненную пассажирами площадку, тамбур и закрыть вагонную дверь, он недобро скомандовал: «Граждане! Спектакль кончился, просьба очистить помещение!»

Потом в вагоне, сильно раскачиваемом, потому что поезд уже набрал скорость, я, медленно передаваемый из рук в руки заботливыми соседями, продвигаясь к своему месту, совершенно четко стал ощущать, как рассасывается боль в моей поврежденной ноге. Удавалось надежнее на нее ступить... Когда же я достиг цели, то нога вообще перестала о себе как-либо образом напоминать! Но, свободно развалившись на своем лежбище, я остро ощутил, что никак не хочет рассасываться запутанность моих чувств. Меня терзали противоречивые мысли. То я в своем воображении (в который раз!) выскакивал из вагона и мчался, перегоняя поезд, чтобы явиться к Зорьке раньше телеграммы, чтобы своими словами, взглядом, руками объяснить, почему, для чего явился...

Ну какое впечатление может произвести на Зорьку, на ее близких, соседей, друзей смелый, мягко говоря, текст моей телеграммы? Почему я решил дать телеграмму ей, а не своему товарищу, который мог бы ее как-то подготовить?! А зачем?! Я хочу только с ней разговаривать, видеть только ее!

Это борение продолжалось не один час. Телеграмму Зорька должна была уже получить. От этой мысли мне стало совсем плохо. У меня, наверное, был такой вид, что товарищи и соседи не решались ко мне обращаться, даже подходить. Но подошел Гриша Крылов и сказал:

— Знаешь, дружище, я сойду и поеду к себе, в Горький. Все равно я ничем не смогу тебе помочь (это он — мне).

Я где-то как-то понимал, что Гришка предаст меня, да еще «невыполнение приказа»! Но я машинально кивнул головой в знак одобрения, и Крылов вскоре сошел, чтобы пересесть на поезд, идущий в Горький, где его ждала веселая семья футболистов-торпедовцев.

После ухода Гришки-минометчика Фадеич устроился на его верхней полке и, встречаясь со мной взглядами, отворачивался к стенке, прикидываясь спящим.

Пару раз ко мне подсаживались друзья-моряки, прижимались с обеих сторон, обнимали: «Не бойсь, Мишуня, прорвемся!» Они не стали величать меня «полковником», «майором», даже «лейтенантом», видно, моя растерянность не давала повода для воинского звания. К тому же годами они были постарше меня.

Через два дня (столько шел поезд до Москвы) я узнаю, Зорька расскажет, что... Потом она будет много раз рассказывать об этом мне друзьям, знакомым. И каждый раз свое повествование начинать так: «Не могу передать словами, что испытала в тот момент!» А запас слов у нее немаленький. И каждый раз мне становится не по себе, когда она так об этом рассказывает.

После первого потрясения она начнет находить слова, и люди узнают, что было дальше. Так и я узнал. Узнал, что Зорька необычайно обрадовалась весточке, скорому моему появлению. Очень-очень обрадовалась. А что произойдет потом, после моего появления — она совсем не могла себе представить. Как ни силилась. Увидев дочь в непривычном состоянии, мать подбежала к ней, взяла из ее рук телеграмму, прочитав, тоже обрадовалась. Даже захлопала в ладоши. И вдруг, обливая слезами опешившую дочь, беспомощно повисла у нее на шее. Потому что тоже не могла себе представить, что будет потом и чем помочь дочери. Упавшую на пол телеграмму подобрал младший брат Зори. Про-



читал. Но не стал обращаться за разъяснениями к странно ведущим себя женщинам. Побежал за бабушкой.

Мудрая бабушка, уже все-все на свете знающая, внимательно посмотрела на младших женщин. Долго читала телеграмму. Потом снова взглянула на не пришедших еще в себя невестку, внучку и очень взвешенно, по-доброму произнесла: «Ну что? Забавный юноша. Должно быть, очень мил...»

Эти слова, которые ровным счетом ничего Зорьке не объясняли, как ни странно, подсказали ей, что надо делать! Она схватила одежду и, напяливая ее на ходу, выбежала из дома. И через весь город помчалась на Северный (он же Ярославский) вокзал, чтобы узнать, в котором часу придет «22-го поезд шесть...». А потом снова через весь город помчалась в школу, которая находилась рядом с ее домом, — к директору, чтобы отпроситься. Потому что в то же самое время, когда прибывает поезд, ей предстоит проводить уроки рисования в начальной школе. Притом, что важно, — последние уроки перед весенними каникулами!

Директор встал из-за своего рабочего стола, поскрипывая протезом, подошел к Зоре и тихо сказал: «Позовешь на свадьбу — сам заменю тебя и сделаю все как надо».

В Зорькиной головушке слово «свадьба» как-то не вязалось со словами, напечатанными в телеграмме, со словами «вокзал», «уроки», «каникулы», со всеми теми, что она употребляла в своих письмах на протяжении трех лет — и она воскликнула: «Какая свадьба?!»

— Знаем мы вас, — директор спокойно парировал Зорькино отрицание. Он, как и весь педсостав школы, был в курсе нашей переписки.

Может быть, поэтому слово «свадьба» неожиданно стало для нее привлекательным, манящим и одновременно пугающим. У нее на глазах появились слезы. Она их почему-то застеснялась, уткнулась головой в широкую грудь директора и стыдливо завсхлипывала. Директор погладил ее по спине и тихо молвил: «Ну вот и договорились».

Большой, красивый директор недавно вернулся с войны. Она отняла у него ногу, но не смогла лишить чувства юмора, доброты и дальновидности. Об этом последнем эпизоде я узнаю лишь на нашей свадьбе, а все остальное — через два дня, сразу же при встрече.

Но в те злополучные два дня я не мог себе даже представить что-либо подобное. Ничего благостного не лезло в голову. На душе было муторно. «Разве это жизнь? — сказала голосом актрисы Раневской женщина в соседнем купе. — Так жить нельзя!» Не знаю, к чему и к кому относились эти ее суждения,

но мне очень легко было принять их на свой счет.

Так я и не жил в эти дни. Не помню, чтобы ложился спать, просыпался, вставал, что-то ел, куда-то ходил, с кем-то разговаривал. Помню только, было — смотрел в окно. Смотрел на набегающее и крутящееся белое безмолвие. Безграничная снежная пелена. Не снег — саван. Уставший, подавленный, лишенный слов, кажется, уже ничего не ждущий, я машинально считал быстро мелькающие телеграфные столбы, которые, в свою очередь, спешно пересчитывали оставшиеся километры.

Неожиданно в окне появился перрон. Люди. Живые. Их становится все больше — уже толпа. Поезд остановился — люди разбежались в разные стороны, ринулись к дверям вагонов: встречать прибывших. Перед окном образовалось свободное пространство. Я увидел серебристый фигурный столб, поддерживающий крышу перрона. У столба стояла девушка, очень похожая на все Зорькины автопортреты. Только красивее и лучше. Живая! Я увидел в оконном отражении, как моя физиономия расплылась в безграничной улыбке. Заметив выражение моего лица, друзья-морячки вместе спросили: «Это она?» Я счастливо закивал.

Друзья-морячки впервые разбежались в разные стороны. В окно видно было, как они с разных сторон подбежали к Зорьке, заговорили. Одновременно сказали (об это я узнаю позже): «Не волнуйся — он приехал!» Сначала она испуганно ждалась. А потом, разобравшись, в чем дело, засмеялась и стала вглядываться в окно, на которое указывали морячки. Но меня там уже не было. Фадеич вынес мои вещи на перрон. Обнял меня. Сквозь слезы зашептал на ухо: «Будь счастлив! Очень! Я уже тебе не нужен». Сказал он не как ординарец, а как старший, опытный, выдавший виды человек. Только по привычке добавил: «Здравия желаю, товарищ гвардии лейтенант!» и скрылся в толпе. Я не знал, бежать за ним или... В мгновение ока я очутился рядом с Зорькой. Рядом она оказалась еще привлекательней. Обворожительной! Я порывисто обнял ее, а она меня. В опьяняющем безумном поцелуе мы пробыли очень долго. Уже опустел перрон, на котором остались лишь носильщики, пытавшиеся выяснить, чьи чемоданы рядом с нами и не надо ли помочь отнести их куда-нибудь... И в трамвае, в котором мы ехали к ней домой (потому что я не хотел ни к кому другому ехать, не хотел никого видеть, кроме нее, и она принимала это как должное), мы тоже не отрывались друг от друга и не смотрели по сторонам. Тогда же она, переводя дыхание, сказала: «Я как заглянула в твои зеленые глаза, так почувствовала, что тону...» Так как я захвачен был Зорькой уже давно, то говорить при встрече нам оказалось не о



Рисунок Антонины Решетниковой



чем. Все уже было сказано в письмах — мы просто любовались друг другом, радовались встрече! У Зориного дома нас встретила выходящая из подъезда по своим делам Зорина мама. Она нас радостно поприветствовала. Меня обняла, расцеловала. (Можно считать — благословила!) А мы быстро поднялись на шестой этаж без лифта, сунули куда-то чемоданы, Зорька сбросила пальто, шапочку на первый попавшийся стул... И предо мной предстала еще более прекрасная дива! Нет, ноги у нее не росли от ушей. Модные теперь параметры 90-60-90 никакого отношения к ней не имели. Шея и талия деликатно переплелись с другими частями тела...

Но какой ладненькой она смотрелась! Какой привлекательной, какой обворожительной, обаятельной! Она вся светилась, излучая тепло и радость. До сих пор я купаюсь и греюсь в лучах ее обаяния. А тогда я даже забыл, что должен тоже понравиться.

К тому же в этот момент мне непрошено явились Оленька-Света, Галина Михайловна с ребятишками, еще какие-то вагонные соседи, как на свадьбу — улыбаются, поздравляют! Да этот — видный дядечка, похожий на полковника и какого-то актера! Все в том же солдатском одеянии, все-таки, наверное, разжалованный?! Черт бы его побрал! Явился! Чтобы напомнить о нацменках, о нашем неоконченном разговоре? Сам бы я даже в шутку не затеял разговор о национальностях при своем интернациональном воспитании. Тем более что по письмам я знал о бесчисленном количестве национальностей, намешанных в Зоре, — западных и восточных, северных и южных, — так что нацменкой ее никак нельзя было посчитать, скорее нацболкой! И отец, когда она родилась, не зная, какой традиции следовать, нарек ее Авророй — Утренней Звездой, Зарей, по-нашему — Зорькой. Зорька ясная! Зоренька — и есть ее национальность! Я обрадовался своему открытию. Засмеялся. Все непрошенные гости разом исчезли. И я увидел, с каким удивлением Зоря меня рассматривает, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Должно быть, пауза надолго затянулась. И она настороженно спросила:

— Ты чем-то расстроен? Не рад, что сюда приехал?

Я расхохотался и, выкрикнув: «Что ты! Зоренька ясная!», сбросил свой роскошный реглан, подбитый невероятно красивым мехом из щипаного хинганского козла, красивую шапку. Ее благосклонная улыбка меня немного озадачила. Но когда она бросилась мне на шею, то сомнения мои враз улетучились, и я прижал к себе желанную крепко-крепко... И вдруг испугался, отодвинул ее от себя, чтобы рассмотреть — не помял ли что, не сломал ли чего?

Рассматривая Зорьку, я спросил ее:

— Тебе не больно?

Крепко зажмурив глаза от удовольствия, она отрицательно качала головой и тихо добавила своим неповторимым голосом, которым я не перестаю наслаждаться:

— Нисколько, — она показала мизинец, не отмерив на нем большим пальцем ничего...

Все весенние школьные каникулы мы были неразлучны — ни к кому в гости не ходили, никого к себе не звали — только вдвоем. Даже существует памятный документ.

Когда после каникул Зоря пошла в школу и дала задание первоклашкам приготовить к следующему занятию рисунки на тему «Как я провел каникулы», то один ученик предложил уже готовую работу, исполненную на пленэре. Хитро улыбаясь, он протянул Зоре тетрадный листок, на котором были изображены он сам, пускающий бумажный кораблик в весеннем ручейке, а на противоположном берегу ручейка — его учительница под ручку с «бородатым дяденькой», как выразился юный художник. Кстати, этот рисунок сохранился и всегда представлялся на наших свадебных выставках.

Мы были неразлучно вдвоем и вскоре почувствовали себя одним человеком! Это я ощутил, когда Зоря провела несколько часов в школе, а я оставался один с книгами, очень интересными, с ее бабушкой, еще более интересной, но без Зорьки мне было худо! Я не сдержался и сказал ей об этом. Она, оказалось, испытала то же самое! И тогда я предложил Зорьке объединиться, так сказать, «в законе». «Зачем? — спросила она и добавила: — Мои родители столько лет провели вместе, вырастили меня с братцем...» — «У меня кроме желания есть еще приказ!» — ответил я. «Приказ?» — весело удивилась Зоря и расхохоталась. Я хотел было рассказать, наконец, на каких условиях нахожусь рядом с ней. О долге, который меня связывает. Об идейной заботе замполита. Об «угрозах» комдива, его кулачище! Наконец, о «ходатайстве» товарищей. Но решив, что эта боль может показаться ей шуткой, привел в доказательство необходимости моего предложения житейски серьезный довод, о котором я неожиданно вспомнил. Дело в том, объяснил я Зоре, что служба моя протекает в пограничном районе, и для того, чтобы она могла ко мне приезжать (а я не смогу часто ездить), обязательно нужен штамп в паспорте. Зорька испуганно взглянула на меня и выкрикнула: «Ах вот оно что? Так бы сразу и сказал!» Я попробовал свой испуг скрасить шуткой: «Приказы надо выполнять!» Но о том, почему и как в тот момент я оказался в женихах и, наконец, в мужьях, я поведаю ей через шестьдесят лет! А тогда...

Что-то услышав, почувствовав или заподозрив, младший брат Зори шепнул матери: «Они что-то затевают». А мама, по природе своей не терпящая каких бы то ни было неясностей, вбежала в Зорину комнату, где и застала нас... под одним одеялом. Как ни странно, это обстоятельство ее не расстроило, не испугало — наоборот, обрадовало. Может быть, потому, что ее с Зориным отцом точно так же застали товарищи-однополчане. Только под одной... шинелью, в окопе, во время гражданской войны. Она набросилась на нас с поздравительными поцелуями, и мы, придя в себя после этой приятной, но неожиданной процедуры, сообщили ей: «Сегодня, в крайнем случае завтра, мы идем в загс, потом собираем всех, кто уже вернулся с войны, из эвакуации, и играем свадьбу. Потому что мне через четыре дня нужно возвращаться в часть!»

К первой половине нашего решения мама, считая уже теща, отнеслась благосклонно. Во-первых, я ей нравился, во-вторых, мужчина в доме при подрастающем мальчишке — младшем сынишке очень кстати, а на самой *роптиси* она наверняка не стала бы настаивать, так как прожила с отцом своих детей, не оформляя отношений. Да и у бабушки, ее свекрови, хранился документ, которым церковный приход подтверждал, что «при девице Лаврентьевой родился сын Владимир», и это не помешало ей тоже прожить с отцом Владимира без регистрации до гробовой доски. Но раз мы собрались в загс, она отговаривать не стала. Может быть, это в настоящее время и нужно...

Вторая часть нашего плана ее озадачила! Чем угощать гостей?! Конец месяца — все продуктовые карточки отоварены. Самое большее, что можно вы брать, так это хлеб и пару баночек бычков в томате!

Настал момент доказать, что жених не льком шит. Во-первых, у меня *было!* Вспомнил о подарках однополчан для невесты. И потом товарищи подбросили мне денег на всякий случай. А на этот случай есть коммерческие магазины! Мама-теща обрадовалось было, но тут же сникла: а в чем и на чем подавать? Пришлось ей, растерянной, напомнить, что наш прием будет проходить в коммунальной квартире и соседи всегда придут на помощь. Успокоенная мама-теща благодарственно почмокала нас и помчалась приступать к подготовке свадебного вечера. Мы тоже вскочили — нам предстояло побегать по торговым точкам.

А еще мы составили необычный план проведения торжества, к воплощению которого тоже нужно было срочно приступать. У кого из нас, как и когда зародился этот план, мы вспомнить не смогли. Зато как воплотился он — забыть невозможно!

Мы купили билеты в театр на всех приглашенных. При этом, чтобы не озадачивать гостей, мы

ничего им не сказали о предстоящей свадьбе. Мы их соблазнили утренним премьерным спектаклем «Госпожа министерша», в главных ролях — Марецкая и Плятт. Когда мы собирались, то гости, с которыми я не был знаком, не обращали на меня внимания. А приятели мои удивлялись: «Жив? Приехал, давно?», не очень понимая, как я попал в эту компанию, и из вежливости ни о чем не спрашивая.

В антракте мы говорили о пьесе, игре любимых актеров... А после спектакля мы еще некоторое время топтались кучей у театра, обсуждая, что делать дальше. Был хороший день, и никому не хотелось расставаться. Тогда Зоря взяла меня под руку и обратилась ко всем: «А пошли к нам!» Увидев нас вместе, все разом смолкли и с любопытством стали разглядывать молодых, ровным счетом ничего не понимая. Ни в чьем сознании мы никак не склеивались. Я решил расшифровать Зорино предложение: «Мы вас всех приглашаем с нами в загс, а потом на свадебный вечер». Чем озадачил всех еще больше...

Сначала приглашенные обиженно возразили: как это так — без подарков?! Но мы их успокоили, пообещав принять дары, когда гости наши разбогатеют, а у нас появится место, где можно будет эти дары складывать. После чего посыпались предложения, как лучше продолжить проведение торжества. Повеселевшие гости ввалились в троллейбус, оглашая радостными выкриками и смехом все Садовое кольцо. Потом так же шумно пересели в трамвай и, наконец, ввалились в учреждение, где регистрируются браки. Чиновница с большим трудом успокоила нашу компанию и объяснила, что для регистрации существует очередь, не меньше месяца, и... Я и Зоря стали умолять регистраторшу расписать нас, потому что... Но это не производило на нее никакого впечатления.

Тогда один из наших гостей, капитан, давно демобилизованный по ранению, но еще не позабывший командирских замашек (знавшие его звали просто Вовка), ударил кулаком по столу, аж чернильница подпрыгнула, и закричал, громяхая на весь зал: «Да как вы смеете? Герой войны! Командированный (он даже не подозревал о моем *таком* командировочном удостоверении, но почти слово в слово прокричал то, что там было начертано). Вышла к нам главная и после недолгих переговоров предложила прийти на следующий день до открытия и обещала нас сама расписать...

Те, кто готовил стол, с нетерпением нас ждали. Все гости, уже подавленные неудачей, молчаливые и давшие слово держать в тайне провал в загсе, скованно, но целеустремленно двигались к праздничному столу, где надеялись получить ответы на все вопросы.



Свадьба... Еще не была написана песня «Свадьба, свадьба, ах...». Но именно такой она мне запомнилась. Правда, не в том масштабе — три бутылки шампанского, сколько-то водки, бычки в томате, красная икра — на фарфоре, хрустале, и... патефон! А как плясали! Умеющие и неумеющие... Временами знакомые припирали меня к стенке и спрашивали: «Как это все?!» — «Переписывались три года». — «Ну и что?» Незнакомые еще продолжали с любопытством меня разглядывать и думать, может быть, завидуя или в чем-то подозревая. После одного из выкриков «горько!» и очередного нашего с Зорей поцелуя ко мне решительно придвинулся капитан Вовка. Глазами он меня просто грыз и, откусывая по кусочку, зло прошипел: «Кто ты такой?» — «Я хозяин, а ты гость», — попробовал я отшутиться. Мне подумалось, что это игра, а он, глядя на меня свысока (в этом, наверное, ему помогли звание и возраст — он был немного старше меня), прошипел еще злее: «Откуда ты такой взялся? Я думал, что это все шутка, а ты, оказывается, всерьез? Знаешь, что тут есть более достойный человек, который давно надеется... Давай я тебя отвезу на вокзал, и завтра он пойдет, как я там договорился?!» Капитан Вова попробовал вцепиться в мой локоть, чтобы потянуть куда-то. Но я резко высвободился, у меня сжались кулаки, сдвинулись плечи. Еще мгновение — и я избил бы его. Я не любил драться, но умел, занимался боксом... Меня остановили смех, топот перепляса. Тогда я цепко взял его за локоть и «Это серьезный разговор, выйдем». Я, конечно, сумел бы постоять за свое торжество и предстоящее утро. Но он почему-то не захотел или побоялся продолжения разговора, высвободил руку и отошел. Потом подошел к Зоре. Я было рванулся за ним. Но пока я пробирался к ним, он успел что-то сказать, она — что-то ответить. Он кивнул и быстро ушел. Больше мы его никогда не видели. Что он сказал Зоре, что Зоря ответила ему? Я не стал спрашивать свою жену. Надо будет — сама расскажет. Но об этом она рассказала очень нескоро.

Ну а рано утром, когда все оставшиеся еще спали, мы с Зоренькой тихонечко, быстренько собрались и помчались в загс. Заведующая действительно нас ждала, ввела в свой кабинет, открыла сейф, достала документы, печати, бутылку вина с рюмками и хотела уже... Но вдруг опомнилась: «Ой, а свидетели?! Ну хоть одного, вторым я буду». Желая помочь нам, она выглядывала в окно, в коридор — никого из сотрудников, ни дворника, ни милиционера — обнаружить не удалось.

В отчаянии, растерянные, мы вышли на улицу. А там удача нам улыбнулась: навстречу шел наш знакомый, учитель физкультуры из Зориной школы. И он обрадовался. Потому что искал, кто

бы помог ему опохмелиться. Мы пообещали — при условии... Он немного постеснялся, поупирался: «В таком виде...» (вид действительно был у него не для случая), но он оказался способным произносить напутствия, целовать руки заведующей и Зоре, обнимал меня.

Мы купили бутылку. Он сразу из горла глотанул, помотал головой, сделал долгий выдох и улыбнулся — отпустило. После чего пригласил нас к себе в гости — завел нас в скверик. Мы устроились на скамейке. Он вынул из кармана стакан. Мы по очереди приложились. И он запел. Чем привлек внимание военного патруля, который безошибочно определил во мне военнослужащего, нарушающего...

Командировочное удостоверение и брачное свидетельство, отмеченное сегодняшним числом, меня оправдали.

— О-о... с вас причитается, гвардии лейтенант!

Физрук им налил по чуть-чуть. Они отдали честь и удалились. Бутылка была пуста. Денег у нас больше не оказалось. К нам физрук идти не захотел, а мы вернулись домой догуливать. Так в нашей с Зоренькой жизни отметился тройственный праздник: 27 апреля — грехопадение, 28 — свадьба, 29 — регистрация брака.

На следующий день я отбыл в часть. В вагоне было свободно и чисто. Меня никто ни о чем не спрашивал, и я никому ничего не рассказывал. Я писал непрерывно письма, открытки. И опускал на каждой остановке. В перерывах смотрел в окно на ожившие пейзажи. Была весна в самом разгаре. Первая весна в моей семейной жизни! И глядя, как радостно пробуждается природа, вспоминал каждую деталь уже пережитого. Поезд был скорый. Обратный путь он проделал быстрее, через семь суток я сошел на 74-м разъезде. Мы обнялись с дежурным. Поздоровали друг друга. У него родился сын. Подумалось: «Скоро и у меня!»

Когда я вошел в расположение части, меня ждали поздравления товарищей, начальства и вопросы, вопросы, и я отвечал, отвечал... А еще меня ждали письма от Зори, доставленные авиапочтой.

Вскоре Зоря — уже моя жена — летом приехала на 74-й разъезд. Ко мне на пустырь. Песенно перестукивались вагонные колеса поезда, который подвозил ее! А как весело заливался паровозик, когда подъезжал с ней к нашему разъезду! Зоренька сказочно украсила не только мою жизнь. Тот, кто не был там в то время, не сможет представить себе, как радовались все ее появлению...

Все время мягко, нежарко светило солнце, ветры мирно улеглись в лощинах, ни разу нас не потревожив. Ночью темно-синее небо низко опускалось и невидимыми руками с бархатистыми ладонями неж-

но ласкало нас. Огромные звезды, до которых, казалось, можно дотронуться, от радости переливались всеми цветами радуги и с грустью таяли на рассвете... Люди же, все, всё время улыбались. Знакомые и незнакомые. Многие заглядывали в нашу землянку и спрашивали, не нужно ли нам чего-нибудь.

Командование устроило в «красном уголке» солдатскую свадьбу (без выпивки — с чаем, галетами, но с тостами). Комдив, поднявшись, чтобы поздравить нас, молодоженов, произнес: «Ну как мы?», поднял кулак правой руки, потом — левой, в воздухе их соединил и громоподобно, радостно засмеялся! Больше истории подготовки моей поездки в Москву никто не касался. И преподнесло нам командование необыкновенный свадебный подарок — выхлопотало мне демобилизацию для продолжения учебы в вузе, и я с Зорькой — мы вместе (!) — вернулись в Москву.

А какие проводы нам устроили! Народу было больше, чем тогда, когда провожали меня, потому что гарнизон пополнился новослужащими.

С тех пор, вот уже больше шестидесяти лет (!), мы неразлучно вместе! А если возникала какая-нибудь необходимость расстаться, то сразу друг от друга — друг к другу — летели письма, телеграммы... Мы не переставали быть очень нужными один другому...

Как мы жили?! Мы не обижаемся на судьбу, потому что прожили свою жизнь в основном как хотели. Правда-правда. Если оглянуться на минувшее, то покажется, что все шло по строгому плану. Первые два года мы занимались на дневных отделениях своих вузов, а когда стали рождаться дети, перевелись на заочные отделения и пошли работать. Я — на завод, токарем. На тот самый завод, на котором работала Зоря во время войны и где меня хорошо знали (по рассказам Зори). Только там уже делали не снаряды, а экскаваторы. Зоря вернулась в школу, чтобы обучать ребятишек рисованию. Получив дипломы, мы занялись тем, о чем мечтали: у меня завязались связи с киностудиями, потом работал на телевидении — сценаристом, режиссером; а Зоря стала в институте обучать будущих авиастроителей художественному конструированию. Сейчас самим трудно представить, как мы ухитрялись в непрерывной напряженной занятости в любимом профессиональном деле постоянно заниматься с детьми? Играть с ними и с их маленькими друзьями, не пропуская занятий в спортзалах и бассейнах. Учились с ними, тренировались. Не забывали о театрах, музыкальных концертах. Помнили о просьбах, интересах и нуждах близких, знакомых. Не избегали дружеских пирушек. А путешествия? А отдых? Не жизнь была, а праздник!

Конечно же, были боли и обиды, разлуки и потери, мы же все-таки — жили... и немало...

Что еще? Вот годовщины бракосочетания мы всегда отмечали только вдвоем. Нам так было интереснее. Лишь значимые даты, подобные серебряной свадьбе, золотой, мы праздновали пышно, с родственниками, друзьями, товарищами — с выдумкой!

Только *шестидесятилетие* не получилось пышным.

Зоря красиво накрыла на стол — она любит, чтоб все было красиво, — мы посидели, полистали фотоальбомы, поперебирали письма, повспоминали (вот тогда-то она спросила, а я ей и рассказал, как ехал), выпили рюмочку, больше уже не получается. Зоря как всегда первой встала из-за стола и привычно обронила: «Закон моря! Посуду моет последний!» Я услышал от нее этот детсадовский слоган на второй или на третий день после нашей встречи и рассмеялся, вспомнив Галину Михайловну (предупреждала ведь!). С той поры я мою посуду и убираю в шкаф Зорины вещи. Но разве это трудно? Тем более что весь ее шурум-бурум — не признак лени, неряшливости... Подобное отношение к разбросанным вещам скорее можно определить как любовь к диспропорции, асимметрии, немытая посуда не что иное, как оригинальный натюрморт! Зато жена мне столько сделала... Стоит только вспомнить, как она скроила и сшила модную куртку. Точь-в-точь как у знаменитого в те годы французского киноактера Жана Маре. Товарищи мне завидовали и спрашивали, где достал. А я: «Зоря сшила!» — «А можно заказать что-то похожее? Мы заплатим, сколько скажет!» — «Приходите хотя бы через день убирать комнаты, складывать на место разбросанные вещи, мыть посуду...» — «У-у-у-у...»

Да что куртка, мытье посуды?! Вместе с Зоренькой, когда были помоложе, мы своими руками, без посторонней помощи, не отвлекаясь от основных дел, смастерили почти всю мебель в своем новом доме и обустроили свое жилище так, что оно до сих пор остается максимально удобным для нас и наших гостей.

Вот еще что: в день годовщины *первой встречи* мы всегда идем на Северный вокзал (он же Ярославский). На ту самую платформу. Раньше мы туда проходили свободно, а теперь нужно покупать перронные билеты, и когда идем, то блюстителю порядка, которые нас давно знают, говорят молодым контролерам:

— Вот наши старички идут целоваться...

Молодые контролеры удивленно смотрят на нас и смеются — не верят. А мы действительно идем к тому самому серебристому фигурному столбу, подерживающему навес, — обняться, поцеловаться, как в первый раз! Потом говорим «о том, что было, и о том...» И теперь уже обязательно вспоминаем, как



меня отправляли жениться. Вспоминаем тех, кто и как помогал нам встретиться: супругов-дежурных по 74-му разъезду, сержанта милиции со злополучной узловой, друзей-морячков, сыгравших очень важную роль в нашей встрече. Не забываем Фадеича, который умел находить добрых людей. Обязательно говорим об Оле-Свете, о переписывавшихся неудачниках, о Галине Михайловне — обо всех тех, кто наставлял меня, предупреждал, пытался спасти, и не спас — от счастья!

Во время последнего нашего посещения Северного вокзала у того серебристого столба Зоря наконец спросила:

— А почему ты дал телеграмму из Кунгура, а не сразу, как только узнал, что едешь? Ты себе не можешь представить, как я перенервничала. А так бы я успела прийти в себя...

— Прости, просто не было такой возможности. То некогда было, то не попадались телеграфы, да и поезд нельзя было покинуть, даже выйти из вагона. Настоящая возможность появилась только на станции Кунгур.

И тут мне отчетливо представилось, что могло бы произойти, если бы Зоря имела в своем распоряжении десять дней! Я просто испугался. По настоящему. Ведь Зоря успела бы оповестить всех своих знакомых, родственников, друзей, и тогда на вокзал пришло бы немало любопытных, которые, успев обсудить мои с Зорей отношения, оценивали бы меня кому как в голову взбредет. Наверняка помешали бы тому первому поцелую. Потом шумные, бесконечные гостевания друг у друга, ненужные советы... помешали бы, может быть, даже против их общей воли, случиться тому, что случилось! Позже, когда я познакомился с матерью близкого Зориного друга, она рассказала мне, что всегда в Зоре видела свою невестку и, не появившись так неожиданно, добилась бы своей цели.

Да мало ли что могло случиться! Я, пытаюсь улыбнуться, чтобы скрыть свой испуг, поведал Зоре о возникших опасениях.

— Правда? Ты так подумал? Ты не помнишь, что я писала? «Что мне делать, чтоб не думать о тебе?» Не помнишь, что я писала в письме про то колечко, что нашла, и что мне нагадала спасенная мной старуха? Я никому не могла бы рассказать, даже маме, даже лучшей своей подруге Верочке! С кем-то обсуждать свои тайны?! А когда Вовка (капитан) стал говорить мне, что ты не мой герой, что он может помочь тебя отправить обратно, то я сказала ему, что не отдам тебя никому, что я тебя люблю и ни на кого тебя не променяю, и если он не шутит... Я просто выгнала его! Могла бы поколотить, если бы не побоялась испортить праздник. И первую встречу с тобой я не готова была и не могла ни с кем обсуждать. Про телеграмму я даже Верочке не сказала. Это мама проговорила... Вера еще просилась поехать со мной на вокзал, и я ей категорически запретила. Она просилась постоять в сторонке, только посмотреть, как... Я пообещала, что если она попробует — не прощу ей этого никогда!

Я виновато прижал к себе свою женушку, будто извиняясь за то, что смог допустить какой-то иной ее поступок, за то, что смог удивиться подобному откровению, которое еще явилось для меня большим подарком к нашему юбилею. Невольно пришлось задуматься над тем, какой подарок должен быть преподнесен мной, чтобы он не уступал Зориному, и хватит ли у меня времени, чтобы не остаться в долгу?

Но следующая спасительная мысль подсказала, что лучшим подарком женушке являюсь *я сам*, как и *она* для меня! И благодарить за такие дары нам следует не столько случай, провидение, судьбу, сколько — друг друга... Ох, если б вы знали, сколько!

Постаремся, чтобы продолжение последовало...



Давний автор и друг нашего журнала, непредсказуемый и смелый поэт Олжас Омарович Сулейменов в нынешнем мае встречает свое семидесятипятилетие. Что тут скажешь! Время неумолимо.

Давайте же в эти дни мы с вами, уважаемый читатель, внимательно послушаем юбиляра-творца, мастера стиха, чуткого мыслителя, запальчивого исследователя литературы Олжаса Сулейменова, который в свое время потряс академиков концепцией о том, что «Слово о полку Игореве» было написано для двуязычного читателя двуязычным автором. С литературоведом Сулейменовым можно и не согласиться, но поэт Олжас Сулейменов прав всегда, как может быть прав только большой поэт, — правотой боли, правотой памяти о расстрелянном отце, правотой страдания народов, разделивших участь отходов ядерных полигонов.

— **Олжас Омарович, выяснять отношения в драке между творческими людьми — старая добрая традиция: Гумилев и Волошин, Пастернак и Есенин, Бродский и Бобышев, Рубцов и Соколов. Что служило поводом для ваших драк в Литинституте, какие идеалы Вы отстаивали и как это повлияло на Вашу творческую судьбу?**

— Кто в молодости не дрался! Поводов в студенческие годы было достаточно: время становления характера, мировоззрения. Я к тому же входил в группу ребят, чьи отцы были расстреляны при Сталине. Потом, через многие годы, Лев Николаевич Гумилев расскажет мне, что отца моего сначала поддержали в камере вместе с ним. Институтские схватки продолжались, перешли в форму литературных и политических боев, которые уже пожизненно заставляют держать форму.

— **Член редакционного совета нашего журнала Лев Аннинский писал о Вас: «Поэт оказался на скрещении культур, на скрещении традиций». О Вашей поэзии в восклицательных тонах писали Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Сергей Марков, Лев Ошанин. Какие поэты и писатели, обстоятельства времени и места оказали на Вас наибольшее влияние?**

— В Литературный институт я поступил, уже заканчивая геологический. Тогда, в 1958 году, было создано отделение художественного перевода на русский с нескольких языков СССР — казахского, грузинского, литовского, азербайджанского, армян-

ского... Я любил стихи Константина Симонова, Леоныды Мартыновой, Бориса Слуцкого, считаю их своими тогдашними учителями. Но настоящую школу стихотворной техники мне задал поэт Анатолий Кудрейко, некогда попавший под горячую строчку Маяковского:

...кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки,
кто их к черту разберет!

Он пережил и Есенина, и Маяковского и дослужился до заведомо поэзии в журнале «Огонек», которым тогда руководил Анатолий Сафронов.

Редакция «Огонька» находилась на дороге между институтом и общежитием, а редакций других журналов я не знал, поэтому занес стихотворение «Аргамак» (так в степи называют породистого скакуна) в отдел Кудрейко. Он исчеркал его красным карандашом и вернул: «Другое неси». На другой день я принес то же, но исправленное. Он взялся за карандаш, почеркал еще больше: «Другое неси». Несколько месяцев, изо дня в день, я носил ему «Аргамак», не из упрямства только, а потому, что других стихов у меня еще не было. Благодаря школе Кудрейко я, кажется, набил руку и смог уже почти адекватно передавать русским словом казахские образы.

— **А то стихотворение наконец-то было напечатано в «Огоньке»?**

— Нет, когда почувствовал, что обойдусь без карандаша Кудрейко, я перестал сходить на той оста-



новке и прямо ехал в Литинститут, где были уже другие учителя. Но запомнил уроки курса Кудрейко и всем начинающим советую пройти такую школу.

— **Вы помните то стихотворение?**

— Конечно, хотя с тех пор к нему больше не при- трагивался.

Эй, половецкий край,
Ты табунами славен,
Вон вороны бродят
В ливнях сухой травы.
Дай молодого коня,
Жилы во мне играют,
Я проскачу до края,
Город и степь накрены.
Ветер раздует
Пламя
в жаркой крови аргамака,
травы
сгорят
под нами,
Пыль
И копытный цок.
Пусть аргамак узнает, что
такое
атака!
Бросим робким тропам
грохот копыт в лицо!

— **12 апреля 1961 года все радиостанции мира прервали свои передачи, чтобы сообщить сенсационную новость: «В космосе первый человек Земли — Юрий Гагарин».** Над ликующими площадями Алма-Аты — одномоторный самолет. Он разбрасывал над городом тысячи листовок с Вашими стихами, посвященными подвигу Юрия Гагарина. А через семь дней и ночей Вы закончили поэму «Земля, поклонись человеку!» и получили первую в своей жизни премию Ленинского комсомола. Когда из-под пера вышли слова «Земля, поклонись человеку!», Вы понимали, что и с Землей, и со звездным человеком — Юрием Гагариным судьба уже готовила Вам близкое и обстоятельное знакомство? Расскажите о ваших встречах с первым космонавтом.

— Особо запомнилась встреча летом 1967 года в станице Вешенская. М. А. Шолохов пригласил к себе для бесед группу молодых писателей. Прилетел и Юрий Гагарин, вместе с ним — руководитель союзного комсомола Сергей Павлов. Вечером на станичной площади он произнес потрясающую речь, выступил Гагарин, мы читали стихи. Я — отрывок из поэмы, посвященной космонавту. Вечером —

обильное казачье застолье, на котором я воздержался от рюмки. Краснею от глотка, поэтому до сих пор не пью ни на одном официальном приеме. Только в узком кругу с друзьями.

В ноябре того же года ЦК ВЛКСМ учредил премию Ленинского комсомола. По деньгам ее сделали равной государственной, чтобы придать статус. На заседании Бюро решался вопрос с кандидатурой первого поэта, которому достанется новая премия. Обсудили всех, пошли по второму кругу. Завершил обсуждение Сергей Павлов: «Все кандидатуры достойны. Но я предлагаю поддержать кандидатуру Сулейменова. Он отличается от всех советских поэтов одним особым свойством». Обвел всех взглядом и негромко сказал в напряженной тишине: «Он не пьет». Сделалось шумно. Все за. Первый случай, когда наградили за воздержание.

Но, конечно, не только этим запомнился праздник у Шолохова. Днем, пока готовилась уха из стерляди, наловленной в Доне, играли в волейбол босиком на песке. Гагарин глубоко порезал ногу об острую раковину, весело подскакал на одной к воде, опустил раненую в Дон, и потянулась от нее лента красная, как казачий лампас. Образное воплощение получили слова Брэдбери, сказавшего, что прорыв человека в космос для эволюции имеет значение, сравнимое с выходом рыб на сушу. Это была последняя встреча. Через несколько месяцев Юра погиб. Учебный полет. Истребитель упал в лесу, в районе г. Киржача Владимирской области. Там воздвиглиobelisk по проекту архитектора Рукавишников. На постаменте в металле отлиты слова «Земля, поклонись человеку...».

— **Критика причисляет Вас к шестидесятиникам, одним из творческих принципов которых была пропаганда соцреализма. Но вот в 1969 году Вам заказывают поэму о Ленине, а Вы пишете «Глиняную книгу».** По сегодняшним меркам это нерационально. Разбогатели бы, продвинулись бы по партийной лестнице. Или были другие мерила и мотивы в творческой душе?

— Поэма о Ленине к 100-летию вождя не получилась. Почему? В нынешнее время проще было сослаться на «внезапное политическое прозрение». Но, по правде говоря, я тогда очень хотел написать, искренне пытался: заказ «Правды». Была обещана «взрослая» Ленинская премия. Тогда мы к наградам относились более трепетно, чем сейчас. А объясняется просто — в то время я был погружен в Шумер, Ассирию-Вавилон. Это и сказало. Считаю, что «Глиняная книга» — это лучшее, что мне удалось.

— **Книга «Аз и я» в свое время не только вызвала восхищение музыкой и силой слова, но и**

произвела научный переполох. Ее бы прочесть и осмыслить с позиции сегодняшнего дня. А купить в Москве — невозможно. К Вам не обращаются издатели? Уж больно забываем в ней образ старухи Азии, размышляющей о судьбе молодой Европы.

— «Аз и я» была переиздана в Москве в 2005 году, через тридцать лет после первого алма-атинского издания. Сейчас снова выходит в Алма-Ате. На нее обрушились критики, не разобравшись в сути. Я сказал в ней, что «Слово о полку Игореве» было написано двуязычным автором для двуязычного читателя. Вероятно, двуязычной была городская среда в Киевской Руси XII века, на границе с Диким Полем, где обитали тюркоязычные кочевники-половцы. Века теснейшего общения Руси и Поля не могли пройти бесследно. Русские в XVIII—XIX веках не столь близко сожительствовали с французами, но «Войну и мир» и «Анну Каренину», не зная французского, не прочтешь. Сейчас их перевели на русский. О подобном двуязычии в городах Киевской Руси и говорилось в «Аз и я». Ни один великий язык не упал готовым с неба, он развивался благодаря многочисленным периодам билингвизма. Почему-то это положение вызвало бурю возмущения в Академии наук СССР.

— Когда-то Вы написали: «Нет Востока, и Запада нет. / Нет у неба конца». Вы — поэт. Дипломат. Политик. Знаете мир. Любите его. Свою Государственную премию Казахской ССР имени Абая до копейки передали в Фонд помощи Вьетнаму. Были членом международного трибунала в Токио в 1984 году по осуждению геноцида. «Нет Востока, и Запада нет. / Два сына есть у отца». За годы вашей дипломатической миссии на Западе открылись ли для философа Олжаса Сулейменова новые знания о мире? «Нет Востока, и Запада нет... / Есть большое слово — ЗЕМЛЯ». Вы по-прежнему так считаете?

— Похоже, основные свои убеждения я высказал в первых же книгах. Не изменяю им. И в дипломатической деятельности им следую. Запад и Восток похожи на два полушария мозга. Их взаимозависимость порождает взаимодействие, что обеспечивает разумную жизнь на планете.

— Что лично для Вас значил развал Советского Союза? Евразийский союз, о котором вы говорили двадцать лет назад, — реален.

— Развал СССР воспринимаю как этап на пути создания Евразийского союза. Сегодня крупные политики уже начинают в уме расширять масштабы будущего Союза. Он к середине XXI века, думаю, будет в границах от Атлантики до Тихого океана и от Северного Ледовитого до Индийского. Это моя любимая тема, поэтому здесь ограничимся сказанным.

— Когда-то Вы были председателем Шахматной федерации Казахстана. А что Вы делаете, когда у Вас в жизни случаются патовые ситуации?

— Пытаюсь выбраться.

— «Люблю тебя, товарищ мой Олжас». Это Римма Казакова... Ее громогласное объяснение в любви к Вам напечатал журнал «Юность» в 1984 году. Возможна ли сегодня любовь в поэтическом мире?

— Без нее о мире, тем более о поэтическом, говорить не приходится.

— В своей жизни Вы открывали звезды, закрывали на земле атомные полигоны, любили, боролись, защищали. В эпилоге «Глиняной книги» есть слова: «Каждому племени нужен один человек, ушибленный звездой. Заводите таких». Как Вы думаете, в России заведут еще ярких, ушибленных звездой политиков, поэтов, дипломатов, строителей — или их время подходит к логическому концу?

— Ушибленных нынче не только в России, но и всюду хватает. Только разобраться надо — звездой ли? Скоро, думаю, пройдет период безцензуры, который слишком легко понять как нецензура. Пора бы социологам изучить феномен и понять, почему в условиях царской цензуры расцвел золотой век русской литературы, а за двадцать лет безцензуры Пушкины не взошли. Как под сталинской цензурной плитой. Разобраться бы. А время ярких талантов никогда не пройдет: природе нельзя без весны. Будем считать, что период внесезония заканчивается, и — помогать весне! «Вот лозунг мой и солнца!», как сказал Владимир Владимирович.

Беседу вели Валентина Ланцева и Марина Рыбакина

Париж, май 2011 г.



Александр ОРЛОВ



Я родился в 1975 году в Москве. Работаю учителем истории в столичной школе с углубленным изучением иностранных языков. Учусь на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького. Представляю мастерскую Геннадия Красникова, пятый курс.

Николай Гумилев, Георгий Иванов, Анатолий Штейгер, Татьяна Бек, Александр Кушнер — это та поэзия, которая близка мне.

Поэзия — это наивысшая форма обращения к Творцу!

Московский кочевник

Четвертый десяток давно мне пошел,
Бежит мое время, хоть плачь, хоть кричи,
По маме на четверть я хитрый могол,
По крови я родственник хана Джучи.

Киргизы, башкиры не платят оброк,
Оставлено царство, не снится Байкал,
И только в душе моей Древний Восток.
На тысячу лет я, увы, опоздал.

Я так же, как пращур, кочую в ночи,
На Ленинском мой коммунальный улус,
И племя мое — это вы, москвичи,
Наш прежний родитель — Советский Союз.

Корыстных наложниц распущен гарем,
Пощусь, причащаюсь, стал крестным отцом,
Конину и сало я с радостью ем,
Пью чай из пиалы, люблю с чабрецом.

Из белого волка пошит малахай,
Люблю многолюдный весенний Арбат.
Столица — навеки мой избранный рай,
В Москве обитает степной азиат.

Вороний хиджаб

От Москвы я за тысячи миль
В мире торга, обмана и шума,
На базаре ширазском Вакиль,
В духоте из шафрана, куркума...

Покупаю кашанский ковер,
Портмоне, намакдан¹ и кувшины,
Но иранки нечаянный взор
Превратил мое сердце в руины.

Я увидел вороний хиджаб²,
Укрошенную поступь, осанку,
Я смутился, застыл и ослаб,
Захотелось украсть персиянку,

Подарю ей оазис любви,
Горы Чехель, Магам и Дерак,
О такой не мечтал Гянджеви,
Ее сердце горящий очаг.

Призрак

У подножья горы Адауда,
У обманчивых каменных глыб
Я увидел седого верблюда,
Я от дикого страха охрип.

Одинокий, он шел по пустыне.
Я решил оборвать его век —
Два патрона в моем карабине.
Но взмолился старик туарег:

«Этот призрак в Сахаре — хозяин,
Он приносит удачу в делах,
Он рожден у небесных краин,
И его охраняет Аллах».

* * *

Распахните мне окна пошире,
Там, на небе, свинцовые гири
Нависают бездомной тоской
Над Басманной, Ордынкой, Тверской...

Загустевшая, липкая грязь
В сердцевину страны пробралась,
И парит над осенней Москвой
Листьев падших разгневанный рой.

И все хлещет дождливая зга,
Иней первый коснулся виска.

¹ Намакдан — тканые сумки, которыми пользуются кочевники для хранения продуктовых запасов.

² Хиджаб — одежда мусульманки, покрывающая все тело за исключением лица и кистей рук.



Я стою на Поклонной горе
В неучтенном году, в октябре.

Чистейшая новь

Вечер, стемнело, четверть девятого,
Слышно дождя уходящего дробь,
Хармса читает с экрана Хаматова,
Город заполнила снежная топь.

Гул эстакадный, мыслей слияние,
Ветер свистит из оконных щелей,
Не отыскать в темноте покаяние,
Мир ожидает морозных вестей.

Свежести зимней безумно захочется,
Засеребрится чистейшая новь,
Вьюга — старушка, седая пророчица,
К жизни трескучей меня приготовь.

* * *

Запах осени влажен и едок
От горящей листвы и дождей,
И попросит она напоследок:
«Ты меня не бросай, пожалей».

Я тебя не бросал и не брошу,
Круглый год на душе листопад,
И небесно-сермяжную ношу
Рваных туч я таскать только рад.

Я с тобой распрощаться не вправе,
Я всем сердцем тебя полюбил.
Век застыл на Калужской заставе
В серой дымке небесных кадил.

*Продолжение. Начало в № 4 за 2011 г.**Рисунки Анны Дудяковой*

ПОВЕСТЬ

Часть 2

Глава 1

И вот оно наступило — последнее первое сентября в ее школьной жизни.

Привычно строилась линейка, расцветали над головами букеты цветов, мелькали пугливые макушки первоклассников. Протараторила что-то директриса, пустил традиционную слезу завуч...

Не было осознания чего-то последнего. Была радость встречи — радость встречи со своим классом! Все-таки стройотряд и пережитая там летняя тяго-

мотина сделали свое дело, они стали ближе и родней друг другу. И в воздухе уже носилось предвкушающее: «А помнишь?»

Парни уважительно похлопывали друг друга по плечу, похорошевшие за лето девочки закидывали от смеха головы.

Пока еще в этой первой предурочной суете Арья почти не видела своего учителя, и только сердце порой вздрагивало: как встретятся они после пережи-



того? Но Эдуард бегал, суетился, окунувшись в мир своих учительских забот, и Арьке уже стало казаться, что он специально избегает ее.

Но вдруг, перед самым началом линейки, он неожиданно оказался у нее за спиной. Арька даже вздрогнула, услышав в непривычной близости его голос:

— Так что, здороваться будем или нет?

И Арька, сама не зная почему — ведь решила же, решила с ним не разговаривать, выгнал ведь ее из стройотряда, — вдруг расцвела ему навстречу.

— Да... выгнали меня... — и пожалала протянутую учителем руку.

— А как же, и выгнал. А ты уже и обиделась!

— Не-а, совсем не обиделась. — Арька почувствовала вдруг, как все остатки тщательно копимой обиды действительно вылетели из нее в этот миг, и она сказала, глядя в смешливые не по-учительски глаза: — Обиделась, если бы не выгнали. Тогда вы — были бы не вы.

А он сказал вдруг:

— Эх ты, Ариадна! — и опустил ей на плечо руку. — Не можешь ты без приключений!

— Не могу! — кивнула Арька, улыбаясь уже вовсю. А он чуть потеревил, потряс ей плечо и вдруг сам, словно удивившись, рассмеялся:

— Ну, я рад, что у тебя хорошее настроение, рад!

— А вы знаете, благодаря вам... Ну, тому, что вы меня выгнали, — уточнила она, — я с такими ребятами познакомилась!

И Арька рассказала, как попала на заседание клуба, как встретили ее там, как оказалась потом в лагере...

Ей казалось, что Эдуард должен понять — кто же еще, как не он.

И он действительно слушал, не перебивая, покачивая головой. И когда она закончила свой стремительный рассказ, сказал:

— Знаю я этих ребят, и клуб их знаю, и Борисова. Сильный журналист, талантливый. Повезло тебе, что к ним попала! Знаю так же, что попасть-то туда можно, но немногие приживаются. Случайных людей их общество отторгает — или они сами в конце концов уходят.

— Да, — вздохнула Арька. — Так получилось и с моим братом.

— С братом? — удивленно смотрел Эдуард. — Ты уже приобщила всю семью?

— Да нет, просто так получилось...

И, не удержавшись, рассказала, как приехал в лагерь брат, как хотелось ей, чтобы он там прижился, но...

Эдуард покачал головой.

— Грустно, но я надеюсь, что родители-то хоть понимают тебя?

И снова легкая тень пробежала по ее лицу.

— Если бы...

И даже в эту минуту сердце ее сжалось. Если бы понимали... О большем бы ей и не приходилось мечтать.

...Они и на день рождения привалили к ней всей компанией, сразу заполнив пространство ее — нельзя сказать слишком тесной — квартиры. В подарок ей преподнесли «гармошку» — своими руками сделанную складную газету.

Газета эта, где каждый руку приложил, была самая что ни на есть именная, целиком посвященная ей, виновнице торжества: там по длинному мосту из радуги шла она, изгибаясь и балансируя, тут же играл на гитаре Борисов, разбросанными лепестками ромашек улыбались лица ее друзей. Были здесь и Гелька с Тойвочкой, и Катька с Людкой, и Матушкин, и Вилька Панов, ну и, конечно, Валерка, куда ж без него. И все остальные, все, все.

Мама была ошарашена ввалившейся в дом толпой, ведь дочь толком так и не сказала: кто придет, сколько? Лишь пренебрежительно пожимала плечами: зачем, мол, вообще готовить? Пережиток это, пошлость, мещанство! Но мама, не желая ударить в грязь лицом, все-таки расстаралась, наготовила, и теперь суетилась, боясь, что чего-нибудь не хватит.

Они — мама, отец и брат — словно сплотились вдруг против Арьки, словно она стала для них представительницей какого-то другого мира, где все не так, как у людей.

И сейчас, гремя на кухне тарелками, мать ткала череду своих мыслей: «И Борисов этот с толку их сбивает. Еще чего выдумают — свечи зажгут и сидят в темноте. Не насиделись, видать, при свечах-то. А то еще что — ну чистый позор: на колени друг дружке примутся садиться, ласкаются прилюдно и при этом все словами какими-то друг друга называют, “мордами” какими-то! Ведь разврат это, разврат сплошной! А мне на это смотри! Так ведь не скажи: она глазами зыркнет, передернет плечами: “Много, мол, понимаете!” А чего мне понимать — жизнь-то прожита.

Зато сегодня Борисов этот — вот не ожидала... Когда уже отхлопотала со столом и скрылась на кухне — празднуйте, мол, гости дорогие, — вдруг бегут: “Как же без вас, без вас мы за стол не сядем!”»

И пошла она, зардевшись, неловко все-таки. Присела на уголочке, стульчик легонько пододвинув, а Борисов этот давай тост поднимать за дочь ее, Ариадну. Ну а потом уже, когда выпили ребята напитки разные, а они с Борисовым вина белого, только собралась она уйти снова, нырнуть в закуток свой



кухонный, как вдруг — опять Борисов, а за ним и все подхватили:

— А давайте традиционный — за родителей! За маму Ариадны, потому что родители — это первое дело, какие родители, таково и создание. Ведь Ариадна почему такая? Потому что родители...

Тут уж совсем запунцовелась она, пусть знает, слушает, дылда эта великовозрастная, вот ведь Борисов — он понимает: без родителей-то куда? Без родителей — никуда!

Ну а дальше — пошло-поехало, все про дочь ее, Ариадну: и что талантливая она, и душевная, и друг, каких поискать, и чуть ли не земной шар крутиться бы без нее перестал! Ну а парень тот совсем отчужден — такого наговорил, что у нее, матери, до сих пор сердце заходится. Не было, мол, сестры у него, и не думал не гадал, что приобретет ее в таком возрасте. И повезло ему, что в лагерь этот он попал, да и вообще, если бы не она, неизвестно еще, по какой дорожке жизнь его покатила бы. Так вот сказал, а потом добавил еще:

— Люблю Арьку, как сестру свою родную. Самую нежную и заботливую.

А она тоже взглядом таким особенным его одарила — от матери-то не скроешь, не было, правда, ничего такого во взгляде ее, но вот хоть раз бы она на брата своего так посмотрела! А брат-то ведь родной, не парень чужой какой-нибудь! Так вот, посмотрела она на него и вдруг говорит:

— Маленький мой Валерка, я тоже тебя люблю... — И руку свою к макушке его тянет, растрепала волосы.

И зашумели тут все разом, загалдели, того и гляди «горько!» закричат, а эти двое бокалы друг к дружке протянули, стеклом звякнули да еще и поцеловались! Вот стыдоба матери-то смотреть! Девушка парня прилюдно целует, «люблю» говорит, а ей слушай!

Тут уж совсем не выдержала она — пусть делают, что хотят, только не при ней! И пошла к кухне тихонько, села, щеку жалостно подперев. Не по ней испытания эти!

А она, Арька, через какое-то время с тарелками грязными заскакивает:

— Мам, ну чего ты тут? Пойдем к нам! — А у самой счастье из глаз килограммами так и сыплется.

Но поджала, подтянула губы мать.

— Нет уж, — сказала, окаменев словно. — Без меня уж как-нибудь. Мое место здесь, при грязной раковине. Не знаю, до чего ты докатишься, если так дальше пойдешь!

«Я дарю тебе к светлому празднику множество всяких странных вещей: звон неожиданных звонков, запах блюд, не сготовленных вовсе, и мужество ни о чем не жалеть, и охапки цветов, не проросших еще, ароматных и бархатных, удивленье, надежду на добрую весть, вид из окон, еще до сих пор не распахнутых, — на дорогу, которая, может быть, есть», — лежа



© Дудякова Анна, 2011г.

в постели, повторяла Арька эти только что подаренные ей слова, прижимая к себе плюшевого медвежонка, которого еще совсем недавно подарила ей мама...

Глава 2

А вскоре она познакомилась с Валеркиной мамой.

Валеркина младшая сестренка к ней быстро привязалась. Арька помогала ей делать уроки, вместе они ходили на городской каток, в кафе-мороженое. И как-то получилось, что в скором времени она стала «добрым гением» их семьи. Стоило Арьке появиться — и все у них ладилось, задачки решались, бесчисленные дела тети Лиды за разговорами делались сами собой. Валерка никуда не исчезал, только выбегал иногда в магазин да выходил на площадку покурить со своим соседом Колей.

Они, живущие в коммуналке, недавно разошедшиеся с Валеркиным отцом, приняли ее, девочку из другого мира, которая живет с родителями в отдельной квартире, как жительницу другой планеты. Они гордились дружбой с такой девочкой, она казалась им умной и значительной, впрочем, «казалась» — не то. Они приняли ее такой, какая она и есть.

Имя «Аря» произносилось в семье с уважительной неприкосновенностью: «Аря сказала», «Аря так думает», «Аря считает».

— Аричка, какая же ты умная... — качала головой тетя Лида, когда Арька, подогретая ее заинтересованностью, часами выдвигала свои идеи, путая реальное с фантазией.

«Элек-тро-маг-нит-ные коле-ба-ния были изобре...» — бляла Арька, сражая их глубиной знаний

физики, которую очень поэтично преподавал им Эдуард. При этом рука ее плавно изгибалась, изображая синусоиду, а чужая мама смотрела на нее с восхищением, подперев ладонью голову:

— Господи, ведь есть же такие счастливые родители, тебя же можно часами слушать! Счастливая твоя мама, вот, наверное, не нарадуется!

— Да уж, не нарадуется... — отводила Арька взгляд. Чего уж ей и радоваться-то, давно она, Арька, никакой радости ей не приносит. Да и самой ей почему-то совсем не хотелось говорить дома ни про какие «электровакуумные коле...».

Валеркина мама работала в химчистке.

Химчистка находилась недалеко от дома, поэтому тетя Лида успевала иногда забежать провести детей. В этой химчистке тетя Лида работала давно. Арька даже помнила, как когда-то, в далеком детстве, мама отправляла ее в эту самую химчистку. Арька долго толкалась в очереди, ничего не понимая, пока вдруг рука женщины не протянулась к ней сама. «Давай, девочка, помогу», — сказала она и принялась разбирать ее вещи. Очередь принялась роптать, но женщина сказала спокойно: «Надо помочь ребенку».

Работала тетя Лида на две ставки (так Арька узнала про существование каких-то ставок). Порой, падая с ног от усталости, она тем не менее еще успевала вести содержательные беседы с Арькой. Иногда, запирая на обед дверь химчистки, они пили чай, болтали и смеялись. Одна тема у них была любимая, общая. Тема Валерки.

Тете Лиде нравилось, что Арька дружит с Валеркой. Она рассказывала ей, что он сказал, и что сделал, и как он постоянно про нее спрашивает, как совсем не может жить без Арьки.

— Пяти минут не пройдет, чтобы тебя не вспомнил: как там Арька, что делает? Ты уж дружи с ним, Аричка, не бросай. Пусть у него голова и бедовая, но сердце-то доброе. А ты для него — авторитет, только ты повлиять и можешь.

Со временем Арька полюбила запах химчистки. Вот уж никогда бы не подумала, что можно полюбить такое место, но она полюбила и даже находила его не лишенным привлекательности.

Длинные ряды одежд, платья и костюмы свешивались вниз наподобие театральных декораций. Тетя Лида нажимала кнопку, и ряды начинали жить — вращаться и кружить под потолком. Арька никогда не была в театре за сценой, но возникало ощущение, что как раз там она и находится.

Иногда тетя Лида давала ей ключ от своей комнаты, и Арька шла загонять домой с улицы младшую сестренку. Вместе они готовила уроки, вместе ждали, когда появятся тетя Лида с Валеркой. Те приходили, начиналось приготовление ужина...

Потом все усаживались за круглым столом, ужили и подолгу пили чай, взбалтывая вспышками смеха тесное пространство маленькой комнатки. Но Арька спохватывалась: дома ждали невыученные уроки. Она торопливо прощалась, отдирая от шеи виснувшую сестренку, и — спешила. А Валерка шел ее провожать.

...Однажды Арька выскочила из подъезда, не дождавшись, пока Валерка отыщет свою шапку, и... Нос к носу столкнулась со своим отцом.

— Ты? Что ты здесь делаешь? — вздрогнула она от неожиданности.

Арьке показалось, что отец вглядывался в окно — комната находилась на первом этаже.

— Да я... так, — не сразу нашелся он. Он казался удивленным не меньше Арьки. — Просто проходил мимо. Хотел зайти...

— Так что же не зашел? — почему-то отводила глаза Арька. Ей не хотелось плохо думать про своего отца.

Но тот вдруг заторопился:

— Ну ладно, пойду я, пойду домой. И ты не задерживайся!

И — действительно ушел, словно сбежал.

Арька ничего не сказала подошедшему Валерке, но была молчалива, пожалуй, слишком молчалива для такого теплого вечера, который у них только что состоялся. Валерка пытался ее разговорить, смешил, привычно раскачивая палец, но она чуть усмехалась и тяжело, по-взрослому, вздыхала.

Молчала она и дома, ничего не сказав отводящим глаза родителям. Но, казалось, молчание становилось в семье ее единственной оборонительной стеной.

А потом еще случилась эта история с Валеркой, которого вдруг снова начало сносить с обретенной орбиты...

Вместе они проводили много времени. Часто сидели у них дома на диване. Валерка наигрывал что-то на гитаре, Арька не то чтобы слушала, а так, чуть прислушиваясь, думала о своем. Хорошо им было вдвоем, даже молчать вдвоем было хорошо, но взгляд Валерки порой становился каким-то... не таким, не Валеркиным, — не нравился Арьке этот взгляд. Взгляд делался чужим, и чужел вместе с ним Валерка.

Порой он исчезал, и трудно было докопаться, где бывает.

— Дела у меня, Арька, понимаешь, дела!

— Какие дела? Сказать, что ли, нельзя?

— Неинтересно тебе это, Арька, не девчоночье это! — примиряюще тянул он ее за палец.

— Эх, Валерка, — досадливо вырывала она руку, — не доведут тебя до добра дела эти!



Он еще появлялся по средам на занятиях клуба, и там все ему были рады и все ощущались родными. Но за одним пропуском следовал другой, появлялись новые люди, и постепенно Валерка стал от всех отдаляться. Друзья, с которыми он был крещен звездной ночью в Дырвасе, стали заменяться другими, постепенно выплывающими из прошлой жизни.

Однажды он пропал, и его не было несколько дней. Недоуменно пожимала печами тетя Лида, указывая на оставленную на столе записку: «Не волнуйтесь, если меня не будет несколько дней».

А потом вдруг раз — и появился. И была на нем новая кепка, и он гордо курил дорогие сигареты и весь был какой-то другой: новый, довольный собой.

На Аркины возмущенные вопросы отвечал миролюбиво, терся, виноватясь:

— Ну не мог я сказать, понимаешь, не мог, иначе бы у меня не вышло, а мне обязательно нужно было, чтобы вышло. Ведь записку-то я оставил!

Оказывается, он собирался съездить к отцу, собрался и — съездил!

— Должен же я ему объяснить, что порядочные люди так не поступают! Если мать за себя постоять не может, так кто кроме меня? Завел двух детей и бросил, как щенков, зачем тогда и заводил было? А мать должна на трех работах горбиться, чтобы нас содержать!

— Ну и что? Объяснил ты ему? — качала головой, глядя усталыми, усмешливыми глазами тетя Лида. «Ну что уж с этим Валеркой поделаться!»

— Объяснил! — довольно потирал он руки. — Так объяснил, что теперь он мое объяснение долго помнить будет!

— Жив он хоть остался после твоего объяснения? — с усмешкой стучала тетя Лида кулачком по его тыковке маковой. — Дурачок ты, Валерка, дурачок! Уж если жизнь ему ничего не объяснила, так ты и подавно не объяснишь! Да и зачем он нам теперь, теперь ты у нас за мужчину! — И она вздохнула снова и глядела на него грустными глазами.

И жалость ее вдруг передалась и Арьке. Поняла она: не отношения выяснять ездил Валерка, нужна ему — рука отцовская, тепло его, внимание мужское. Любит он отца, какой-то солидарной сыновней любовью любит!

— Кепку вон подарил! — сдувал он с нее невидимые пылинки.

А потом тетя Лида говорила, расставляя на столе чашки:

— Эх, Валерка ты Валерка! Хоть какую ты кепку надень, под кепкой-то не прибавится! Учился бы лучше! Вот хоть бы раз, как Аря, объяснил что-

нибудь своей сестре. Не знаю, если бы не Аря, как бы вы вообще учились! Смотри, как ладно все у нее получается!

— Так Арька вообще профессор. Я же говорю, призвание у нее — учительницей быть. Вот она всех и учит.

— А у тебя какое призвание? На мотоциклах гонять?

— А что, может, я гонщиком буду! Между прочим — рискованное занятие: им вон только памятники ставят — посмертно!

— Да уж, гонщиком ты будешь, — снова качала головой тетя Лида. — Гонщик-угонщик!

— Что вы, тетя Лида, Валера давно порвал со своим сомнительным прошлым, — смеясь, дразнит Валерку, Арька. — Он сейчас на правильном пути!

— Слышишь, что твоя любимая Аричка говорит! — довольно шурился Валерка. — Да я тебя, Арька, за такие слова... — и замер в задумчивости. — А хочешь — на мотоцикле прокачу? С ветерком! Не сейчас, правда, а когда он у меня будет!

— У тебя, Валерка, и так мозгов в голове немного, а ветром-то и последние выдует, — усмешливо говорит тетя Лида, а Арька продолжает посмеиваться, прихлебывая чай:

— А кто тебе сказал, что я на твой мотоцикл сяду? Мне, знаешь, еще пожить хочется! А насчет того, что я тебя понимаю, — тоже ошибаешься. Это у меня метод такой — «воспитание доверием» называется.

— Ах так? Ну ладно, предательница Арька. Человека, между прочим, не воспитывать, а любить надо! Это самый лучший способ воспитания!

— Лучший способ воспитания — это вкусное питание, — успеваает встроиться в разговор взрослых семилетняя сестренка.

— Тетя Лида, что он ко мне все время со своей любовью пристает? — прижимает к себе Арька сидящую на коленях девочку. — Все хочет, чтобы я ему в любви объяснялась!

— А может, ему ее не хватает! — улыбается, глядя на них, тетя Лида. — Знаешь ведь: доброе слово и кошке приятно.

— Валерка, ты кошка? — смеется Арька. — Тогда давай я тебя за ухом почешу!

Так сидят они и смеются, и дурачатся, и смотрит на них, отдыхая душой, усталая женщина тетя Лида, приобретшая семью в таком новом, видоизмененном качестве. И уютно чувствует себя на Аркиных коленях маленькая девочка, еще толком не понимая, о чем это разговаривают большие взрослые люди, которые вроде и говорят друг другу что-то не очень приятное, но при этом глаза их почему-то все время смеются...

Глава 3

А потом, после долгого толкания в прихожей, Валерка, как обычно, отправляется ее провожать, а тетя Лида еще собирается сходить к кому-то в гости.

Они идут, продолжая болтать, а вечер такой чудный и настроение у них радостное, и хочется поделиться еще с кем-то этой радостью, и они решаются заглянуть к Катьке. Тем более Катька живет совсем недалеко от Валерки, буквально в двух шагах.

В последнее время их любимая Катька стала куда-то пропадать, даже на «среды» появляется реже, а им ее так не хватает! Но у Катьки и «музыкалка», и класс выпускной, и вообще Катька из такой семьи, где и музыка, и бабушка в очках, и папа такой, глядя на которого сразу хочется сказать — «профессор», и сестра старшая. От всего ее семейства так и тянет атмосферой благополучия, а Катька будто стесняется этого. Она сразу тащит гостей на кухню, и начинает угощать, и позволяет им делать все, что вздумается.

Катьке словно неловко, что у нее вот — и папа, и бабушка, и квартира такая, что заблудиться можно, и пианино. А у Валерки — коммуналка, и теснятся они втроем в одной комнате, и пианино у него нет, и отца. А они любят Катьку еще больше за то, что стесняется и старается показать, как ей все это неважно. И еще за то, что Катька красивая, и голос у нее звонкий, и улыбка такая, от которой сразу на душе светлей становится.

Они заходят, и Арька с Катькой сразу удаляются на кухню делиться девчоночьими секретами, а Валерка идет в другую комнату, и оттуда начинают доноситься звуки терзаемого пианино.

Арька поглядывает на Катьку: «Не заругают ли?», ведь не в каждой семье позволяют прикасаться к инструменту. Но Катька прислушивается удивленно, ее бровь вздрагивает, и вместе с Арькой они переходят в комнату. Некоторое время смотрят, как Валерка, не замечая их, старательно выжимает из клавиш мелодию, а потом начинает потихоньку напевать.

— Валерка, — вскидывает брови Катька. — Умеешь?

Арька невольно вздрагивает — она-то знает: ничего он толком не умеет, ни в каких-то школах не обучался, и ей заранее грустно, что Катька над ним просто снисходительно посмеется. А ей так хочется, чтобы он не разочаровал Катьку! Но Валерка отвечает гордо:

— Не умею, но — могу!

И он снова припадает к клавишам, а Катька, подойдя, слегка помогает. Так, вдвоем, вместе, они подбирают сначала одну, потом другую мелодию, помогая себе голосами.

Арьке смотрит на них и радуется. Ей приятно, она гордится, что у нее такие талантливые друзья. Ей тоже хотелось бы им подпеть, но она молчит, боясь испортить им песню. Вот ведь — учили ее в детстве, учили, да так ничему и не выучили, видно, медведь на ухо наступил.

Заглянула в комнату Катькина мама, прошеле-стел газеткой отец, сверкнула очками бабушка.

— Валерка, — удивленно тянет Катька. — Ты знаешь кто? Ты же — морда! Потому что ты — талант! Самородок! Никто тебя ничему не учит, а у тебя все само получается. У тебя же врожденный слух!

— Вот видишь, — расслабляется от Катькиных слов Арька. — Говорю же — уши большие!

— Причем тут уши, Арька? — замирает в неловкости Валерка.

— Так... уши большие — потому и слух отличный!

— Да ладно вам, вот напали! — вконец смущается он, но губы сами собой довольно расплываются.

— Нет, не ладно! — продолжает выговаривать ему Катька. — Ты знаешь, сколько бездарей учится только для того, чтобы сделать вид, что окончили музыкальную школу? А ты совершаешь преступление тем, что зарываешь свой талант в землю. Тебе же учиться надо! С таким слухом ты знаешь как далеко пойдешь?!

— Вот он на днях уже и пошел, — не удерживается Арька. — Пошел — аж до Киева дошел! Опасно его далеко отправлять!

На самом деле Арьке чертовски приятно, что Катька хвалит Валерку. Поток этих слов проливается и на нее: ведь он касается ее Валерки, занозы ее сердца. И Катькины слова еще одно доказательство, что не ошиблась она: за что ни возьмется — все у него получается! И она, Арька, первая разглядела и угадала эти его таланты!

А потом они с Катькой, оставив Валерку терзать пианино, удаляются на кухню. Под абажуром со свисающей бахромой начинают делиться событиями своей девчоночьей жизни.

— А Матушкин-то... — делает Арька значительный акцент. — Предложение сделал!

— Кому? Какое предложение? — ахает, не понимая, Катька.

— Мне, самое настоящее! — нарочно тянет Арька. Ведь им еще никто никогда не делал предложений. — Настоящее предложение — руки и сердца!

Катька смотрит оторопев. А Арька рассказывает в подробностях, как сначала Матушкин долго ее провожал, потом долго прощался на мосту. А потом раз — и сделал предложение! Чтобы, значит, Арька вышла за него замуж. Не сейчас, правда, черед год, когда он поступит в институт, на медицинский, и отец подарит ему машину и квартиру! Так он ему пообещал.



— Не может быть! Ну Матушкин дает! А ты? Что ты ответила?

— Так что — жених у меня перспективный! — снова тянет Арька, заново переживая ощущения.

— Так что же ты ответила? — совсем забыла Катька про чай.

— Всю руку обмусолил. А ладонь у него... хоть и нехорошо так говорить, но липкая какая-то, может, просто потная. Даже за ручку держаться неприятно, — снизила Арька голос. — Еще и поцеловать пытался. В знак, так сказать, закрепления...

Катька только собралась задать вопрос в очередной раз, как ее опередил чей-то голос.

— Так что же ты мне-то ничего не сказала?

Арька вздрогнула. За разговором они не заметили, как перестали доноситься из комнаты звуки пианино. На пороге кухни стоял Валерка.

— Я спрашиваю: почему ты мне ничего не сказала? Уж поговорил бы я с этим Матушкиным-Батюшкиным! Подумаешь, квартира у него, папа у него... Значит — все можно? Кого хочешь покупай за свою квартиру? Ух, ненавижу я этих сынков папенькиных, хорошо жить хотят, все им в жизни говенькое!

— Ну а ты-то что злишься, Валерка? — удивленно повела бровью Катька. — Не тебе же он квартиру с машиной предлагал? И предложение не тебе делал!

— Ну, если Арька за квартиру и машину может с этим сопливым связаться, то я...

— Что — ты?

— А ничего! Уважать ее перестану! Да, Арька, так и знай! — дернулся его голос. — Нет, ты скажи — почему мне-то ничего не сказала? Уж я бы разобрался!

— Потому и не сказала! — усмехается Арька. — Знаю я, как разбираться ты умеешь! Может, я сохранила будущее светило для медицинской науки.

— Светило, — угрюмо хмыкнул Валерка. — Фингалом бы он у меня под глазом светил! Так руки и чешутся!

— Да хватит тебе злиться, Валерка! — поставила Катька на стол еще одну чашку. — Садись лучше чай с нами пить!

— Нет, пусть сначала Арька скажет, что она ответила. Небось сказала: жди, мол, Матушкин, копи деньги...

— Да, да, да! — рассмеялась Арька. — Именно так я ему и сказала! А еще я сказала: есть такой глупый парень Валерка... И я очень, ну просто очень боюсь потерять его уважение!

— Да ты-то что так волнуешься, Валерка? — повела взглядом Катька. — Ведь ты же, кажется, любишь Арьку братской любовью!

— Да, братской! Я и спрашиваю, как брат, — не растерялся Валерка. — Что — брату, по-вашему, все

равно, кто делает предложение его сестре? Совсем не все равно!

А потом Валерка все-таки подсел к их кружку, и Катька наполнила его чашку чаем. Но только он сделал первый глоток, в квартире раздался звонок. Ну звонок как звонок — ничего особенного, и все же было в нем что-то. Тревожное: казалось, будто чья-то рука, резко нажав кнопку, тут же ее отдернула.

— Кто это может быть? — удивленно взглянула Катька, а появившийся через минуту отец сказал:

— Валера здесь? Его хотят видеть.

Девочки переглянулись: почему здесь, у Катьки, кто-то ищет Валерку? А у Арьки сразу нехорошо заныло под сердцем.

Валерка вышел. Девочки, не удержавшись, выглянули в коридор.

В прямоугольнике раскрытой двери виднелись незнакомые мальчишеские фигуры. Стараясь не придавать значения — мало ли что бывает у юных особей противоположного пола, — Арька с Катькой продолжили чаепитие. Вскоре вернулся Валерка. Ничего такого в лице его не было, ну поговорили и поговорили.

Но только он пристроился с чашкой у стола, как звонок раздался снова. Был он на этот раз более требовательным, и становилось ясно, что кнопку нажимает та же рука. И уже не дожидаясь приглашения, он поднялся сам.

Арька с Катькой переглянулись.

— Ты что, Валерка, такая важная птица, что весь район следит за твоим передвижением? — не выдержала Арька, когда он вернулся. — Что им от тебя надо?

— Да так, ничего, пустяки, не обращайтесь внимания, — снова взялся он за чашку.

— Из-за пустяков они так ломятся в дверь?

Не признаваясь себе, девочки уже ждали третьего звонка. И действительно — он последовал, не успел Валерка сделать глоток. И был он, звонок, на этот раз еще более настойчив.

Арька, от которой не могло укрыться ничего, что касалось «ее Валерки», взглянула уже с явным беспокойством. «Не так просто звонки эти, не к добру». Ей было неудобно и перед Катькиными родителями. А Валерка улыбнулся виновато — казалось, ему и самому неловко, — и, сказав: «Бог любит троицу», — снова пошел открывать.

Девочки уже явственно ощущали: что-то не так. Они сидели молча и ждали. И только когда выстрелом грохнула входная дверь, заработали их языки. А Валерка вошел и вздрогнул примиряюще навстречу:

— Ну что, где мой чай? Да не волнуйтесь вы, больше звонить они не позвонят!

— Так и умереть можно! — чуть расслабилась Арья. — Умеешь ты создать напряжение.

И они вдруг принялись смеяться. Просто так, без повода, — тот случай, про который говорят — «смешинку проглотили», хоть смех их был какой-то дерганый — словно выходило только что пережитое напряжение.

А потом, когда уже собрались уходить, — Арьку давно ждали дома, — снова холодок предчувствия ожил внутри: «Кто они, эти ребята? Зачем вызывали Валерку?»

Арьке до смерти не хотелось уходить. Она взглянула в окно. Мягкие домашние шторы Катькиной квартиры являлись олицетворением надежности, прочности, тепла. За окнами же царила глухая тревожная темнота. Как же не хотелось покидать теплый ковчег Катькиного дома!.. Здесь даже стены отдавали спокойствием: покручивала клубком бабушка, просиживал фамильное кресло папа, вылавливая в телевизионной программе новости. И само кресло, и папа, и даже рвущиеся с экрана новости были сейчас спокойней, прочней и надежней, чем размазанная жидкими фонарями темнота.

Но Арья, вздохнув, сказала:

— Пора! — и увидела по Валеркиным глазам, что и ему уходить не хочется тоже. — Поздно. Меня ждут дома.

Да и не могли же они сидеть у Катьки до бесконечности.

На самом же деле ей так хотелось, чтобы кто-нибудь задержал их, чтобы кто-нибудь, большой и сильный, проводил. Или сказал: «Ребята, оставайтесь, сейчас полно хулиганов». Но продолжала вращать спицами бабушка, бросила взгляд мама и не обернулся им вслед отец-профессор.

Катька сверкнула на прощание улыбкой, и была в улыбке этой затаенная виноватость, что не может она им ничем помочь: ни оставить, ни проводить.

Еще минута — и гостеприимно распахнутая дверь вытолкнула их наружу.

Глава 4

— Валерка, — не удержалась Арья, едва они оказались на лестничной площадке. — Кто эти ребята и зачем они приходили?

— Да не волнуйся ты, Арья, просто навестить зашли, — попытался он притушить ее беспокойство.

— С чего это им вдруг навещать тебя у Катьки? — пристально глянула она. — Врешь, я ведь всегда знаю, когда ты врешь. Ответь мне: зачем они приходили?

— Вот пристала ты, Арья! Ну, просто... попить захотели. Имеют люди право — захотеть попить? А я

им не дал! Нечего, говорю им, по чужим домам ходить, пить просить. К себе идите!

— И что? — пылливо смотрела она.

— Ну, ты же видела — испугались и ушли.

— И что — все три раза они у тебя пить просили?

— Ну да, жажда у них смертельная, объелись, наконец, чего-нибудь!

— Врун! — настороженно посмотрела на него Арья и вдруг вся напряглась: — Валерка! Они куда не ушли! Они где-то здесь! — Казалось, она собственной спиной ощутила вдруг ставший колющим воздух.

Они уже спустились с площадки второго этажа и теперь стояли в световом прямоугольнике готовой их вытолкнуть входной двери.

— Сказал тебе, Арья: ушли они! Человеческим языком тебе объяснил! — и словно желая успокоить, прихватил ее за палец. — Вот что, давай сделаем так: ты сейчас выходи — и сразу сворачивай на остановку. Проводить тебя я не смогу — дела у меня, извини, поэтому беги на автобус — не ходи по темноте одна. Ну не обижайся! — снова подергал он палец. — Только ты быстро иди, беги даже, не оборачивайся! А за меня не беспокойся!

Но Арья продолжала стоять на месте как вкопанная.

— А скажи, Арья, только честно, руки у меня... — уже собираясь выскочить, чуть помялся Валерка. — Ну, не такие, как у Матушкина? Со мной тебе за ручку держаться не противно?

— Противно! — в сердцах вырвала свой палец Арья. — Еще как противно! Потому что... ты врун! Врун несчастный!

— Ах противно? — только это и услышал Валерка. — Противнее, чем с Матушкиным?

— Противнее! — Арья даже отвернулась. — Он, по крайней мере, не врет! А ты... Ты же нарочно заставляешь меня нервничать! Нравится тебе это!

— Конечно, Аричка, он не врет! — кивнул в сердцах Валерка. — Будет тебе и машина, и гараж со звуковым сторожем! Ты, главное, жди!

И, отбросив в сторону дверь, выскочил из подъезда.

— Противно! — донеслось до нее из темноты. — Ну и ладно, раз противно!

Арья еще постояла, не зная, как ей быть. Тревога, чуть заболтанная их с Валеркой непутевым разговором, проросла снова. Ей хотелось ринуться за ним, но... Как раз этого она сделать и не могла — самолюбивая гордость брала верх.

Арья уже собралась пойти на остановку, но что-то словно удерживало ее. Взгляд непроизвольно следил за Валеркой, за его спиной, уже едва виднею-



© Дудякова Анна, 2011 г.



щейся в проеме между сараями. Она стояла, просвечивая темноту насквозь, даже скорее не взглядом, а ставшей вдруг на удивления зрячей душой, которая одна и рванулась за Валеркой следом.

Она увидела их первой. Силуэты возникли словно из воздуха. Темным пятном вжимаясь в еще более темную темноту, Валерка шел, сунув руки в карманы, а они отделились от стены, вынырнув из невидимой щели между сараями. Валерка видеть их не мог — он продолжал торопливо идти, подставляя им свою спину. Силуэтов было три.

Арка, еще ничего не успев понять, крикнула, озвучив темноту:

— Валерка, берегись! Оглянись, Валерка!

Он успел, оглянулся, но трое были уже рядом, налетели без всяких предупреждений — похоже, сказано было все раньше.

Арка видела, как первым ударил Валерку длинный. Ударил в лицо, и от неожиданности Валерка отлетел и ударился головой о стенку сарая. А троица, подойдя, обступила его плотным кольцом.

— Стойте! Что вы делаете!

Забыв про всю свою гордость, про все на свете, Арка вылетела из подъезда, ощутив спиной выхлопнувшую ее дверь. Она не понимала, что делать, не знала, чем сможет помочь, но сила, выстрелившая ее, заставляла действовать на витке подсознания. Она добежала до места, где уже бурлила схват-

ка — впрочем, какая схватка, когда трое на одного, скорее свалка, расправа, где дылды в обтягивающих шапочках пробовали на Валерке прочность своих кулаков.

Когда Арья подбежала, Валерка уже успел подняться и стрельнул в нее взглядом.

— Подождите! — крикнул он, но второй, поменьше ростом, коренастый, ударил снова.

Валерка качнулся, сморщился, но сумел устоять.

— Я говорю — подождите! Не видите — здесь девчонка! Не будете же вы драться при девчонке!

Арьку задел пренебрежительный тон, с которым он произнес это: «девчонка».

— Зачем нам свидетели? Уходи, поняла! — выталкивал он ее, и не только словами, но и каким-то злым, словно ненавидящим взглядом.

— Ты, в платье, мотай отсюда, — сказал длинный. И видя Арькино замешательство, подошел ближе и растопырил над ней пятерню.

— Со слухом плохо? Ах ты, кралечка... — И он принялся опускать на ее лицо свою грязную ладонь.

— Не трожь ее, понял! — дернулся Валерка. — Девчонка тут ни при чем! Хочешь драться — так дерись со мной!

— А ты-то что за нее заступаешься? — посмотрел на него длинный и вдруг скорчил гаденькую физиономию. — Так это же... его краля! Видел я их вместе! — с усмешкой глянул он на своих приятелей. — Что ж, деточка, давай знакомиться!

— Я сказал — девчонка тут ни при чем! Первый раз ее вижу! Просто проходила мимо! — И обернувшись в сторону Арьки, Валерка крикнул снова: — Катись отсюда, поняла! Одни неприятности из-за тебя!

У Арьки еще больше вздрогнуло внутри, в глазах вспыхнула обида.

— И правда, пусть катится! — двое других переглянулись. — Неприятностей потом не оберешься!

— А я говорю — это его цыпочка. Ну, признайся, цып, цып, это твой дружок? Может, все же, познакомимся поближе? — И длинный снова потянул руку к Арькиному подбородку.

— Да что ты к ней привязался! — Валерка прорвался сквозь звенья рук и, подлетев к длинному, ударил кулаком в лицо. — Только тебя и хватает — к девчонкам приставать!

Длинный от Валеркиного удара пошатнулся, но устоял:

— Ах ты! Расхрабрился! За цыпочку заступаешься! Ну сейчас я тебя...

Воспользовавшись его замешательством, Валерка обернулся:

— Ты что, не поняла? Беги отсюда, чтобы духу твоего не было! Вот навязалась! Первый раз вижу, а отвечать за тебя! Беги, говорю!

Валеркины слова били, как пощечины, — от них и в самом деле хотелось убежать. Но сделать этого Арья почему-то не могла. И все же она поняла главное — Валерка почему-то хочет, чтобы она ушла. Так ему будет спокойнее. И она отступила в темноту на несколько шагов, скрывшись за ветвями уже по-ноябрьскому голой ивы.

«Пусть думает, что ушла!»

— Ну что, долго еще чикаться будем? Время идет, народ собраться может! — крикнул длинный, и трица снова окружила Валерку. — А кралечка пусть посмотрит, ей полезно, как мы с ее дружком расправляться будем!

На самом деле Арья никуда не ушла и не могла уйти — ей было видно все, что происходит.

Валерка оглянулся на кусты и, видимо, решил, что ее здесь нет. И в этот момент длинный с силой ударил его в живот. Валерка согнулся. И Арья удержалась с трудом, чтобы не выскочить. Но Валерка распрямился, и она не узнала его. В нем не было уже и следа от прежнего Валерки. Он весь словно оцетинился, лицо напряглось — весь он был один сжатый кулак.

И дальше Арья только видела, но и не зрением даже, а ставшим вдруг зрячим, принимающим удары сердцем, в которое она превратилась вся целиком. Она видела взвихренный столп воздуха, слышала удары, которыми трое награждали ее Валерку. Она видела, как отстаивает себя и он, не давая им пощады.

Арья стояла под длинными сосульками свисающих ветвей, она и сама была как замороженная сосулька. Она кусала в беспомощности губы, не зная, что делать, как помочь. В трех шагах от нее били Валерку, ее Валерку, братика, друга-дурачка, а она стоит тут растерянной клушей и ничего не может поделать. Его бьют, но на самом-то деле бьют ее, как же должно быть больно ему, если ей так больно!

Больше терпеть она не смогла, и, взыв каким-то нечеловеческим, почти звериным голосом, выскочила из своего укрытия и кинулась на эти мотающиеся перед ней тела.

— Гады! Подонки! Сволочи! Не смейте его бить! Оставьте его! Трое на одного!

Крики бились, разрывая горло. Она и сама не знала, откуда у нее взялись такие слова, она даже и не подозревала их в себе. Она хватала парней за рукава, царапала, отталкивала, ей было все равно, что они могут сделать ей, об этом она не думала. Ей нужно было помочь, спасти ее младшенького, маленького совсем братика. И какое-то инстинктивное, материнское чувство заставляло ее действовать:

— Не смейте его бить, отпустите! Поганцы! Уроды! Что вам за это будет! — работала она кулаками, только чтобы меньше этих тупых, шлепающих ударов досталось ее Валерке. — Да есть ли у вас матери?!



— Беги! Арька, беги отсюда! — уже забыв про конспирацию, кричал ей Валерка. Сам почти превращенный в живое месиво, он еще успевал думать о ней. И Арька, не отвечая, продолжала молотить, царапать и кусать, словно волчица, мстя за своего детеныша.

Она никогда не участвовала в драках, даже не знала, как это страшно, когда бьют человека, живого человека, только что весело болтающего, играющего на фортепиано, наполняющего мир своими смешными идеями. Но этим подонкам было все равно! Они вонзали кулаки в тело ее Валерки, который был для нее воплощением добра, любви и пусть даже мягкотелой безалаберности. Который может быть таким талантливым, который, оказывается, умеет даже играть на фортепиано! Ну что знали они, что понимали, избивая его, — и его мечты, и таланты, и все его непутевое детство!

— Отпустите! Кому говорят!

Но парни оттирали, отпихивали ее руками, сбрасывали со своих плеч.

И в какой-то момент Арька поняла: они будут его бить, бить, пока...

Эта мысль пронзила ее, вмиг опрокинув сознание.

«Но что делать, что же теперь делать? Бежать к Катке, позвать на помощь? Но кого? Пожилого отца-профессора? Нет, не то! Позвонить по телефону? Но пока она будет звонить... Не то, все не то!»

И вдруг... Какая-то мысль пронзила ее.

— Держись! — крикнула она. — Держись, Валерка, я сейчас!

Она бежала так, как, наверное, не бегала еще никогда в жизни. Школьный физрук, выдвигавший ее на соревнования по бегу, был бы удивлен, узнав, с какой скоростью Арька пробежала стометровку. Она неслась, считая свои шаги, количество наносимых Валерке ударов. Шаг — удар, шаг — еще удар, еще, еще...

Когда ее избитое, измочаленное тело вынесло на освещенный проспект, она оцепенела. Здесь шла жизнь, обыкновенная жизнь. Никто никуда не торопился, люди шли, как будто ничего не происходило, как будто в ста метрах отсюда не избивали ее Валерку.

— Помогите! — крикнула она, выскочив на середину освещенного проспекта. — Пожалуйста, помогите!

Арька вскидывала руки, обращаясь к прохожим, действуя, как заведенный механизм. Сама она, Арька, этого просто не смогла бы, умерла бы еще там, на месте, а этот заведенный до последней пружины механизм подлетал к людям, протягивал руки:

— Пожалуйста! Помогите! Убивают человека! Хорошего человека! Помогите!

Но спокойные люди торопились пронести свое спокойствие мимо, они надвигали на глаза кепки и отводили взгляды. Они были сильными, эти прохожие, но они боялись.

Некоторые из них шли парами, и сильные мужчины, глядя в ее страшящиеся отказа глаза, спрашивали:

— Что случилось, девочка?

Они расспрашивали ее так, будто у нее есть на это время. И она, торопясь и сбиваясь, говорила, указывала рукой. И они качали головами:

— Надо вызвать милицию. Трое — это не шутка.

Они сочувствовали ей — и они уходили! «Мы правда спешим, очень спешим...» Им было стыдно, но они все равно уходили! Потому что они были всего лишь люди, боящиеся ударов кулака.

И в какой-то миг Арька поняла: «Поздно! Все поздно. Прошло слишком много времени». Арька бросилась к ним, к людям, с надеждой, она потратила столько времени. А теперь там, в ста метрах отсюда, лежит, наверное, на земле изуродованное тело Валерки, ее Валерки. И она ничем не смогла ему помочь!

И почувствовав собственное бессилие, она припала спиной к дереву, тело ее медленно сползло по стволу вниз. Но вдруг, каким-то последним усилием, она встрепенулась и взвыла в холодное безразличие гуляющего проспекта:

— Люди! Да люди вы или нет?! Почему вы такие равнодушные?! Убивают человека, а вы проходите мимо! Ведь вас же тоже могут убить! И никто не остановится! Никто не вступится! Все пройдут мимо! Неужели же вам не страшно?

На большее у нее не хватило сил. Она сделала все, что могла, и теперь кончилась, устала.

— Девочка, — кто-то тряс ее за плечо. — Что случилось? Расскажи!

Арька с трудом подняла глаза.

— Уже ничего.

«Отойдите! — хотелось сказать ей. — Отойдите от меня, вы тоже ничего не сможете сделать!»

Но человек не уходил, он стоял и продолжал трясти ее за плечо.

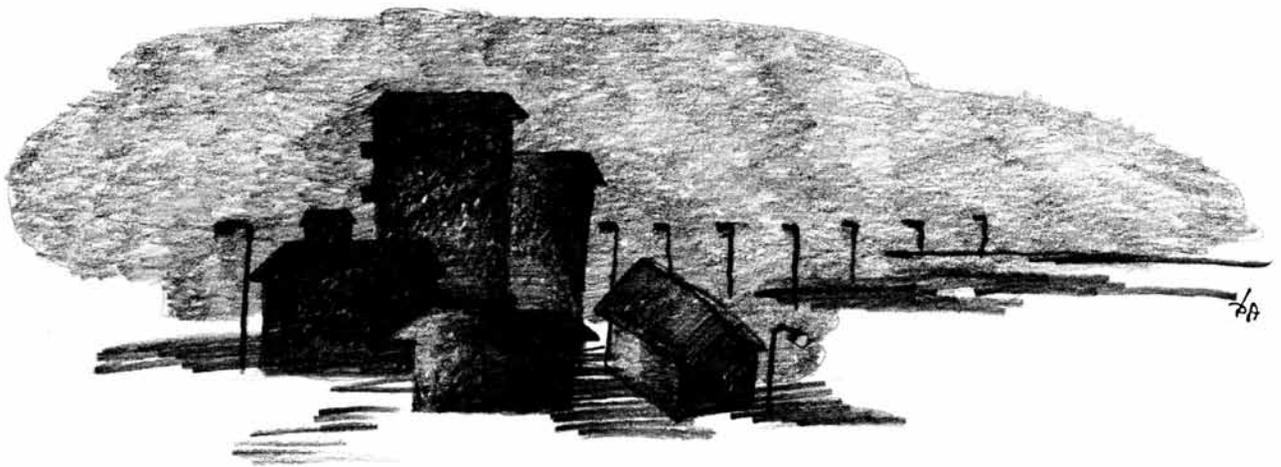
— Говори скорей — что стряслось?

— Поздно. Уже все поздно.

«Еще один любопытный. Зачем спрашивать, зачем глядеть, зачем мучить только для того, чтобы спрятать потом свои вежливо избегающие глаза...»

Но мужчина присел перед Арькой на корточки и вдруг обеими руками потряхнул ее за плечи:

— Да говори же быстрее, может, еще не поздно. Мы только теряем время!



©Дудякова Анна, 2011г.

Арья ударилась затылком о ствол березы и словно пришла в себя.

— Там, — махнула она рукой, — трое хулиганов напали на моего друга. Никто не помог. Поздно...

Все, она удовлетворила его любопытство, и теперь он тоже может уйти, и пусть уходит, пусть оставит ее в покое.

Но человек вдруг дернул ее за руку:

— Бежим! Не будем терять времени, остальное расскажешь по дороге!

Арья не сразу поняла: что-то изменилось. Теперь от нее уже ничего не зависело. Кто-то другой, сильный, сам тащит ее за руку, торопя пронсящиеся метры.

И когда поняла, что это не сон, когда стало доходить, с новой радостью пришел новый испуг:

— Вы... правда? Не шутите? Вы не уйдете, как другие? Не испугаетесь? Их же трое!

Ей все казалось, что человек чего-то недопонял, что сейчас разберется, что к чему, и уйдет. И она снова останется одна, а этого ей, после протянутой руки, уже не перенести.

Но человек тащил ее, стремительно увлекая за собой.

— Трое, говоришь? А место безлюдное? Ну а парень-то твой — хлипкий или ничего?

— Да вообще-то ничего... был, — дрогнула она голосом. — Да откуда же я знаю, я с ним не дралась!

И было в ее голосе плохо скрываемое ликование, что вот кто-то идет с ней, торопя, принимает уча-

стие, и этот кто-то — большой и сильный. А человек крепко держал ее за руку, уже поворачивая в сторону указанной Арькой темноты за сараями.

— А ножи у них есть? Не заметила?

— Не знаю, — мотнула она головой. — Но действовали они больше кулаками.

— Это уже хорошо.

«Чего уж хорошего, что хорошего? Прошло столько времени... Только бы он был жив, только бы жив! Жив, жив, — в такт шагам отбивало Аркино сердце. — Ничего больше и не надо, только бы жив! Пусть хоть какой, но только бы жив! Господи, сделай так, чтобы — жив!»

Но вот уже позади и ряды домов с мирно падающими квадратиками окон. Картонная темнота переулков обступила их.

— Где? — тормозил взглядом мужчина, ощупывая пространство между сараями.

Арья напрягала зрение: «Ну где же, где?»

Но там, где недавно кипела схватка, — ничего. И — ничего. Лишь в одном месте, цепляя взгляд, темнело на земле какое-то выпуклое пятно.

«Валерка?! Неужели — Валерка?»

Подходить было страшно, но они подошли.

Нет, это был не Валерка! Всего лишь его сброшенная на землю куртка.

А чуть дальше, между сараями, они увидели...

— Там! — крикнула Арья, и сердце ее возликовало: их было четверо, а это значит... — Они еще там!



И тут ей снова стало страшно. До спазмов, до коликов в желудке: вот сейчас-то мужчина передумает и уйдет!

Но он лишь крикнул:

— Стой здесь! Тебе туда не стоит! — и ринулся в густое месиво, в центре которого...

Да, там, в груди шевелящихся тел, Арья увидела: еще стоял Валерка! Он именно стоял, шатаясь из стороны в сторону, но — стоял, и это главное! — отмахиваясь и нанося вялые удары.

«Живой! Главное — живой!» — возликовало Арькино сердце.

Теперь, увидев Валерку, она снова испугалась — за этого, незнакомого ей мужчину. «А вдруг у них и вправду ножи? И что я о нем знаю? Откуда он вообще взялся? А если с ним что случится! А если у него семья? Жена, ребенок? А я даже не знаю его имени! И опять получается — Валерка еле стоит на ногах, он не в счет, значит, снова трое на одного? На этого ринувшегося на помощь человека!»

Арья не поняла, что он там такого сказал или сделал... Но зловещая тройца, только что молотившая руками, вдруг бросилась врассыпную! Она не поверила собственным глазам: в одно мгновение стало тихо. Воздух словно сдался, остыл, не сохранив в себе и следа от только что кипевшей здесь схватки.

— А ты молодец, — оглядывая Валерку со всех сторон и отряхивая, сказал мужчина. — Хорошо держись!

Но Валерка держался на честном слове. Он что-то буркнул в ответ, посмотрел на Арьку — она не поняла даже, что обозначает этот взгляд. Да и не до взглядов ему было, силы, похоже, оставили его, и если бы не их поддержка, он, наверное, упал бы. Они с мужчиной подхватили его и повели в сторону дома.

— Главное, что кости целы, — осмотрев его дома, сказал мужчина. — Но скорую все-таки вызвать надо.

Ушедшей в гости тети Лиды дома еще не было. Сестренка спала, она не видела, как привели побитого брата.

Валеркино лицо менялось на глазах. Заплывали глаза, припухали губы, кровь сочилась по лбу небольшими струйками. Но он был в сознании, и это главное. Правда, говорить он не мог (или делал вид, что не мог), но и мычание его, дополненное подвижностью глаз, было красноречивым.

Мужчина, сориентировавшись в комнате, быстро нашел аптечку. Действовал он уверенно, чувствовалась рука человека, привыкшего к экстриму. И пока он находился рядом, Арьке было спокойно.

Мужчина налил в стакан воды, накапал валерьянки и вдруг протянул Арьке:

— Выпей!

— Мне-то зачем? — удивилась она.

Арья никогда не пила раньше валерьянки, но запах ее знала. Дома, на кухне, мама частенько накапывала ее себе в чашку, хватаясь за сердце. Часто после очередных, как она считала, Арькиных «выходок». И хотя Арья не понимала, в чем именно они состоят, но от запаха валерьянки сразу почувствовала себя виноватой, вспомнив про маму и про то, что ей давно пора домой.

— Выпей, выпей, — повторил мужчина. — Тебе тоже не помешает, раз завела себе такого беспокойного дружка.

И снова Арья доверилась его спокойному, уверенному тону. И, сделав глоток, ощутила вдруг, как постукивают о край стакана ее зубы.

Мужчина же занялся Валеркой. Он обработал марганцовкой его раны, смыл кровь, запекшуюся на лице. В его взгляде не было осуждения, но и особого сочувствия не было тоже. Скорее он смотрел на него с каким-то веселым любопытством.

— За что они тебя так? — спросил он, когда Валерка уже принял вполне приличный, подкрашенный йодом и марганцовкой вид.

Но тот морщился, круглил глаза с недоуменно-придурковатым видом, мычал, изображая глухонемого.

— Ясно, говорить не хочешь. Ну, как знаешь. Я ведь не из милиции — зря боишься! — и, пытаясь поймать его дезертирующий взгляд, добавил: — Повезло тебе, парень, крупно повезло, хоть вряд ли ты это и понимаешь! Вовремя мы на подмогу успели, еще бы немного — и... Ей скажи спасибо, — кивнул он в сторону Арьки. — Друг у тебя... На все сто процентов друг! Весь проспект на ноги подняла, чтобы тебя спасти! Не каждая на такое решится. Так что жизнью своей девочке ты обязан, не разменивай уж на пятаки жизнь-то свою! — И, помолчав, добавил: — И друга своего белоглового цени, такие на дорогах не валяются!

Мужчина снова взглянул на Арьку и вдруг улыбнулся. И Арья увидела, что никакой он и не мужчина вовсе, а парень. Ну, постарше их, может, лет на пять-семь. Просто слишком уж деловой, собранный какой-то.

— Ну ладно, мне надо идти. Скорую вызову по дороге. А ты уж не бросай его, героя этого, пока скорая не приедет, — обратился он к Арьке.

И прежде чем уйти, снова склонился над Валеркой.

— Ничего, до свадьбы заживет! Когда я рос, мне еще не так доставалось. Выступал много: все свои принципы отстаивал. А ты все же не увлекайся, чтобы не стало это главным в твоей жизни — ведь в ней

и без того всего хватает! — И уже натягивая шапочку, добавил: — А держался ты геройски, молодец!

Валерка промычал в ответ что-то. По энергичному мычанию, доносившемуся из распухших губ, можно было понять:

— Вы тоже отлично деретесь! — Он бросил полный особой, мужской значимости взгляд, впервые вообще отреагировав на присутствие здесь незнакомца. — Здорово вы их!

Когда Арьяка прощалась с гостем на пороге, тот вдруг сказал:

— Дурак твой парень. Думает, наверное, что отстаивает что-то очень важное, из-за чего стоит жизнью рисковать. А счастье-то порой рядом ходит, только не всегда мы его разглядеть можем. — И мужчина вдруг посмотрел на Арьяку с неожиданной теплотой. — Понимаем поздно. Мне бы в детстве такого друга по-прежнему — может, и жизнь бы по-другому пошла...

Он улыбнулся, натянул шапочку и вышел.

И Арьяка ничего не стала ему говорить. Что никакой Валерка не ее парень, что он ей как бы младший брат. Вряд ли бы мужчина понял, что такое «как бы младший брат». И она просто сказала ему, уходящему, вдогонку:

— Спасибо вам! Огромное вам спасибо!

Она и так знала: сколько ни пройдет времени — всегда будет помнить эту протянутую ей среди безразличия толпы руку.

Проводив гостя, Арьяка вернулась в комнату, и ее встретили мерцающие в полумраке глаза. Валерка смотрел на нее всей своей опухающей синевою, и было в его взгляде выжидающее горделивое любопытство.

— А ты — красивый! — не дала себе Арьяка расслабиться. — Есть на что посмотреть.

— Да?

— И дикция такая, с особым шармом.

— Значит, я тебе нравлюсь?

— А кто тебе сказал, что нравишься?

— Сама же сказала — красивый. А красивые все нравятся.

— Может, тебе зеркало дать, на красоту свою полюбуйешься? — с усмешкой поглядела на него Арьяка.

— Так я все по твоим глазам вижу — в них все отражается.

Но Арьяка взяла с книжной полки маленькое зеркальце и поднесла к его лицу. Валерка принялся производить досмотр физиономии.

— Ничего! — поворачивал он зрачками. — Говорят, мужчина должен быть чуть красивше обезьяны. А я красивше. А шрамы мужчине только украшают! — Он протянул было Арьяке зеркальце, но... Вместо того чтобы отдать, вдруг перехватил ее руку.

— А скажи, Арьяка, только честно скажи: тебе правда — противно? Ну, за ручку со мной держаться?

— Правда! — кивнула Арьяка, но ладонь свою вырывать не стала — больной все же.

— Врешь ты все, Арьяка, все врешь! Если противно — так чего тогда руку не вырываешь? И сидишь тогда возле меня чего?

— А... мужчина попросил, вот и сижу. Скорую ожидаю. Вдруг ты буйный, опять сбежишь.

Так сидели они, рука в руке, и, не признаваясь себе, жалели друг друга. Арьяка Валерку — за то, что весь побитый. Понимала она, как, нарочно бравируя, скрывает перед ней свою боль. А Валерке тоже было жаль Арьяку — понимал ведь, знал ее уже предостаточно, не для Арьи все это: драки, стрессы, выходки хулиганские. Другой она человек — нежный, из другой совсем материи, из другого мира. Это ведь он понимал, не дурак совсем, и потому жалел Арьяку, всем своим братским сердцем жалел.

— Домой тебе надо, — сказал он и посмотрел... Так посмотрел, что и без слов стало понятно: уйдет она — умрет просто. Сразу и без промедления.

— Надо! — вздохнула Арьяка, и сердце ее сжалось. Представила, как ходит по комнате мама, не спит, переживает: где ее Арьяка, что с ней? А ведь завтра на работу.

— Но как же ты пойдешь? — покосился на нее Валерка. — Автобусы уже не ходят. И я не могу тебя проводить.

— Да уж.

— Не уходи, Арьяка. Прошу! — и заторопился голосом: — Скажи лучше, откуда ты взяла это ископаемое?

— Какое — «ископаемое»?

— Ну, мужика этого, — кивнул он на дверь. — Зря ты его привела — я бы и сам справился!

— Да? Чего же тогда не справился? Отдыхал, что ли?

— Да, берег свои силы для решающего удара. Отдыхал и... думал.

— О чем же ты, интересно, думал?

— Конечно, о том, что ты сказала у Катьки. Что Левка Матушкин сделал тебе предложение. Если бы эта новость не выбила меня из колеи — уж я бы им показал!

— Что бы ты, интересно, показал?

— Я бы показал — что такое настоящий парень, без квартиры и машины! И как он за себя постоять может!

— Да, Валерка, похоже и вправду — зря. Надо было наподавать тебе как следует — может, ты хоть тогда бы поумнел!

...А потом приехала скорая. Осмотрели, посчитали на Валерке синяки и царапины, проверили кости,



сделали успокаивающий укол — и скорая уехала, попросив не оставлять его одного.

Под действием укола Валерка заснул. Арья сидела, слушала его дыхание, пыталась читать...

Когда пришла разохавшаяся тетя Лида, был уже третий час.

Домой в эту ночь Арья так и не попала.

Глава 5

Когда утром она появилась дома, родители встретили ее холодной полосой молчания. Впрочем, это была уже не полоса — непроницаемая воздействию теплых лучей айсберговая зона. Пояс вечной мерзлоты.

— Ну, и где ты была? — каменно спросила мама, и голос ее не давал ни малейшей надежды на потепление.

Конечно, Арья чувствовала себя виноватой, еще как виноватой, она знала: мать наверняка не спала, пила валерьянку, пилила отца за недостаток мужского воспитания, бессонной тенью бродя по квартире. Но что она могла сказать им теперь, как объяснить ей, повернувшейся спиной тогда, когда Арья еще так нуждалась в маме? Теперь между ними пропасть, которую не преодолеть уже никакими перекидными мостками.

Да и что объяснять? Про Валерку, драку, ее выступление на вечернем проспекте? Про мужчину, скорую помощь, тетю Лиду? Она и так уже шарахается при словах «тетя Лида»...

— Так где же ты все-таки была? — мерила мать ее высокомерно-уничижающим взглядом. — Я говорила, что докатишься — вот и докатилась!

— Шлялась всю ночь, как последняя... — добавил проходящий через комнату отец. — Ну погоди, дождешься ты у меня!

А мать подошла, размахнулась и... ударила Арьку по щеке!

«Да! — хотелось крикнуть ей. — Докатилась! Только — до чего?» Надо было бросить Валерку, и тогда бы она не докатилась?! Пусть бы его избили до полусмерти, убили бы совсем. Но, главное, она вовремя пришла бы домой, как пай-девочка! Ей вовсе не нужно было звать того мужчину, тянуть в истерике за собой, спасать, успокаивать, промывать Валеркины раны, ждать скорую. Разве виновата она, Арья, что был уже третий час ночи, когда пришла тетя Лида? Уже не ходили троллейбусы, а идти одной глухими переулками после всего пережитого — у нее не было сил.

Разве не волновалась, не рисовала мысленно, как ходит мама по комнате, глотает таблетки, не мучилась угрызениями совести? Конечно, не рассчитывала она, что назовут ее «счастьем», как тот мужчина, скажут, что друг она на «все сто», пожалуют, что в детстве не было у них такого друга. Да

и сейчас-то, наверное, нет, ну разве что она, Арья, и могла бы им быть — ее бы на всех хватило, да только сами же ее и отталкивают. Виноватится Арья, понимает, что должны отыграться они на ней за свою вынужденную бессонницу, за пережитые ночные волнения, но каменеет и она при виде их, молчит, проглатывая горечь звоном стоящей в голове пощечины, и идет собирать школьную сумку.

А потом вдруг вечером, на очередной «среде» неожиданно появляется отец.

Арья и сама не поняла, откуда он взялся, словно вдруг материализовался из воздуха, выйдя прямо из стены с распахнутыми полами пальто. И, содрав с головы шапку, подошел к Борису.

Арькино сердце взметнулось в недоумении: что на этот раз? Издеваются они над ней, что ли, сколько же позорить ее можно? Теперь еще перед друзьями, перед Борисовым!

А отец, подойдя к Борису, тихим голосом, стараясь придать ему тон душевной доверительности, сказал:

— Мне хотелось бы с вами поговорить.

Его тон обозначал: «Хотелось поговорить наедине». Арья представила себе — что может он ему наговорить! Уж такого может! И это обозначало бы для нее — конец. Конец... чего? Всего!

— Поговорить? — не проявил особой заинтересованности Борис. — Что ж, давайте поговорим.

— Но... я бы хотел отдельно, вдвоем... Так сказать, без свидетелей, — старательно подыскивал отец слова. — Вопрос, можно сказать, деликатный.

И снова ничего не дрогнуло в борисовском лице.

— А по какому поводу — поговорить?

— Ну, по поводу Ариадны. Может, все-таки — наедине?

Отец явно не был готов к разговору среди молодежи — он тушевался под множеством нацеленных на него глаз.

— А что случилось? Ариадна, у тебя что-то случилось? — глянул на нее Борис.

— Нет, у меня — ничего, — мотнула головой Арья, и, по ее мнению, сказала правду: ведь случилось-то у Валерки: это он лежал дома побитый.

— Тогда — тем более. У меня нет секретов от ребят. Мы все решаем сообща. Так какие у вас проблемы?

Отец понимал: деваться некуда, раз уж пришел — надо что-то говорить, а то уж совсем получается глупо. Не рассчитывал он, что придется торчать тут дураком и краснеть. И кое-как, комкая слова, собрал все в одну кучу:

— Дело в том, что поведение Ариадны в последнее время у меня, то есть у нас, стало вызывать беспокойство.

— У кого — «у нас»? — снова перебил его Борисов.

— У нас с ее матерью...

— И по какому поводу беспокойство? — в голосе Борисов звучала плохо скрываема ирония.

— Ну, как по какому... Поводов много, — отец волновался, и это его волнение передавалось Арьке. — Приходить стала поздно, с учебой появились проблемы. Поведение непонятное.

— С учебой? — посмотрел на него Борисов. — Но, по-моему, Ариадна достаточно взрослый человек, чтобы с этим вопросом разобраться самостоятельно. В этом мы ей вряд ли поможем. Что еще?

— Ну как что, как что! — с раздражением, что его никак не хотят понять, нервничал отец. — Это только со стороны кажется, что все просто. Нас не слушает, родители для нее не авторитет, совсем от рук отбилась!

Борисов делал вид, что сочувствует, даже покачивал головой.

— Делает, что хочет, даже, стыдно сказать... домой ночевать не приходит! — наконец выговорил отец то, ради чего, собственно, и пришел. — А вы говорите — в чем проблемы!

Арька сидела ни жива ни мертва. Она готова была провалиться сквозь землю, только чтобы не ощущать того позора, который устраивает здесь прилюдно ее отец.

«Зачем так, зачем? Неужели они не понимают, что так нельзя? Перед ребятами, друзьями-то зачем позорят?»

И что теперь делать и как себя вести? И что скажет теперь Борисов и куда деваться от стыда, Арька не знала. Скажет сейчас Борисов, слушавший отца, покачивающий головой: «Так вот какая ты, Арька, ведешь-то себя как, а мы тебя совсем другой представляли!»

Но Борисов, будто и не качал головой в такт отцовым словам, нацепил обычную усмешечку, и весь его вид словно говорил: «Мы вас послушали, а теперь и вы нас послушайте!»

— Я, конечно, понимаю ваше волнение. Но, мне кажется, проблема тут не в Ариадне, вернее, не в одной Ариадне. Если родители не авторитет — скорее всего, дело в самих родителях. То, что «отбилась от рук», — это, на мой взгляд, естественный процесс повзросления. В ней просыпается самостоятельная личность, не может она всю жизнь быть пришитой к вам и делать только то, что вы ей скажете. И, как личность, она имеет право выражать свои взгляды и бороться за них.

А что касается ее неприхода домой... Это дела взрослой девочки, которые, извините, публично не обсуждаются. Но я думаю, и здесь наверняка есть свое объяснение. Вот так.

Борисов оглядел молчаливо застывшие вокруг лица: все тоже почему-то сидели с опущенными головами. Делали вид, что чем-то заняты, но Арька-то знала — не пропущено ни одно слово.

— А у вас вызывает беспокойство поведение Ариадны? — оглядел Борисов сидящую за столом компанию. — Давайте послушаем мнение коллектива!

Арька замерла: теперь еще и Борисов позорить ее будет. Она с остановившимся сердцем слушала эту вдруг наступившую тишину. Ее друзья небось представляли ее совсем другой, а со слов отца получается, будто Арька двуличная — с ними одна, а дома совсем другая! Вот и молчат они теперь, составляя о ней другое, новое мнение.

— Вызывает! — вдруг крикнул кто-то, и сердце бухнуло. — Вызывает восхищение!

А кругом загалдели, вспархивая, голоса:

— Арька человек нормальный, какой надо!

— Тактичный, деликатный.

— Арька талантливая!

— Да не может она никого обидеть!

— Все знают, что такое Арька.

А Арька не отрывала глаза от пола. Ей было стыдно и неловко от всего сразу: за отца перед Борисовым, за Борисова перед отцом, и за себя саму, и даже от реплик этих. И краска все больше заливала ее лицо.

— Арька — друг хороший! — крикнул кто-то. — Валерка бы без нее пропал!

— Да что говорить! Арька — морда что надо!

«Этого еще не хватало! Вот уж “морды” отец не поймет точно!»

Но ей, честно говоря, стало уже все равно, хотелось только, чтобы это хоть как-нибудь кончилось. Она знала, что приход отца навсегда отбирает у нее друзей, их клуб...

— Так, так... — Борисов хмыкнул в бороду и развел руками. И жест этот словно обозначал — «и рад бы помочь, но сами видите!». — Так что у нас ее поведение беспокойства не вызывает. Наоборот. Уже и сейчас у нее есть чему поучиться, в том числе и ее терпению, деликатности. Мы все только рады, что она у нас появилась, человек она интересный и талантливый. Да и, как мне кажется, с ней просто достичь понимания, нужно только ее уважать и не мешать раскрыться.

И еще что-то говорил про нее Борисов, но Арька уже слышать ничего не могла. А отец все стоял истуканчиком, принужденный выслушивать то, что выслушивать ему совсем не хотелось. Получается, что бессмысленным был его поход сюда. Бессмысленным и позорным. Поднял Борисов его на смех, перед всей этой молодой горластой публикой дураком выставил! Шел он сюда, чтобы



поговорить с глазу на глаз: чему же вы их учите, какие идеалы прививаете, если в результате этого нормальные дочери перестают ночевать дома, шляются по чужим дворам, заводят себе друзей — без пяти минут уголовников? Он уж нашел бы, чем уколоть этого господина Борисова, который думает, что изобрел какой-то новый способ воспитания, выкрутил его колесами велосипеда. Да вот только не удалось им с глазу на глаз, и пришлось корячиться, вытанцовывать перед этой проданной ему в рабство молодой публикой.

Ну а в ней-то, дочери его, Ариадне, что он нашел? Что видит он в ней, чужой человек, что понимает? Тоша тощей, вот только глаза выкатит, поди пойми, что там, за выкатом этим. Правда, бывало, пошутит он, отец, — все засмеются, а она сидит молчком, а ему почему-то хочется, чтобы именно она, Арья, и рассмеялась. И старается он еще больше. А она оторвет вдруг взгляд свой от чашки, бросит его — словно камень какой драгоценный, и сразу ему, отцу, радостей на сердце становится.

«У нас Арья посмотрит — как рублем пода-рит», — скажет он, бывало, ну а уж если на шутку его хмыкнула она, дрогнула уголком губы — его удовлетворение распирает. «Хорошо, видать, пошутил, раз даже сама Арья улыбнулась».

Ну а что мир у нее там особенный какой — так уж что и за мир, выпренье одно, все миры у них одинаковые, повывламываться бы только, необыкновенность свою показать! Ну а позор — он позор и есть, заставил его этот Борисов корчиться, как на горячей сковородке, ну да и ладно, никто и видел, дома жене скажет: «Поговорил, мол, все как есть сказал, вправят теперь ей мозги, как надо вправят!»

А Арья сидит за спинами друзей — ни жива ни мертва, что-то в груди у нее постукивает, сдавливает нехорошо. Не может она смотреть на отца своего. Ну почему у других родители как родители, любят они своих детей, что ли, меньше? Да разве же кто любит — так позорить будет?

А Борисов знай себе гитару пощипывает, разговоры разные разговаривает, будто и не стоял тут отец ее шутком гороховым, не подстреливал он его взглядом. Сейчас он и Арьке скажет: «Что же ты, Арья, повод даешь отцу своему? Сюда приходиться, на тебя жаловаться, время у нас отнимать? Нечего тебе тут делать. Иди, исправляй свою учебу, выравнивай поведение, чтобы не ходил он к нам больше, не прерывал занятий наших. А уж потом и появляйся!»

И действительно, уже в самом конце, когда стали расходиться, подошел к ней Борисов и сказал чуть приглушенно:

— Ты извини, если резко я с ним обошелся. Но скажу тебе уже из личного опыта: родителей тоже воспитывать надо, все равно с ними жить. А отец твой не такой уж и плохой, он мне даже чем-то симпатичен. Ищет он чего-то... Если бы раньше, мы бы его в свой клуб приняли.

А Арьке все не верилось: когда же он ругать-то, проработать ее начнет?

— Ты не думай, не у тебя одной проблемы с родителями. Это уж как правило: приходит к нам человек — и сразу начинаются проблемы. Потому что родители привыкли к одному, а здесь он меняться начинает. И чувствуют родители: уходит ребенок из-под их влияния, и начинают нервничать. Обычное это явление. Так что... Подойди к этой проблеме по-философски!

Глава 6

И Арья подошла. Но оттого, что она подошла, — ничего не изменилось. Атмосфера высокого напряжения все еще царил в воздухе, каждый день невидимо нагнетаясь над ее головой.

А в школе ее вдруг неожиданно вызвал к себе Эдуард.

— Присядь, — торопливо кивнул он на стул. — Сейчас я освобожусь.

Арья присела возле его учительского стола, он же все продолжал рыться в своих бумагах. Бумаг на столе было много.

— Понимаешь, в чем дело...

Всегда прямой и решительный, Эдуард вел себя как-то странно: говорил приглушенно и почему-то оглядывался назад, хоть в кабинете кроме них двоих больше никого не было.

— Родители тут твои... Как бы это сказать...

Арья смотрела, не понимая, но что-то колыхнулось внутри: «Родители... Значит, и тут успели!»

— Ты только пойми меня правильно — я вовсе не пытаюсь лезть в твою жизнь, в твою душу, — наконец посмотрел он на нее. — Насколько я тебя знаю, ты не способна ни на что плохое. А им кажется... Ну родители, понятное дело, перестраховываются...

Арья слушала. Она очень уважала Эдуарда. Но сегодня она его не понимала.

— Ты просто... скажи мне, я поверю, упаси бог меня вмешиваться, просто скажи, что нет ничего плохого. И я постараюсь успокоить их. А то ведь они говорят... Бог вещь что! Что ты с дурной компанией связалась, что приходишь поздно, и вообще... Дома не ночуешь!

— Это было всего лишь один раз, — Арья посмотрела ему в глаза. — И для этого были причи-

ны. А компанию эту вы знаете. Это и есть тот самый «Товарищ», о котором я вам рассказывала.

— «Товарищ?» — дрогнули удивлением его брови. — Это и есть дурная компания?

Эдуард помолчал, осмысливая.

— Ну что ж, тогда вопросов больше нет!

Арьяка вздохнула и посмотрела на учителя веселей:

— Значит, я могу идти?

— Да, иди! Хотя... — Арьяка уже поднялась со стула. — Погоди немного! — он вдруг поморщился и дернул головой.

Арьяка снова отметила странное поведение учителя. Он опять оглянулся, хотя за его спиной никого не было. Никого и ничего. Ну разве что — маленькая дверка, ведущая в лабораторию.

Не понимая, она присела снова.

— Но чему же, на их взгляд, они могут научить плохому?

— Ну, не знаю, — пожалала плечами. — Наверное — петь песни, делать газеты, ходить в походы, любить друг друга...

— Грустно, — Эдуард качал головой. — Мне не хочется разочаровываться в твоих родителях.

Фразу эту он произнес почему-то совсем тихо, снизив голос.

— Наверное, в твоих словах, тогда, первого сентября, действительно был повод для беспокойства. Помнишь, ты сказала, что из-за «Товарища» у тебя дома будут проблемы.

Арьяка вздохнула.

— С этим понятно. Но можешь ты мне все-таки объяснить... Ну по поводу этой... Ну как бы сказать... — терялся он. — Твоей... неночевки дома, — с трудом выговорил он. — Если, конечно, это не тайна и не задевает твоего самолюбия. И если ты мне доверишься.

Арьяка смотрела на учителя молча. Молчал и Эдуард. Он понимал — вторгается в область запретного. Не вправе он требовать, чтобы Арьяка пред ним исповедовалась. Да он бы и не стал мучить ее, если бы... И он снова чуть заметно оглянулся.

Арьяка же хотела, чтобы Эдуард ей просто поверил. Просто — взял и поверил. Ведь когда человеку веришь — веришь до конца.

— Не обижайся, но в этом они правы... — Что-то все же в поведении учителя сегодня ее настораживало. — Ты, конечно, человек взрослый, самостоятельный, но хотя бы предупреждай, если не ночуешь дома. Они же волнуются!

— Но... Бывают моменты... Непредвиденные, когда не можешь сделать то, что хочешь.

— Знаешь, говорят: кто хочет — ищет способ, а кто не хочет — находит причину.

— Знаю, — кивнула Арьяка, но обида все-таки проскочила. — Вы всегда нам это говорите. Не хотите — не верьте!

— Ну вот, сразу и обиделась! Я-то верю, не было у меня повода тебе не доверять, но хочется, чтобы и родители твои тебе поверили!

— А кто мешает им верить? — уже с трудом сдерживалась Арьяка. Она совсем не хотела на них жаловаться, на своих родителей, но... — Ведь я еще с лагеря пыталась им все рассказать. Но им же это не нужно, не интересно. А Валерка, парень этот, из-за которого весь сыр-бор, — они же сами его на порог не пускают! Знать не желают ни его, ни его семью. Что же остается? Уходить мне...

— Я все понимаю и не оправдываю твоих родителей, — покачал головой Эдуард. — Но зачем до крайностей доходить? Не приходится ночевать? Это уж слишком. В этом я тебя оправдать не могу.

Эдуард словно обижался: не хочет она ему почему-то сказать, а ему это обязательно знать надо! Почему? И он снова чуть заметно оглянулся.

И Арьяка, еще немного помедлив, все-таки не выдержала:

— Никогда не думала, что помочь человеку — преступление.

— Помочь человеку? — смотрел на нее Эдуард. — А ты что — помогала человеку?

— Ну, может, это громко сказано...

И слово за слово она все рассказала учителю. Про ту ночь, Валерку, хулиганов, человека с проспекта, скорую... И снова ей казалось — она там, на проспекте, заламывает руки, а безразличная толпа обтекает ее. И снова видела мотающиеся перед ней тела, и избитого Валерку, и ту протянутую ей среди безразличия толпы руку.

Когда Арьяка закончила свой рассказ — ощутила опустошение.

Учитель смотрел на нее и молчал. Арьяка даже испугалась, может, в его представлении, она сделала что-то не так?

И Эдуард действительно сказал:

— И это смогла сделать ты, Арьяка, трусиха несчастная?! — назвал он ее вдруг совсем уж не учительски. — Никогда бы не подумал, что ты на такое способна! Хотя... какая же ты трусиха, ты же так лихо мчалась за трактором на «пене»!

Лицо учителя изменилось — какая-то затаенная виноватость проявилась в нем.

— Не знаю, стоит ли тот парень, чтобы из-за него совершались такие подвиги... Хотя по твоему лицу вижу — стоит. Но ты в любом случае стоишь многого!

Эдуард чуть помолчал.

— В который раз ты удивляешь меня! Сколько же в тебе еще всего, девочка! — дрогнув голосом, он по-



ложил ей на плечо руку. Но вдруг, словно испугавшись, отдернул.

Потом, ничего не говоря, встал. Подошел к двери лаборатории. Распахнул ее... И оттуда, к Арькиному изумлению, вышел... отец!

Арька ничего не поняла. Отец? Откуда? Что он там делал? Не вывел же его Эдуард в своей лаборатории опытным путем?

Она с непониманием посмотрела на Эдуарда. Так, значит... Арька откровенничала с ним, со своим учителем, доверяя, раскрывала ему душу. А он, оказывается, прятал в своей лаборатории ее подслушивающего отца?

А Эдуард сказал, прятая взгляд:

— Прости меня, Ариадна, если только сможешь — прости за эту комедию. Если после этого я потеряю твое уважение... Что ж, буду знать, что заслужил.

И он повернулся к стоящему за их спинами:

— Знаете, после ваших слов я хотел немного поругать, пожурить Арю, думая, что для этого есть повод. Но, оказывается, это она преподавала урок нам. И ругать надо нас с вами. Лично я всегда доверял Ариадне, рад, что не ошибся и на этот раз!

Отец молчал. Да и что ему было говорить? Что он тоже не ошибся? Вот еще! В чем там — ошибаться или не ошибаться? Ну а что Эдуард так говорит, это он и передаст жене.

— Мне кажется, такой дочерью гордиться надо! Она не бросила друга в беде, а умение не предавать остается с человеком на всю жизнь. И вам первым это пригодится! И еще я хочу сказать при твоем отце Ариадна, — повернулся он к ней, — лично я горжусь, что в моем классе учится такой неугомонный человек. И доверяю я этому человеку — как себе самому. И, может, выражение это и избитое, но все же хочу сказать: с тобой в разведку я бы пошел! И уж прости ты меня, если сможешь!

Ну что Арька могла сказать своему учителю?

Глава 7

А вечером, когда она пришла домой, ей показалось — в квартире стало светлей. Что-то щебетала на кухне мама, Арьке даже почудилось: она напевает, как когда-то раньше.

Потом все вместе сели ужинать, и снова ей показалось, что ее присутствие здесь не терпят, как обычно, а принимают как свое, родное, хотя и особенное. И от этого ей тоже стало радостней.

— Эдуард Иванович тебя хвалил, — наконец не выдержала мама. — Сказал, что у него к тебе претензий нет.

Арька знала, что мнение Эдуарда много значит для мамы, и, наверное, именно поэтому в доме объявлено потепление.

— Раз хвалил, значит, есть за что, — горделиво откликнулась Арька, старалась попасть в унисон маминому настроению.

— По физике, сказал, у тебя все нормально, да и с другими предметами тоже.

— Эдуард Иванович знает, что говорит! — снова поддакнула Арька.

Арьке нравилось это внезапное потепление, она была рада поддакнуть чему угодно, лишь бы не сходила улыбка с мамино лица, лишь бы не гремела она ожесточенно посудой, не пила вальерьянку, уходя в свою комнату. Ведь что ни говори, а атмосфера в доме зависела именно от нее, мамы. От нее шло невидимое тепло, по своему желанию она то заливала комнату светом, то погружала в ледяную мглу.

А когда сели пить чай, мама даже не стала ругать Арьку, что та по привычке уткнулась в книгу. Арька обожала пить чай подолгу, по несколько чашек, пока все не разойдется и она не останется одна, с сахарницей и книгой под носом. Мама начнет хлопотать, убирая посуду, и ее присутствие совсем не мешало Арьке, наоборот — так было даже уютней.

Но все это было раньше, когда-то, теперь уже давно ничего похожего не происходило. Арька торопливо съедала ужин, глядя в тарелку, и тут же скрывалась в своей комнате.

Но сегодня она опять сидела и дула на блюдце, и была у нее перед носом книга, и мама даже ничего не сказала, лишь посмотрела укоряюще. А ей что уж там смешного попало — все они виноваты, эти Ильфы и Петровы, — а только вдруг, не сдержав смехотворной бациллы, фыркнула, да так, что содержимое с блюдца разлетелось в разные стороны, обрызгав сидящих напротив маму с братом.

А ей вдобавок от этого еще смешней стало, представила со стороны: это едва возникающее, шаткое перемирие... Две стороны стараются, дипломатничают (хотя слово «дипломатничают» — не то, это больше касается государств с разным политическим строем, а у них-то строй один, общий), но вот когда хрупкое здание этого перемирия стало чуть-чуть возводиться — такой досадный казус.

Арька сидела и смотрела, как вытирают с лица брызги мама и брат, и смешно ей было, и неловко, но и это еще полбеда! Когда, прикрываясь книгой, давась и фыркая, она стала не глядя ставить блюдце с чаем на стол... Оказывается — и поставила-то его мимо! Чуть-чуть не донесла до стола. Блюдце, оказавшись в незаполненном пространстве, удержаться, естественно, ни на чем не смогло — и бесцеремонно брякнулось на пол! И плевать ему было, этому блюдцу, на их хрупкий, с таким трудом создаваемый мир — оно разлетелось вдребезги!

Какое дело было ему, что у них только-только все начинает налаживаться — никакие сентиментальные и дипломатические порывы не были свойственны этому глупому круглому блюдцу. Арьяка, охнула, увидев, как разлетаются в разные стороны осколки.

И все они — и Арьяка, и мама, и брат (отец, напившись чаю, уже ушел) — глядели на этот фейерверк из стекла, словно не понимая: как теперь быть и что делать?

Но — дрогнула уголком губы мама, хмыкнул, не выдержав, брат, и вдруг... Волной неудержимого смеха оказались опрокинуты все трое. Нет, они не умели смеяться громко: попыталась, но так и не сумела сделать строгие глаза мама, но все же, чтобы скрыть улыбку, сказала строго:

— И какая же безрукая ты, Арьяка!

Но прозвучало это у нее так весело, по-доброму, что и сама Арьяка, привыкшая дома быть неприступной и сдержанной, вся расплзлась подпрыгивающими губами.

Так сидели они все трое, и все трое смеялись.

А Арьяке вдруг стало так просто, хорошо и радостно. И она посмотрела на маму своим новым, радостным взглядом.

— Я нечаянно, — сказала она.

— Да ладно, ничего. — Мама подобрала с пола осколки. — Говорят, посуда бьется к счастью.

И эти слова тоже порадовали Арьяку. Значит, мама, так же как и она, хочет этого их общего счастья! И будет оно у них еще, много этого счастья будет! Вот ведь, оказывается, как можно просто и весело жить: сидеть за общим столом, пить чай, смеяться... И ничего-то больше и не надо!

А потом, когда, напившись чаю, брат ушел, мама пошла к кухонной двери и поплотней ее прикрыла.

— Ну а теперь давай поговорим, — сказала она вдруг каким-то изменившимся голосом.

У Арьики, только что расслабившейся было, по-нехорошему заныло сердце: не очень-то понравилась ей эта прикрытая дверь. Что хочет мама от нее услышать и почему вдруг такой заговорщицкий тон? Будто все, что произошло у них теперь, совсем и неважно, а важное лишь только начинается.

— Давай. — Арьяка старалась смотреть доброжелательно. Ее взгляд обозначал: «Мне скрывать нечего». Больше всего ей хотелось сохранить эту только что завязавшуюся ниточку отношений.

Мать тоже пыталась сохранить взятую планку задушевной доверительности.

— Скажи мне... Что у тебя — с ним? — спросила она.

— С кем? — Арьяке очень хотелось не разочаровать, но она и в самом деле не поняла, про кого спрашивает ее мама.

— Не притворяйся, сама знаешь. С парнем этим!

Арьяка все равно не поняла. Она в уме стала перебирать парней, с которыми, по мнению мамы, у нее могло что-то «быть». Почему-то вспомнился Матушкин, который не раз провожал ее до дома. Может, мама видела их из окна? А может, узнала про его предложение?

И она решила быть честной до конца.

— Ты имеешь в виду Матушкина? — Всем своим видом Арьяка показывала, что она доверяет маме, скрывать ей от нее нечего.

— При чем тут Матушкин? — передернулась мать. — Я тебя не про него спрашиваю!

Но тут же словно спохватилась:

— А с Матушкиным у тебя что?

— Да ничего! — пожала Арьяка плечами. — Что у меня может быть с Матушкиным? Пытался он меня, правда, один раз поцеловать...

Арьяка сказала это специально небрежно, ей хотелось повеселить мать, посмешить, показать, как ничего она от нее не скрывает. Правда, про его предложение, машину и квартиру рассказывать пока все же не стала.

— Поцеловать? — охнула мать. — Ты что, целуешься со всеми подряд? Что ты себе позволяешь!

— Да ничего я не позволяю! Это Матушкин себе позволил, так чуть с моста и не свалился! — не снижала Арьяка планку миролюбия.

Но мать, сидя напротив Арьики, качала головой. «Заговаривает она мне зубы этим Матушкиным, специально заговаривает!»

А Арьяка, обогретая материнским вниманием, не замечая ее напрягшегося взгляда, расходилась все больше. Надоело ведь ей по родному дому тенью ходить.

— Ну хватит, — уже строже сказала мать. — Прекрасно ты понимаешь, о ком я говорю!

— Да о ком?

— О нем, о парне этом! — начинала терять терпение мать.

Произнести имя было выше ее сил. Неизвестно еще, что сделал он с ее дочерью! Просто так столько времени с чужими парнями не проводят! Для этого должна быть какая-то внутренняя зависимость. И она, дочь, только притворяется наивной, но ее-то, мать, не проведешь! Жизнь свою она уже прожила — кое-что понимает!

Сегодня она и так создала для Арьики условия, пошла ей навстречу. Считает ведь Борисов, что если ей не мешать, создать обстановку — она может раскрыться. Вот и создала: раскрывайся сколько хочешь! Правда, была у них уже такая обстановка, сколько угодно такой обстановки было — взалхлеб: и разговоры, и смех, все что душе угодно, пока не по-



явился этот «Товарищ» с Борисовым, с гитарой обрученными, и разными «подозрительными элементами».

Вот и сегодня, создав атмосферу специально культивируемого потепления, чтобы вызвать Арьку на откровенность, в какой-то момент почувствовала она, мать, себя вдруг внутри процесса, не играющей роль, а по-настоящему понимающей, доверяющей матерью, которая наслаждается присутствием рядом сидящих детей. Ей ведь тоже хочется сохранить этот уют, но только... Пока не узнает она всей правды, пока не выведет на чистую воду, не сможет она отношение выработать к ней, дочери своей, Ариадне.

А та все лыбится ей навстречу:

— Да о ком ты говоришь, мама? — и плечами удивленно пожимает.

И готова мать уже взорваться — надоедать начал ей весь этот спектакль, да ведь закроется она снова. И вымолвила, давась:

— Хватит притворяться — все ты прекрасно понимаешь. С парнем этим, с Валеркой!

— С Валеркой? — дрогнули в улыбке Арькины губы. Настолько образ парня не вязался у Арьки с образом Валерки. Тем более ей и в голову не могло прийти, что мама может интересоваться Валеркой, — ведь она даже имя его слышать не хочет!

— А что у меня с ним? — Арька снова пожала плечами.

А мать, не зная, как половчее приступить к главному, спросила:

— Он что — нравится тебе?

— Валерка? — опять переспросила Арька, удивленная ее вопросом. — Нравится?

Арька никогда раньше не думала, нравится ли ей Валерка. Он же был для нее как бы брат — младший брат. Глупый вопрос — нравится ли тебе твой брат? Он брат — и все! Но ведь, наверное, мама вкладывает в этот вопрос что-то другое. И прижатая материнским вопросом, Арька пыталась представить себе Валерку... В качестве парня, который может нравиться.

Представить было трудно, практически — невозможно. Было в этом что-то похожее на эдипов комплекс, толкуемый Поликарповной на литературе. Но вопрос прозвучал, и Арька как могла пыталась на него ответить.

— Не думала, — покачала она головой. — Нравится, наверное, как человек он вообще-то ничего, только...

— Что — только? — пыталась уловить интонацию мать.

— Ну, без царя в голове, что ли. Вечно его куда-то несет. А так — он ничего, нормальный.

Все-таки Арьке было приятно, что мама интересуется Валеркой. Ей даже захотелось про него расска-

зать, чтобы не думала она, мама, что такой уж он конченный, такой отпетый. Может, в конце концов, поймет, что ничего-то он не сделает, не утащит из дома. И пригласит она его в гости, и будут они сидеть на кухне и вместе пить чай, как, например, у Катьки. И тогда ему меньше захочется бегать по чужим дворам.

И потому Арька старалась говорить о Валерке как можно лучше.

— Просто за ним, как за маленьким, присматривать все время нужно. Энергии в нем многовато. Но если эту энергию направить в нужное русло...

Но матери совсем не это хотелось слышать. Ни про какую его энергию. И спросила она напрямик, решив больше не ходить вокруг да около:

— Вы что с ним — живете?

Вопрос Арьку удивил. Для нее слово «жизнь» обозначало... Перед глазами снова пронеслась лошадь Пржевальского, ржа на весь мир: «А еще жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать!»

— Живем?

Конечно, Арька понимала, что у этого слова есть и другие значения. Но что вкладывает в это понятие ее правильная рассудочная мама? Арька все-таки хорошо знала маму и никак не могла предположить, что ее интересуют какие-то там нехорошие смыслы. И, наконец, ей было так приятно, что мама интересуется не чем-нибудь там, а именно — жизнью! Ее жизнью!

— Живем... — размышляла она.

Для нее, Арьки, жизнь только и началась по-настоящему с «Товарища», с любимых друзей, ну а следовательно — и с Валерки! Ведь только там она и живет! Значит, если Валерка появился в ее жизни вместе с «Товарищем»... Тогда получается... Да и то — какая жизнь без Валерки?

— Да, наверное, живем!

— Живешь? — охнула мать. — Значит, живешь?!

— Ну да! — пожала плечами Арька. Ее несколько удивило, что мама, так пытавшая ее этим словом, почему-то совсем не обрадовалась.

— Живешь, значит! — сокрушенно качала она головой.

— Сейчас-то, правда, реже, а в лагере почти целую смену жили. Вместе!

— Жили, значит — жили... — крутила мать слово, словно заведенная пластинка.

— Ну да, жили! И с Валеркой, и с Матушкиным, и с Вилькой Пановым...

Арька не успела огласить до конца весь список.

— Что? — мать схватилась за сердце. — Еще и с Матушкиным? И с Вилькой Пановым? И ты так спокойно говоришь мне об этом?

— Ну так что же... — пожала плечами Арька: ведь сама же и спрашивает. — Если жили вместе!

Арья же решила быть честной до конца!

Но мать почему-то снова смотрела с недоверием.

— Ты хочешь сказать... Вы вместе — спали?

— Ну да — комната-то одна! — пожалала она плечами. — Вместе спали, вместе ели, пили, работали, все делали вместе! Одним словом — жили!

«Да что она, издевается, что ли? — устало ерепенилась мать. — То жили — то не жили!»

И надоело ей ходить вокруг да около. И, глядя в лицо дочери, радостью своею поглупевшее (и чего смотрит-то она, чего радуется), спросила напрямик последним атакующим вопросом:

— Ну ладно, хватит притворяться, дурочку избражать! Ответь мне: ты спишь с ним? Может быть, ты от него беременна? Ждешь ребенка?

Глава 8

Шла Арья на следующий день на заседание клуба. В сумеречном воздухе тлели плошки начинающих зажигаться фонарей, тянулись вверх ладошки окон. Мягко падал первый зимний снег.

Но ей никуда не хотелось заходить. Впервые в жизни. Никуда. Даже в любимую комнату, на заседание клуба. Все вдруг ей стало как-то противно. Противен был собственный дом, в котором сломали что-то, не успев построить. Противны были улицы, которых словно уличили в том, на что они были неспособны. Противен был даже воздух города, по которому она шла. И противна себе была она сама. Ей словно провели грязной перчаткой по лицу, и теперь даже чистый воздух она вдыхала через слой толстого грязного респиратора.

Впервые в жизни ей не хотелось идти даже в «Товарищ». В ней словно лопнул механизм, который приводил в движение все ее гаечки, шурупчики, отдававшие радостью жизни. Одно дело — когда тебя не понимают. Тебя не понимают, на тебя косятся, но признают за тобой право личности. Ну ладно бы ее обвинили в том, что она стала хуже учиться, что домой приходит поздно, что друзья, на их взгляд, какие-то не те, что песни они поют непонятные. Но обвинить в том, на что она неспособна...

Вчера, когда мать произнесла эти слова, Арья даже ничего и не поняла. Она только жалостно смотрела на мать, ей казалось, что та говорит что-то не то и сама не понимает, что говорит. Только ощутила вдруг, как создаваемый с таким трудом их мир безжалостно летит в пропасть.

Арья даже и обидеться-то на нее как следует не смогла, только почувствовала вдруг, как выдернули ее душу, перепачкали и засунули обратно. И ходит

теперь она с этой перепачканной вдрызг душой и противна себе самой.

Ей казалось, что вместе с ней уронили и запачкали «Товарища» — с друзьями, Борисовым, делами их, песнями. И это было еще большее.

И потому, подойдя к знакомым окнам, даже постояв под ними, она так и не решилась зайти. Ну как она зайдет в эту чистую, звенящую от смеха друзей комнату со своей перепачканной душой? Нет, она не может. И потому она просто стояла и смотрела на окна.

Вот опять окно, где опять не спят,

Может — пьют вино, может — так сидят...

Да, они сидят там, наверное, сгрудившись за столом, решают какие-то свои вопросы, или поют, закинув руки на плечи друг другу...

Или просто — рук не разнимут двое.

В каждом доме, друг, есть окно такое...

Арья отправилась бродить по остывшему вечернему городу с единственным желанием — проветрить свое дыхание. Она ходила и ходила, накручивая километры, так и не решаясь никуда зайти. Даже магическая сила Валеркиного окна сегодня не имела над ней обычной власти. Она видела колеблющиеся на занавеске тени тети Лиды и сестренки, ей было хорошо и уютно осознавать, что они там. Она словно специально культивировала в себе эту горечь, маятником качаясь в пространстве.

Крик разлук и встреч — ты, окно в ночи!

Может — сотни свеч, может — три свечи...

Оно нужно было ей, это окно, с легкомысленной неприбранностью ничего не скрывающих занавесок, их кружевной инфантильностью. Это единственное, что ей сейчас нужно: видеть эти светящиеся прямоугольнички, чувствовать силу их притяжения. Они нужны ей все, очень нужны, эти окна, за которыми живут ее друзья, — Валеркино, Каткино, Тойвочкино, Гелькино, Людкино, все, все, все! И она ходила и ходила, от одного окна к другому, словно коллекционируя светящиеся карнавальные квадратики. Представляя, как ее друзья уже пришли со «среды», как разговаривают, ужинают, смеются...

Арья ощущала себя охранником, их бдительным часовым.

Помолись, дружок, за бессонный дом,

За окно с огнем!



А потом окна стали гаснуть, по одному падая в темноту.

Глава 9

Когда она подошла к своему подъезду, в их трехэтажном доме светились только окна их квартиры. Арья поднялась на свой третий, озвучив шагами гулкую тишину подъезда. Открыв двери своим ключом, тихо разделась в коридоре.

Мать с отцом сидели на диване. На их лицах застыла глубокая, ввевшаяся в их черты скорбная чопорность.

«Что ждать от нее, от этой девицы, этой рано созревшей потаскушки!» — выражали их непроницаемые, окруженные броней неприступности взгляды.

Когда Арья вошла, мать даже не взглянула, только сжалась еще больше, чтобы видела она, как неприятно ей Аркино явление, все ее постылое существование рядом.

— Явилась?

По тону отца Арья поняла — ничего хорошего ждать ей не придется. Отец привык ложиться рано, и никакие силы не могли заставить его изменить режим. Он и вставал рано, спеша поутру к своим собакам и мотоциклам, а сейчас, по прихоти жены, должен сидеть тут и дожидаться эту «примадонну» для того только, чтобы осуществить свою отцовскую воспитательную миссию.

А она, Арья, устала очень, спать ей хочется, сил никаких. Перегуляла она, перебродила. Одного ей хочется: нырнуть под одеяло, и ничего-то больше не видеть и не слышать. Надеется Арья, что и родители поймут — ну какие выяснения среди ночи! Великий политик она, Арья, стратег, дипломат, не зря же с любой шпаной договориться может. И настраивает она себя на добрый лад, по-доброму с родителями хочет. Всем утром вставать, у всех свои дела, и старается она, чтобы голос звучал поровней, глаза смотрели доброжелательней, и на вопрос отца: «Где шлялась?» — отвечает как можно более миролюбиво:

— Почему шлялась? Гуляла.

— Она, значит, гуляет, а мы с матерью должны ночи не спать, ее дожидаться!

— Но я же не прошу вас дожидаться! — пожалала она плечами. — Сами ведь дожидаетесь.

Арья уже успела переодеться в домашний халат и ходила по комнате, разыскивая свои вещи, но, взглянув на отца, увидела снова, как спать ему хочется. Как — ну совсем, ну ни капельки — не хочется ему ругаться, и даже жалко его стало: понимает — не по своей воле он тут сидит! И смешно ей стало при виде его, насильно исполняющего воспитательскую

функцию, видит, как специально заводит, растревляет он себя. «Ругань по необходимости, из воспитательных соображений».

— Ты-то что сидишь, небось, спать уже хочется... — снова постаралась она, чтобы голос звучал миролюбиво, и обозначал он, этот голос: давайте разойдемся мирно, поговорим потом, завтра, найдется же время.

И отец действительно зевнул и сказал, купленный ее дипломатическим тоном:

— Мне уже и вставать скоро, собак кормить.

Но заметила Арья, как, будто невзначай, задела его локтем мама и бросила на него быстрый, словно начиненный взрывчаткой взгляд. И, подорвавшись на взгляде этом, взвился он, опрокидываясь в нее словами:

— Разговаривать еще будешь! Я вот тебе! Шляется бог знает где! Ни стыда ни совести!

Арья замолчала, дожидаясь, пока схлынет поток, чтобы, выслушав, уйти и лечь спать, и легкая бессознательная усмешка, проскочив, затаилась в уголке губ.

— Что? Еще и смеяться? Насмехаться над отцом? Ну узнаешь ты у меня сейчас! Я тебе объясню, как с отцом разговаривать!

В руках его откуда ни возьмись взялся ремень, отец размахнулся и ударил Арьку, еще несильно, но, увидев на губах ее ту же усмешечку, ударил снова.

— Над отцом своим еще насмехаться будешь?

И вспомнил он словно все свое раздражение, время, из-за нее потерянное, ночи недоспанные, дискомфорт душевный, спокойствие попранное, женой из него выкрученное...

— Я тебе сейчас покажу, как усмешечки строить! Будешь ты у меня как шелковая ходить!

Арья руками защищается, а взглядом своим его словно от себя отбивает.

И в бешенство приводит отца усмешечка эта.

— Ах ты! Улыбаться, насмехаться вздумала? Над отцом родным насмехаться?! — И какой-то неуправляемый инстинкт поднимается у него изнутри.

Но забегала вокруг мать, всполошилась:

— Оставь уже, хватит! — и попыталась схватить, задержать его занесенную над Арькой руку. — Изувечишь ведь!

Но оттолкнул он:

— И ты уйди, а то тоже достанется! Надоели! Обе надоели! Житья мне от вас нет! — снова прошелся он по Аркиной тощей спине. — Отвечай — будешь прощение просить?!

Но Арья спиной обожженной дергает, а в глазах вызов, ненависть там к отцу своему, гестаповцем тело ее изводящему. Но покорности там нет и в помине! Умрет она, а жалобы он от нее не услышит!

И ярость в нем закипает, настоящая звериная ярость. Дернул он Арьку за руку, поволок в кладовку, чтобы там уже, наедине, разобраться с ней как следует, чтобы жена не мешала, не бегала вокруг клушей жареной.

— Я из тебя дурь-то повыбью, будешь прощение просить как миленькая, умолять будешь, по струнке ходить, отца родного слушать! — оттягивает он ее ремнем на полную катушку, по спине Арькиной тощей, по ребрам ее выпирающим. Устанет рука — он ремень в другую руку, а мать, в крик исходящая, в запертые двери кладовки бьется.

А ему уже все равно — забьет он ее до смерти или нет. Главного ему хочется, чтобы губы упрямые дрогнули, запросили, запричитали испуганно: «Не надо больше, отпусти, папа! Не буду я, не буду!» Тогда, может, и остановилась бы рука. Но и запиханная им в эту кладовку, между стеной и шкафом, с которого летели от сотрясений вещи и сумки, глядела Арька все так же вызывающе, и та же непобедимая усмешечка вставала над ним в истерзанной тесноте кладовки.

— Ах так? Улыбаешься? На, получай! За «Товарища» своего, за позор мой, за придурков всех, за придурка главного Борисова! На колени, сказал я тебе, на колени! Будешь перед отцом своим на коленях стоять! Ползать будешь!

Ходили ходуном стены кладовки, падали сверху вещи, билась в истерике уже давно пожалевшая обо всем мать, и только Арька молча прикрывала лицо исполосованными ладонями. И только взгляд ее... Взгляд оставался прежним! И, вконец избитый ее взглядом, терял последнее самообладание отец.

— Пусти! — кричала мать. — Открой дверь, изверг! Соседей позову!

И понял он, в бессилии своем ослабев, сколько бы ни бил ее, сколько ни полосовал — ничего не остается от дочери его, Ариадны, а взгляд этот... Взгляд останется!

И — кончился он, устал, дрогнула его рука, обзвонились мышцы. И — прошла Арька мимо, чуть сдвинув его, застывшего, своим до хрупкости тонким плечом.

— Ах ты, куда! А ну-ка, я тебя... — крикнул он, пытаясь остановить, но ухватил руками лишь воздух.

Не было Арьки уже нигде. И болтался только на вешалке ее шарфик да вздрагивал в комнате воздух.

Глава 10

А Арька, кое-как нацепив сдернутую впопыхах с вешалки одежду, уже неслась по улице. Ночь упала на нее замороженной тишиной двора. Первая ее мысль — убежать как можно дальше, чтобы не догнала ее в бе-

шеном порыве, накачанная темным рука отца. Арька бежала от этой руки и от него самого, называвшего себя ее отцом. Расступались перед ней дома, ложился под ноги асфальт, равнявшийся своей чернотой с чернотой ночи. Холодный ноябрьский ветер задувал в лицо, охватывая дрожью ноющее, саднящее тело.

Сначала она всерьез не ощущала боли. Шла, все убыстряя шаг, пока еще кружа в своем районе. Да и куда бы она могла пойти в таком нелепом наряде — накинутом поверх халата пальтишке и сапогах на босу ногу? По-зимнему яростный ветер забирался под одежду, покрывая мурашками спину. Арька представляла, как спят в своих постелях ее друзья. И Валерка тоже спит, и ничего-то ему не снится.

Холод, постепенно одолевая, начинал выкручивать тело. Арька сама не поняла, как оказалась на берегу озера. Замерзшее по краям, оно чуть похрустывало в темноте.

Арька подошла ближе, к самой его кромке.

«Иди ко мне! — вдруг прохрустело оно ей. — Я мигом решу все твои проблемы!»

Арька представила: как это — если ее не будет? Получалось все ужасно и досадно. Все будут продолжать быть: и Валерка, и Катька, и Людка, и Тойвочка, и даже Левка Матушкин! А Валерка будет приходить к Катьке и играть на пианино. Они будут собираться по средам, а ее уже...

«Никому не нужна! Никому!»

Она разулась и попробовала пальцами воду. Пальцы обожгло ломающей болью.

«Ну разве такая жизнь — это жизнь? И пусть им будет плохо! Пусть! Всполошатся, опомнятся, да будет поздно — нет у них больше Арьки! Ничего не выдаст им озеро».

Она отдернула ногу, представив, что такая же ломота охватит и все тело. «Неужели не хватит сил?» Арьке так хотелось покоя, она так устала, ей было холодно, больно, одиноко. Но боль в ее душе была невыносимей всего. Она в корне изменила что-то в ее сознании, и, чтобы заглушить эту боль, требовалась боль другая.

Она разула вторую ногу и принялась бегать, разбивая босыми ступнями ледяной застывший песок. «Сейчас я разогрею ноги, подошвы не почувствуют холода. Раз — и... Вот обрадуются-то, вот начнется у них другая, хорошая жизнь!»

Арька представляла себе их лица, ахающее недоумение, скорбный вид отца: все ему сочувствуют, и он... Он! Принимает эти сочувствия! Принимает как ни в чем не бывало! И никто из них, сочувствующих, не знает, кто довел ее до этого! Все скорбят вместе с ним высокой скорбью и все жалеют Арьку, ее несостоявшуюся судьбу, летящую над миром, как легкое лоскутное покрывало.



И Арья бегала и бегала вдоль берега, вбивала в мерзлый песок свои радения о счастье, вопль об одиночестве, непонятности среди людей самых близких. Но вдруг — подумала: «А как же — она? Она-то как же? Ходит, наверное, по квартире, волосы на себе рвет, места не находит».

А если она, Арья, сделает... ну, то, что задумала, сделает — как она-то переживет? Как жить-то потом будет?

И плохо вдруг стало Арье. Как же она о ней-то не подумала? Себя-то жалко, а ее-то, оказывается, еще как — жалко! Не переживет ведь — не получится у нее это! Такая уж она у нее — мама!

И Арья в единый миг торопливо отыскивала сапоги, сунула в них омертвевшие ледышки пальцев и... рванулась обратно! Туда, ближе к фонарям, где пахнут живым теплом набитые людьми дома.

Она еще долго бродила на ветру, который словно решил отыгаться на ней за всех. Но теперь она бродила уже недалеко от своего дома. Ей нужно было видеть окна своей квартиры, видеть ее силуэт в окне.

Как же обрадовалась она, увидев его, несмотря на начинающую по-настоящему забирать боль. Пустив корни, боль начала прорастать, но при виде ее силуэта в окне, где, по-видимому, так и не ложились спать, Арье сразу стало легче. Словно живая ниточка протянулась от этого окна к ее исхлестанному ветром телу.

Она бродила долго, пока, наконец, не почувствовав окончательное бессилие, обнаружила в небольшом отдалении от дома, в двухэтажном здании детских яслей, открытую дверь на чердак. Тут же, подпирая чердачное окно, стояла лестница.

Арья уже почти поднялась по лестнице, как вдруг услышала внизу жалобное повизгивание.

— Откуда ты? — Спустившись, она обнаружила внизу маленького трясущегося щенка. — Кто тебя потерял?

Совсем кроха, с короткой гладкой шерстью, он сразу же приник к Арье. Арья снова вползла по шаткой лестнице наверх, прижимая малыша к себе. Убедившись, что из чердачного проема видны окна ее квартиры, устроилась на чурбане. Здесь, в проеме, она была хорошей мишенью для ветра, но уйти вглубь не могла — ей обязательно надо было видеть свои окна.

Арья просила Бога только об одном: чтобы к подъезду не подъехала скорая, чтобы не вынесли на носилках ее. Этого бы она просто не вынесла — так и скатилась бы вниз очоченным трупиком.

Благодарный щенок пригрелся на Арькиных коленях. Она прижимала его к себе — так, вдвоем, они

смогли сберечь хоть немного тепла. У Арьи постепенно наступало оцепенение всех чувств, или всех «нечувств», — она еще помнила только, что ей зачем-то нужно видеть окна своей квартиры. Словно ломтики яичного печенья, они рассыпались у нее в глазах. И еще она помнила, что ни в коем случае нельзя спать. «Говорят, если на морозе уснешь — то уснешь навсегда». А ей этого нельзя никак.

Вдруг — Арья увидела — из подъезда вышел отец. Она даже очнулась от забытья. Показалось? Но нет, это точно был отец, и он двигался в ее сторону.

Отец прошел до середины двора и крикнул, озвучив двор ее именем. Арья вздрогнула, непроизвольно отшатнувшись назад.

На голос отца отозвались сидящие в сарае собаки. Щенок тоже принялся жалобно поскуливать.

— Тише, малыш! — почти вжимала его в себя Арья.

Отец, обойдя стороной собачьи сараи, словно почувствовал что-то. Подошел ближе, к самой лестнице. Взялся за нее рукой...

— Арья! Ариадна!

Арья замерла, кажется, даже перестала дышать.

— Тише, малыш.

Отец, очевидно, все-таки услышал. Подняв голову... Арья почти опрокинулась назад и все же увидела: рука отца взялась за лестницу.

Арья торопливо оглянулась: спрятаться было негде. Лестница закрипела — отец начал подниматься...

С Валеркой творилось что-то невообразимое. Давно пора было уснуть, но он почему-то не мог — ворочался в темноте, то с жаром загребая подушку, то спихивал ее на пол. Когда сон наконец пришел, поздний и тревожный, вдруг словно кто-то крикнул ему в ухо:

— Арья!

Он дернулся и проснулся.

— Кыш, тебе говорю, кыш! — Мать гоняла по комнате голубя.

— Что случилось?

— Да вот, залетел в форточку! И откуда взялся?

Валерка тупо смотрел на мечущуюся по комнате птицу.

— Но как же он залетел? Форточка же была закрыта.

— Так вот, — размахивала мать полотенцем, — открыл как-то. Я слышала — долбился, только не понимала, откуда звук.

Валерка присмотрелся внимательней.

— А голубь-то белый, почтовый!

— Наверное, весть какая-то! — открыв форточку, мать выпустила птицу наружу.



© Дудякова Анна, 2011 г.

«Арька!» — что-то кольнуло Валерку внутри.
«Что случилось с тобой, Арька?»

Поднявшись на несколько ступенек, отец крикнул:

— Аря! Ариадна!

Арька целиком припала к щенку, будто он, такой маленький, мог ее защитить.

— Тише, малыш!

Ступеньки поскрипывали все ближе. Вот уже совсем близко! Арька откинулась назад.

Но вдруг, когда она уже почти смирилась с неизбежным, отец, так и не поднявшись до конца лестницы, почему-то принялся спускаться.

Не веря, Арька ослабила ладонь, зажимавшую мордочку щенка:

— Тише, малыш!

Отец, спустившись, снова пересек двор, подошел к подъезду... И, еще раз оглянувшись, ушел.

Они снова остались вдвоем со щенком.



Окна квартиры начали гаснуть. Сначала погасло окно кухни, потом окна обеих комнат.

Арья так много пережила, она так долго была одна в этот вечер, в эту ночь, и так устала, что все чувства в ней притупились. Периодически, не выдерживая, она забывалась, закрывая глаза, а когда открывала — не понимала: где она и что происходит? Отчего ночь, и холод, и чердак? И неужели все это правда и все происходит с ней? Но ощутивazole сердца подрагивающего щенка, понимала, что не сон вся нелепость эта чердачная.

Чтобы отвязаться от ощущения полуреальности и не дать себе заснуть, принялась петь, повторяя как заклинание: «Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Ведь был солдат, ведь был солдат...»

Ночь, казалось, не кончится никогда, и что за странная способность ночи не кончаться? Все предыдущие ночи пролетали так быстро, в один миг, а эта, как назло, тянется, и сколько же она, интересно, еще будет тянуться?

«Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел — ведь был солдат, ведь был солдат...»

Мысли путались: то вдруг перед ее глазами возникла мать. Закрывая лицо, она кричала: «Оставь ее, изверг!» И зачем нужно было это матери, ведь наверняка сама же его и подговорила. А теперь кричит, и плохо Арьке от крика ее. Но Арья понимает: ей тоже больно. Так же, наверное, как Арьке, когда били ее Валерку. Значит, теперь пришла очередь матери, и Арья жалеет ее почему-то. Как будто сама она, Арья, вынести может все, а вот мать — она не может, слабая она, потому что — мама.

«Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный! Ведь был солдат, ведь был солдат...»

Арья и теперь не осуждала родителей, какой-то внутренний голос говорил ей: «Что ж, других не будет, воспитывают, как умеют». Просто раньше ей все время хотелось им что-то рассказать, объяснить, чтобы они поняли. Но теперь уже ей ничего не захочется им объяснять. Они — родители, и, видимо, таков Аркин крест — иметь таких родителей. С этим-то она как-нибудь справится, но только родители эти сегодня стали ей чужими. Как говорят, отрезанный ломоть. «А он, судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал, и все просил: огня, огня, забыв, что он бумажный! Забыв, что он, забыв, что он... забыв, что... забыв...»

Холод становился все нестерпимей, просто холодом его уже и назвать было нельзя. Он пересиливал даже боль. Особенно нестерпим он был в этом чер-

дачном проеме: Арья оказывалась здесь прямой мишенью для ветра. Но уйти она не могла — теперь ей нужно было дожидаться, когда окна зажгутся снова.

«Еще полчаса, потом еще полчаса и снова полчаса. И кончится ночь, и навсегда закончится эта бесконечная ночь. Главное не спать, только не спать...»

Но ночь, несмотря на Аркины уговоры, и не собиралась кончаться. Промежутки между бредом и явью становились все короче. Проникая в каждую клеточку, холод устраивал ломоту и ее сознанию. Ей так хотелось тепла, кажется, она даже забыла, какое оно — тепло? Желание тепла было таким сильным, таким невозможно сильным, что Арья и сама не поняла: откуда взялась эта большая комната? Посреди комнаты стояла кровать с веселым цветастым покрывалом. И от этого покрывала и от стен во всей комнате было светло, радостно и уютно. Но радостно было еще и потому, что просто было тепло. На столе, тонко позванивая, словно переговариваясь между собой, стояли чашки из тонкого прозрачного фарфора...

Арья вспомнила: чашки эти подарил маме на день рождения отец. Целый набор, целый сервиз чашек, со сливочником, сахарницей, заварным чайничком. Как же славно смотрятся эти хрупкие чашки с тонко прорисованными цветочками на большом круглом столе, покрытом белой скатертью! Белые чашки на белой скатерти. Ах нет, пусть не белой, только не белой, белое — это что-то холодное, как снег, пусть лучше будет тоже — цветной, теплой, как поле или луг, или желтой, как песок на море. Арья ведь помнит, она была с мамой на море. У них даже есть фотография, где они стоят под ручку в воде. Ощущение такое, что стоят где-то далеко в море, а на самом-то деле — возле самого берега. Они смеются, потому что брызги летят им в лицо, а купальники на них одинаковые, только на ней, Арьке, он сидит кое-как, топорщится пузырями, а у мамы все хорошо, ладно и красиво, и волосы у мамы пушистые... Красивая она, ее мама.

Но только — где она, Арья, и где оно — море? Море тут ни при чем. И ни при чем тут мама. Совсем другая у нее теперь мама, совсем не та. Та была веселая, и глаза у нее были веселые, та мама любила Арку, а эта хочет, чтобы ее избивали. Она хочет, чтобы Арья была чужой и бездомной, как этот щенок, значит, это и не ее мама вовсе. Мамой была та, а это просто другая, похожая на нее женщина с вечно недовольным сердитым лицом.

Но при чем тут обе эти женщины вообще? Арьке хочется чаю, горячего чаю! Она даже видит, как шлепается о донца чашек кипятки, как позвякивают, мешая сахар, тоненькие мельхиоровые ложечки: «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь...»

Ах, это не ложечки, это звенит что-то другое: дзинь-дзинь, хруст-хруст. Дзинь-дзинь, хруст-хруст... А может, это звенят хрустальные подвески люстры на потолке в ее комнате? Дзинь-дзинь, хруст-хруст... Нельзя спать, нельзя, если она уснет — уснет весь мир. И мама тоже уснет, а Арья любит ее — эту чужую женщину с холодным лицом, она любит ее несмотря ни на что.

Но почему так трескаются чашки? Они из тонкого фарфора, эти чашки, достают их только по праздникам, значит сегодня, наверное, праздник. А они трескаются, как ветки на морозе: хруст-хруст, дзинь-дзинь... Как холодно, должно быть, этим чашечкам — таким тоненьким, таким хрупким, таким беззащитным...

«В огонь? Ну что ж, иди! Идешь? И он шагнул однажды, и там сгорел он ни за грош: ведь был солдат бумажный!»

Глава 11

Когда Арья появилась утром дома, никто не сказал ей ни слова. В квартире даже стены казались сделанными из холодного мрамора. Но если даже кто-то и попытался бы ей что-то сказать — она все равно бы не услышала.

Она забыла, что когда-то была живой, еще вчера она была живой и теплой, а сегодня вымерзла насквозь. Она еще ходила, передвигалась, но комната казалась стеклянным кубом, звуки отскакивали от стен и звенели в пустоте. В сознании плавился огненный шар, он заполнял ее целиком, словно доказывая ей, что она еще существует.

«Хочу чая, горячего чая, чая с лимоном, целую ванну чая». А это что? Постель? Настоящая постель? Неужели ей дали постель — какое незаслуженное счастье! И какая, оказывается, теплая белизна у этой постели. Но какое же это счастье, настоящая постель! Больше ведь ей ничего и не надо. Но зачем, бр-р-р, какая гадость, зачем мучают ее снова, зачем суют ей под мышку этот замерзший ледяной сучок? Ах, это градусник, нет, это замерзший ледяной сучок.

И зачем смотрят на нее, зачем качают головами, зачем говорят про врача... Ах, они не могут вызвать врача, ну конечно же — не могут. Иначе пришлось бы объяснять, откуда взялось у нее такое лицо и такое тело, непонятное какое-то, чужое тело. И что делать ей с ним? Не повернуть его, не устроить поудобней.

Но зачем они стоят над ней, зачем перешептываются, зачем качают головами эти чужие люди с такими знакомыми лицами? Она совсем не хочет их видеть, она не хотела попадать сюда. Это все он, сторож, и зачем он только привел ее?

Оказывается, это он стучал: дзинь-дзинь, хруст-хруст. Он мел своей метлой смерзшиеся листья. Он и ее, наверное, принял за такой же смерзшийся листок. Он просто услышал щенка, иначе зачем бы ему было подниматься? Но он поднялся и тряс ее и шлепал по щекам. А ей так не хотелось просыпаться. Ей снился сон, теплый сон, и ничего ей было уже не нужно, ничего не хотелось, кроме этого теплого сна.

Но сторож привел ее сюда и сразу же хотел побежать за скорой. Но они сказали: «Не надо, мы сами вызовем. Не надо...»

И сторож пожал плечами и посмотрел на нее... Так посмотрел — Арье, после этого его взгляда, вдруг захотелось, чтобы он остался, и не надо ей никакой скорой. Просто бы посидел с ней, посмотрел на нее так, подержал свою руку возле лба. Но отец зачем-то увел его на кухню. Они о чем-то там говорили, а потом сторож ушел. Ушел торопливо, словно сбежал, и унес с собой этот единственно теплый взгляд.

И вот теперь они стоят над ней, стоят и смотрят. Переговариваются. Но нет у них и в помине такого взгляда. Арья слышит, они говорят что-то про врача. И она думает: может, у врача тоже будет такой взгляд, пусть вызовут врача. Но они качают головами: нет, они не будут вызывать врача, ей не нужен врач, пройдет и так. Да, конечно, зачем врач, разве сможет он понять, что стало с ее лицом, с ее опухшим лицом в синих подтеках? Они, наверное, сказали бы: девочка упала. Интересно, с какой высоты надо падать, чтобы заработать себе такое лицо и такие руки.

Арья поднимала их к глазам и видела прозрачную хрупкость кожи, еще больше оттененную белой постели. Белой, прохладной по сравнению с горячей щекой была и подушка. Когда вмятина от горячей щеки нагревалась, Арья передвигала голову. Белой, несравненно белой была и простыня, и перинная мягкость одеяла словно дана была ей в награду за пережитый кошмар ночи.

Вот это единственное, чего ей сейчас и хотелось. Она никогда не думала раньше: какое, оказывается, это блаженство — лежать и лежать, раз и навсегда налегаться, и чтобы никто не трогал ее, не приставал. Ну что может быть лучше белого постельного покая...

Дни проходили за днями, но лучше ей не становилось. Бред продолжал мешаться с явью, по ночам ее снова засасывала черная дыра чердака.

Арья лежала в комнате одна, а за стеной шла жизнь. Там — разговаривали, ели и пили, делали какие-то дела, приглушенно работал телевизор. Ее же здесь будто не существовало. Нет, о ней вспоминали, приносили поесть, ставили у изголовья чай,



выдавали лекарство, не забывали спрашивать про температуру. Арья отвечала на все вопросы добро-совестно, но, казалось, за всем этим сквозят холодность и равнодушие.

Лишь однажды, когда дело уже пошло к выздоровлению, мать сказала ей, зайдя в комнату:

— Вовремя ты умудрилась заболеть! Ну ничего, поправишься... — она не договорила.

И это было самое теплое, что смогла Арья от нее услышать.

Глава 12

Когда Арья поправилась совсем, мать сказала, точнее, известила ее:

— Сегодня после школы никуда не уходи. Нужно сходить к врачу, показаться после болезни. Я пойду с тобой, номерок возьму по пути на работу.

И когда Арья появилась дома, мать, качнув головой, произнесла как-то особенно торжественно:

— Переоденься. К врачу надо ходить во всем чистом.

Арья вошла в комнату: там на кровати лежало благоухающее чистотой белье. У Арьи даже защекотало в носу от его свежести.

«И как это у нее выходит — у меня бы ни за что не получилось!» Заботливая все-таки у нее мать, хоть и ругается, но кто еще позаботится, если не она. Вот и к врачу с ней идет, и белье чистое приготовила, по-своему хочется ей, чтобы все у Арьи было хорошо. И поход этот к врачу совместный тоже неспроста. Хочется ей как-то загладить перед Арькой вину, да только гордость ее, фамильная, прабабушкина еще, польская гордость, не позволяет. Вот и придумывает она что-то.

Они долго шли сквозь унылое однообразие блочных домов, чуть припорошенных первым белым налетом. Пока Арья болела, поправлялась — наступила зима. Улицы обтянулись снегом, который, падая, тут же тускнел, выравнивался, становясь скучно-городским с налетом легкой гари.

Идти, оказывается, надо было всего к одному врачу. Очередь оказалась длинной, и они сели в самом ее конце.

Очередь показалась Арьке немного странной: вся почему-то состояла из одних женщин, некоторые из них были с круглыми, выпирающими животами, словно прятали под платьями детские мячики. Сидели эти женщины на стульях прямо, как статуетки.

— Почему их здесь так много? — спросила Арья у матери. — Они что — тоже все заболели?

— Наверное, — чуть смутившись, пожала плечами мать.

Когда подошла Арькина очередь, мать почему-то заволновалась, и это тоже приятно убедило Арьку что она за нее переживает. Возле двери мать замешкалась — заходить ей или нет, но врачиха, сидящая за столом, вежливо улыбнувшись, кивнула матери. Арья немного удивилась: врачиха будто знает мать и знает, что они должны прийти.

— Мы сами разберемся, самостоятельно, — сказала она и весело посмотрела на Арьку, когда за матерью закрылась дверь.

Врачиха вообще была веселой, она защекотала и, приказав Арьке раздеться, стала что-то записывать в тетрадке.

Когда, как обычно, раздевшись сверху до пояса, Арья сказала: «Готово!» и встала, обжимаясь в неловкости, врачиха, посмотрев на нее, вдруг принялась смеяться. Арья удивилась. Ей непонятно было, чему врачиха смеется, — ей показалось, она, Арья, сделала что-то не так. Она принялась придирчиво оглядывать себя.

А врачиха, продолжая посмеиваться, покрывала Арькину и без того пузырящуюся кожу мурашками неловкости. Но когда отсмеялась, глаза ее неожиданно подобтели, и она спросила:

— Тебе что, мама не сказала, к какому врачу вы идете?

Арья посмотрела с недоумением.

«Как к какому — к обычному, — говорил ее взгляд. — К самому обыкновенному врачу, который выслушивает, выстукивает, прикладываясь холодной металлической трубкой, неприлично залезает ложечкой в рот, заставляя высовывать язык». Ведь она же — болела! Чего тут спрашивать! Должен же ее хоть после болезни осмотреть врач!

Но врачиха посмотрела на нее опять как-то не так, и во взгляде ее сквозило грустное сожаление. Но потом, переведя взгляд на дверь, она сказала, и голос ее прозвучал уже не так беззаботно:

— А теперь — наоборот: все, что сняла, надень, а все остальное надо снять. Я должна тебя осмотреть.

Арья так ничего и не поняла. Что же это за врач такой, которого совсем не интересуется ее здоровье? Ведь она же — болела! Столько времени! Чихала, кашляла, лежала с температурой, а ее не хотят даже послушать! А вместо этого предлагают... Вообще что-то непонятное!

Арьке казалось, врачиха что-то перепутала или пошутила — вон ведь она какая веселая! И Арья продолжала стоять болванчиком.

А врачиха вздохнула, но от слов своих отказываться не собиралась.

— Я тебя только осмотрю, больно не будет, — снова с мягкой настойчивостью повторила она. — Давай забирайся вон туда...



© Дудикова Анна, 2011 г.

И она указала взглядом куда-то за занавеску.

Только тут Арька увидела: там, отгороженное от посторонних глаз, скрывалось что-то... Тяжелое, громоздкое, напоминавшее собой кресло для пыток. Примерно такое она видела недавно в фильме про инквизицию.

Все вздрогнуло у Арьки внутри: что еще они хотят с ней сделать? Неужели мало? Мало того, что устроил отец, мало ее ночи на чердаке, ее болезни? Теперь они хотят пытать ее и дальше, приобщив заодно и эту веселую врачиху! Неужели же все сговорились? И будут изводить ее и изводить, пытать и пытать, пока не изведут совсем? А если с ней что-то случится на этом кресле? Об этом, наверное, никто и не узнает! Значит — веселая врачиха с ними заодно? А может — они ей заплатили? И Арька, которая смогла вынести столько всего, которая смогла убежать ночью от отца, наконец-то попала в их сети. С болью и тоской смотрела Арька на расположившую ее вначале к себе врачиху. Никому, оказывается, нельзя верить, никому!

А врачиха тоже смотрела, словно пытаясь прочесть что-то по ее глазам, и, кажется, прочла. И, вздохнув, сказала:

— Ну ладно, не надо туда, разденься хоть, я тебя так осмотрю.

Но Арька, натянув на себя одежду, стояла как вкопанная. Она лучше врачихи знала, что осматривать тут нечего, осматривают только сверху, и незачем ей придумывать предлоги для своих пыток.

Врачиха тоже начинала терять терпение, не зная, как себя вести. Она, собственно, уже и так все поняла по глазам этой девочки, но за дверью ждала мать, которой она пообещала. Может, она даже прислушивалась к их разговору. И врачиха, досадуя на себя, сострадав этому еще совсем юному существу, все-таки была обязана выполнить свой врачебный долг.

Когда Арька вышла, мать зашла к врачихе сама. А когда вышла обратно, лицо ее сияло от счастья.

Но Арьке было уже все равно. Ей не было больше дела до ее счастливого лица. Ей стало настолько все равно, что если бы они придумали еще новую порцию пыток, она бы уже ничему не удивилась. Поняла она только одно: в своих изощрениях они пойдут до конца. Будут пытать ее и пытать, пока не изведут совсем.

Арька не знала, что там сказала матери веселая врачиха и почему у нее такие счастливые глаза. Продолжая нести в себе праздник, мать поглядывала на Арьку с какой-то забытой нежностью. Но Арьке уже не нужна была ее, такая нужная раньше, нежность. Ей стало все равно, что эти люди, эти «родители», еще смогут ей сделать. Она уже не ощущала их «родителями» — чужие комнатные растения.

Для себя она все уже решила.



Глава 13

А вскоре в ее квартире появились друзья, шумной ватагой взойдя на порог, и отец буркнул на кухне захлопотавшей матери:

— Явились, арзамасцы новоявленные.

Они огласили тесную прихожую вспархиванием юных голосов, своей кажущейся неволнительностью, хоть Арька знала, что предшествовало их появлению. Как не сразу, не вдруг согласились они на этот визит.

И родители тоже, словно почувствовав что-то, может, по Арькиному праздничному настроению, по ее веселой суете, захлопотали как-то уж слишком. Замелькали в воздухе чашки, зажурчал кипятилок, и мать уже говорила извинительно:

— Не знали мы, что столько гостей пожалует. Даже и угостить нечем.

— Ну что вы, — булькала в ответ Гелька. — Все прекрасно, все просто замечательно. А варенье вообще прелесть! — и нажимала на клубничное.

А родители, обволакивая Арьку маслянистостью взглядов, пододвигали гостям угощение:

— Если вы насчет Ариадны, так у нас уже все нормально. Мы пришли к единогласию, ее не обижаем. Не такие уж родители изверги, ну а если что и бывает, так в какой семье гладко, нету таких семей.

А Гелька знай себе варенье подкладывает, а разговор как кружево плетет, и все-то по этому разговору гладко у нее получается. А получается, что понимает она родителей, верит каждому их слову, а Арька, получается тогда, врунья, и все ее претензии к родителям пустое. Наплела, значит, с три короба, а родители-то ее любят, оказывается, души в ней не чают.

И хочется крикнуть Арьке: «Не верьте, ни одному слову их не верьте, врут они все, и глаза их врут, и губы!»

Но Гелька ее взглядом назад отбивает: «Молчи, Арька, молчи. Не встрывай раньше времени». И замолчала Арька, сидит, глаз от скатерти оторвать не может, крошки в одну кучку пальцами сгребает.

А Гелька кружево свое дальше плетет, а сама знай каждую минуту родителям поддакивает. И расслабились они, не замечая, что готовы уже Гелькой раскинутые сети.

— Вот и получается, уважаемые Азалия Ивановна и Николай Степанович, что лучше пожить вам пока с Арей отдельно, со стороны посмотреть на ситуацию. Может, тогда и она вас лучше поймет, и вы что-то по-другому оценить сможете. Ведь лицом к лицу, сами знаете...

Арька сидит ни жива ни мертва. Как она, Гелька, вежливостью берет. И нечего вроде сказать родите-

лям, нечем ответить на Гелькину благовоспитанную речь. Хотя видно по лицам, досада их берет, самолюбие уязвленное, да только виду не подадут. А что касается Арьки — все крошки она уже перекрошила и не знает, куда себя деть.

— Пусть поживет пока у людей хороших, надежных, ей только на пользу пойдет, да и вы отдохнете. Так, может, и решатся ваши проблемы путем разумного компромисса, — завершает Гелька свой тонкий дипломатический ход. — А варенье вкусное у вас, просто замечательное варенье. У моей мамы такое не получается, все, наверное, зависит от сорта клубники. Вы какой сорт выращиваете?

— Да какой... обыкновенный, садовый... — машинально отвечает мать.

И видит Арька, как рдеет на ее щеках румянец обиды незаслуженной. Не привыкли они к эдаким политесам, с Арькой-то одной куда проще: хватить отец кулаком по столу — и разговор короткий. А тут и нехватишь — как-никак представители прессы. Шуму потом не оберешься, назовут еще «самодурами семейными, издевающимися над душой юной». И пойдет позор по всему городу: ославят так, что на улице, на работе не покажешься.

А отец сидит, от собственной насильственной вежливости корежится, улыбку на уши натянул и думает про себя: рассказала она или нет про тот случай, когда он ее ремнем для профилактики оттягивал? Ух и надоела ему эта вежливость: рывкнул бы сейчас — вмиг с места бы всех сдуло. Так ведь поверят тогда и вправду в зверство его, Арькиным рассказам поверят!

— Что ж, если вы так считаете... Но давайте мы лучше саму Арю спросим — обижаем ли мы ее, пусть ответит, пусть! — нажимает мать.

И многое слышится Арьке в этом «пусть», что другим слышаться не может. Словно подставляет она Арьку, чтобы ей же потом и бросить в лицо: «Что же ты, дочь родная, от родителей своих отрекаешься, какая же ты дочь после этого?»

И молчит Арька, горло узлом перетянута, не может она им этого сказать. А мать с отцом еще больше стараются, жмут, как под прессом. И только одно у Арьки: не посмеют они ее всерьез при друзьях обидеть.

— Так что же ты молчишь? — давит отец мощью голоса. — Ответь при друзьях своих, обижаем ли мы тебя, бьем, притесняем, жить не даем?

А в Арьке все словно кипятком полито, не может она им своим обожженным горлом крикнуть: «Да, да! Все правда, все!» Но именно потому, что правда, — и не может. Пусть сами думают что хотят, уйдут, оставят ее — все равно сбежит, жить она здесь больше не может!

— Отвечать не хочешь? Значит — пусть мы перед друзьями твоими извергами выступаем?

А мать, продолжая горестно покачивать головой, говорит, смиренно поджимая губы:

— Пусть Аря сама скажет, что хочет от нас уйти. Я хочу, чтобы она сказала это сама.

И Арья, понимая что деваться некуда, сжав зубы, процедила с вежливостью, достойной самой Гельки:

— Я думаю... Права Геля, так сейчас лучше будет, нам всем — лучше.

И силы ее словно оставили, а в душе легкое разочарование: сказала — и ничего не случилось, и мир не обрушился.

Но у матери всю терпимость с лица будто сдуло:

— Ах вот как, значит, не нужны уже родители, вот она, дочерняя благодарность, мать родная не нужна стала!

А Арья бочком, бочком, сумку скорей укладывать, а сама подмигивает: «Вы уж меня не оставляйте, надо, чтобы с вами я ушла, с вами!»

И услышали родители — стены-то кругом не казенные, все что надо выдадут, — губошлеп их, верзила великовозрастный, шепнул кому-то в тесноте прихожей:

— Ну и довели Арьку, никогда ее такой не видел!

И ушла она, Арья, из дома родного, увел ее выводок желторотый. Ушла, сама не зная, что ждет ее впереди. Только глаза ее весельем праздничным подрагивали — шла, будто свободу обретала. Будто и вправду можно обрести ее, покидая землю обетованную, дом родительский.

И началась для Арьки жизнь другая.

Летела она в нее, подмахивая легкими невидимыми крылышками за спиной. Все старое, прошлое, оставляла она позади.

Поселилась она в доме своей подруги Галки. Подруги еще достройотрядовской, с которой они совпадали тайными областями душ. Именно Галка и привела ее когда-то в «Товарищ».

Галка жила с отцом в небольшой двухкомнатной квартире в двух автобусных остановках от Аркиного, теперь уже бывшего, дома. В своей недолгой жизни она уже пережила трагедию, которая лежала отпечатком на ее почти всегда грустном, со всепонимающей улыбкой Арлекино лице. Трагедия была связана с потерей мамы, и теперь Галкино лицо, и глаза, и душа словно опустились на ту глубину понимания, постичь которую может только переживший. Даже когда она смеялась, глаза ее все равно оставались грустными. Но Галкин отец делал все возможное, чтобы смягчить остроту потери.

Галка с отцом жили в атмосфере понимания. У них были общие интересы, темы для разговоров, общие дела и друзья, вместе они куда-то

ходили, смотрели и обсуждали фильмы, и вообще казалось, что и сами они тоже друзья. Не вписывались они в общепринятый контекст отношений «отцы — дети». И поэтому до Галки не доходило, как это родители могут не понимать собственных детей. Кажется, это так просто и естественно, по-другому и быть не может. И теперь казалось так же естественно, что ее отец поймет и Арьку.

Арья поселилась в доме на правах сестры-подруги.

Вставая, по утрам вместе они пили чай, потом отец уходил на работу, а они, торопливо покидав учебники в сумки, тянулись на занятия. Благо школа находилась рядом с Галкиным домом.

Арья не говорила даже Эдуарду про перемены в своей жизни. Он спрашивал: «Как дела»? А она кивала торопливо, бросала «нормально!» и спешила проскочить мимо. Зачем ему знать, хотя, может, по глазам ее он о чем-то и догадывался.

После школы, закинув «домой» сумку, Арья спешила по делам, которых накопилось вдруг бесчисленное множество. Она навещала забытых за время болезни тетю Лиду с Валеркой. Порой засиживалась у Катьки или еще у кого-нибудь, ходила на «среды». Никто не контролировал ее теперь, она могла свободно распоряжаться своим временем. Порой она просто подолгу бродила по городу, ведь спешить особенно некуда, но все же — старалась приходить не поздно, соблюдая правила, установленные в семье.

Конечно, чужой дом не мог заменить дома родного — хотя все было и хорошо, но все равно что-то не так. Не те были запахи, и порядки другие, и все как-то иначе. Но что такое «дом родной», Арья уже перестала понимать и поэтому всю пользовалась отпущенной свободой. Вот только странно: чем больше появлялось у нее возможностей, тем меньше была жажда их осуществления. Когда за спиной оказался дом, где на Аркину свободу никто не претендует да по-настоящему никто и не ждет, незаметно начал пропадать и вкус этой самой, так остро ощущаемой ранее, свободы. Станным показалось это и самой Арьке. Не с кем стало ей бороться, не перед кем утверждать себя.

По вечерам, лежа в постели с цветастым пододеяльником, она подолгу не могла уснуть — ей все чудилась теплая белизна своей постели. Вырисовывался в темноте старинный комод, стоящий у ее изголовья с младенческих лет. Видела она и сидящих на нем потрепанных, но дорогих сердцу кукол и медведей. Оттопыривалась, словно отдавая честь, перекошенная настольная лампа — древний «грибок», весь испещренный царапинами от ее ногтей.



И Арья ворочалась, покорно отсчитывая «словнов», и пропадал в никуда ее сон. Она вставала потру усталая и разбитая, словно выжатая гостеприимной, но чужой ласковостью цветастой постели.

...А еще через несколько дней вечером в квартире раздался звонок.

Звонок был какой-то резкий, будто ненастоящий. Дзинькнула и тут же замерла кнопка, словно испугавшись собственного звука.

Галкин отец сидел перед телевизором. Вибрировал экран, передавая последние новости. Галка в соседней комнате делала уроки, и Арья, подскочив, бросилась к двери:

— Сидите, я открою.

Выйдя в коридор, она повернула ручку замка, и — отпрянула.

За дверьми на пороге квартиры стоял... отец. Ее отец!

Глаза дернулись в недоумении: Арья была уверена — родители не знают, где она живет!

Арья напряглась, испугавшись, что сейчас он по привычке схватит ее за руку, поволочет за собой. Устроит при Галкином отце какую-нибудь разборку.

Но потом, разглядев какой-то другой его вид и услышав голос, непривычно сбивающийся, отступила, сделав шаг назад. Отец, казалось, был растерян не меньше — вряд ли он ожидал, что дверь откроет именно Арья.

— Мне бы... — пробормотал он этим новым, сдавленным голосом. — ...с отцом Галиным поговорить. Можно я войду?

Арья, зная, что все и везде он привык брать нахрапом, смотрела с удивлением. Этот другой мялся на пороге, словно боясь, что его не пустят. И, почувствовав себя хозяйкой положения, Арья чуть отступила в сторону:

— Сейчас, я спрошу.

И она не предложила ему пройти.

— Там... К вам пришли, — войдя в комнату, отводя взгляд, выговорила она.

Несколько удивившись, но оторвавшись от телевизора, Галкин отец вышел в прихожую.

Какой там состоялся разговор, Арья не знала. Они постояли в прихожей, потом Галкин отец пред-

ложил гостю пройти на кухню, и уже там, при закрытой двери, они продолжили разговор.

Арья сидела на диване, зажав коленями ладони. Она почти не слышала того, что говорила ей Галка.

— Подожди, — успокаивала она. — Все образуется, вот увидишь!

Но Аркино сердце ныло: «Неужели, неужели все?»

Сейчас, при виде отца, она поняла — как она не хочет! Не хочет она возвращаться! Видеть его она не хочет! Оказывается, ни капли она по нему не соскучилась, даже наоборот. Только начала затягивать свои раны.

— Не паникуй раньше времени! Не знаешь ты моего отца! Он все уладит! — успокаивала ее Галка.

— Зато я знаю своего! — и Арья нервно продолжала сжимать ладони.

А когда к ним вышел Галкин отец... Арья все поняла сразу: никто и никогда не сумеет противостоять ее отцу.

А Галкин отец, в неловкой виноватости отводя взгляд, говорил:

— Ты только пойми меня правильно: я не отказываю тебе от дома, мы с Галей всегда рады видеть тебя! Но ты и их пойми, хотя бы постарайся понять. Они ведь твои родители. Горько им, что дочь ушла из родного дома и скитается по чужим углам. И они... Они просят у тебя прощения. Признаются, что в чем-то были неправы. Обещают впредь не ограничивать твоей свободы, признавать за тобой право личности, независимого человека. Но уж и ты прости их. Вернись обратно.

Арья слушала, насупившись. А Галкин отец продолжал:

— Конечно, все это они должны были сказать тебе сами. Наделали ошибок — сами и должны исправить. Но — не могут они, стыдно им очень. Вот и получается, значит, что моими руками... А я уж тут ни при чем, по мне — живи сколько хочешь!

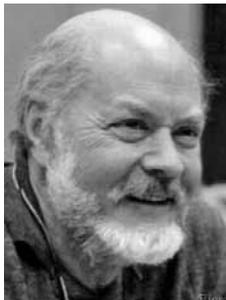
Ничего не сказала Арья, лишь книги в сумку запихала и поползла по коридору.

Увязали в дремучем снегу ее ноги, когда шла она под конвоем отца обратно домой.

Продолжение следует.



Лев АННИНСКИЙ



ФИС ГЮНТ

Да простится мне нелепость моего каламбура, но за полтора века существования драмы Ибсена его герой настолько прочно врос в головы интеллектуалов, взвешивающих судьбы человечества, что кажется чуть ли не патриархом в ряду его, человечества, потенциальных благодетелей. И норвежское имя его (Реег) уже воспринимается слегка на французский лад, а на русском получается — Папаша Гюнт. Дитя мудрой гармонии. Контактер, так сказать.

Но если своей великой музыкой Григ окончательно изъял папашу с поля боя и перенес в поле мировой гармонии, то ничего этого не хочет знать наш Марк Захаров, поставивший спектакль «по мотивам» Ибсена — на той самой сцене, с которой велено было когда-то учиться и учиться неуемным русским революционерам, так что до сей поры не вполне ясно, чему же они наконец научились и чему может научиться у них доверчивое человечество.

Спектакль «Ленкома» выдержан в современной сценографии. Массовые танцы отдают гимнастикой брейк-данса, бедуины и бедуинки будят мысль о транссексуальности, идеологи знают, что идеи сдохли, облапошенные ими тролли уверены, что живут в раю.

Очередной благодетель является не в облике авторитетного папаша пуговичных времен, а в облике современного юркого прохиндея, сынка (внучка-правнучка) и наследника, крайнего в ряду таких же ловких благодетелей человечества.

— Мерзавец! Враль! Обманщик! — предупреждает нас его мамаша прежде чем покрыть его честную физиономию поцелуями.

Честно говоря, обманщик не знает, что ему делать. Но знает, что основы надо сотрясать. Иначе как о себе заявишь? Ему говорят, что он взбесившийся козел. Он отвечает, что бесится для того, чтобы жизнь народа стала лучше.

И ему верят! Потому что перед ним дураки, доверчивость которых используют прохиндеи. Дураки в родной деревне. Дураки во всем мире. На Западе и на Востоке. Везде.

Марк Захаров мучительно думает над тем, куда нас всех отнести на квадратах шахматной доски, где история оставила гулять лишенное разума человечество.

Человечество неисправимо?

Да. Но другого нет.



Дмитрий ТАРТАКОВСКИЙ



Профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Дмитрий Федорович Тартаковский по праву считается одним из старейших ученых-метрологов России. Вот уже пятьдесят семь лет его трудовая деятельность связана с вопросами метрологии и измерительной техники.

Дмитрий Федорович родился в 1930 году в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с родителями был эвакуирован в Башкирскую АССР. Познал все трудности военного и послевоенного времени. Среднюю школу окончил в Новгороде в 1948 году. После окончания в 1953 году Ленинградского института точной механики и оптики был направлен на Витебский завод электроизмерительных приборов. Здесь он приобрел первые навыки производственной деятельности и руководства производственными коллективами, пройдя путь от мастера бригады слесарей — сборщиков приборов до начальника ОТК завода.

С 1957 по 1960 год работал ведущим инженером КБ «Термоприбор» во Львове, где получил опыт конструкторской и исследовательской работы. В этот период он опубликовал первые научные труды и получил первые авторские свидетельства на изобретения.

В 1960 году Д. Ф. Тартаковский возвратился в Ленинград и поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева. После окончания аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук был оставлен для дальнейшей работы в институте и последовательно занимал должности от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. Значительное место в работах Д. Ф. Тартаковского в этот период уделялось разработке специальных комплексных научно-технических проблем. Он стал

одним из ведущих ученых-метрологов в области температурных и гидрофизических измерений.

В 1975 году Д. Ф. Тартаковский защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук и в 1978 году избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой «Измерения в технике связи» Ленинградского института связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (ныне СПбГУ телекоммуникаций). На новом поприще он полностью использует и передает студентам и аспирантам свой богатый опыт производственной и научной деятельности. Ему присвоено ученое звание профессора.

За годы работы им опубликовано около 250 научных работ и изобретений, написаны учебники для высшей школы по метрологии и измерительной технике.

В 1991 году за заслуги в научно-педагогической деятельности Дмитрию Федоровичу присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». В 1992 году он избран академиком Метрологической академии.

В последнее время его научные интересы сосредоточены на вопросах получения и использования измерительной информации в юриспруденции и судопроизводстве. В своих монографиях, статьях и в прессе он пропагандирует важность и практическую значимость метрологических знаний для юристов в интересах защиты прав человека.

За успехи в научной, производственной и педагогической деятельности Д. Ф. Тартаковский награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», почетными знаками «За заслуги в стандартизации», «Почетный радист», «Изобретатель СССР», многими почетными грамотами. В 2006 году включен в энциклопедию «Лучшие люди России».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Пожалуй, первое, что отчетливо запомнилось из детства. Мне три года. Мы живем в поселке на торфоразработках под Ленинградом. Это недалеко от большого села Никольское. Там в больнице работает мама. Сейчас у меня корь. Днем я один: лежу в кровати, перебираю и рассматриваю карты. Незаметно уснул. Проснулся, открыл глаза. Комната почему-то пуста, а в четырех ее углах и в центре, уставившись на меня, стоят цыгане, одетые как вальтеры из карточной колоды. Из пола выступают только половинки их туловищ. Постояли, поглядели недолго, потом как бы растаяли в воздухе. Почему именно вальтеры, а не дамы или короли, объяснить не могу. Цыганами меня часто пугала мама, по-своему воспитывая при непослушании: «Вот придет цыган, заберет тебя».

Интересно, что аналогичное видение было мне в семидесятилетнем возрасте, когда я вечером отходил от общего наркоза в больничной палате. Только явились ко мне персоны уже рангом повыше: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин — рядком, как их изображали в профиль на плакатах СССР. Но ими-то меня никто не запугивал! Наверное, просто сказалось советское идеологическое воспитание. Продержалось это видение из вождей мирового пролетариата передо мной немного, а потом медленно превратилось в лицо красавицы медсестры, сказавшей: «Ну вот, проснулся. Я сегодня буду с тобой ночевать».

Уж вспомнив больницу, похвастаюсь, как мне удалось перевоспитать одну из пожилых сестер, делавшую больным уколы. Едва войдя в палату, она мчалась к больному, командуя: «Поворачивайся!» Еще не успеваешь как следует расположиться, а она с ходу втыкает тебе шприц пониже спины. Неожиданно и больно. В книге отзывов, куда перед выпиской меня попросили написать что-нибудь хорошее о больнице, этой сестре я написал:

Я к вашей технике уколов
Никак привыкнуть не могу.
Вы колете всегда с разбега,
Как будто в задницу врагу.
Мне ж по душе наоборот:
Когда сестричка подойдет,
Слегка похлопает, погладит,
Вниманье отвлечет и — всадит!

Критика подействовала. Когда вскоре я вновь очутился в этой палате, наша сестра превратилась в ангела. Ее уколы теперь не пугали и почти не ощущались.

Но вернемся к детским годам. Осенью 1934 года я впервые увидел дирижабль. Конец дня, закат. Ярко-алое небо над лесом, начинавшимся вдалеке на краю торфяного болота. И на фоне заката низко, медленно плывет огромный серебристый дирижабль. А на следующий день узнали, что ночью дирижабль наткнулся на высоковольтную линию и сгорел. Обгоревший каркас его гондолы еще долго лежал у самой тропинки, по которой люди добирались из Никольского до поселка.

Недавно в старой петрозаводской газете разыскал заметку об этой катастрофе. «У дирижабля “СССП-53” (“СССР-В7бис”), возвращавшегося в Гатчину из испытательного полета в Петрозаводск, закончился запас топлива. В течение нескольких часов воздушный корабль несло ветром в сторону Финляндии, и командир принял решение об аварийной посадке. Но в ночной темноте дирижабль зацепился за линию электропередачи. Погиб один из членов экипажа». Как рассказывала мама, этого человека привезли в их больницу: он пытался спуститься вниз по канату на крыши домов, но сорвался и разбился насмерть.

Еще проблеск, как моментальная фотография. Мне почти четыре года. Первого декабря 1934 года в Смольном убит руководитель Ленинградской партийной организации С. М. Киров. По-видимому, на следующий день мама держит в руках газету с большим портретом Кирова в траурной рамке. Газета перегнута пополам, так, что Киров виден мне вверх ногами. Мама плачет.

1935 год. Теперь мы живем в Никольском, в старом купеческом доме, набитом жильцами до отказа. Наша комната почему-то с зеркалами на потолке. Забавно. Лежишь на кровати и разглядываешь себя в полный рост. Мама иногда берет меня с собой в больницу. В больнице я брожу по коридорам, заглядываю в палаты. Бывает, что медики или больные угощают меня конфетами. В один из таких визитов иду по длинному больничному коридору. Неожиданно откуда-то сбоку появляется человек с черными перевязанными руками и черным блестящим



лицом, на котором ярко выделяются только белки глаз. Испугавшись, останавливаюсь. Человек направляется ко мне и что-то говорит. От страха я с ревом бросился бежать. Оказалось, что это был пострадавший при взрыве на расположенном неподалеку пороховом заводе рабочих. Обожженные лицо его и руки были покрыты толстым слоем черной ихтиоловой мази. Взрывы на этом заводе происходили часто, и, как рассказывала работавшая там мама родственница, их обычно объясняли вредительством каких-то непонятных мне «врагов народа».

Станция Поповка

С 1936 года обосновались в Поповке. Это станция Октябрьской железной дороги в тридцати километрах от Ленинграда. Родители нашли работу на стекольном заводе недалеко от Никольского. До завода добираются на «кукушке» (поезде из двух вагончиков, бегающем по железнодорожной ветке между Никольским и Поповкой) или пешком. Это километра полтора-два. Мама работает медсестрой в медпункте, папа — в заводууправлении. Наш адрес: улица Культуры, дом 1/3. Это рядом с железной дорогой, недалеко от станции. Улица прямая и длинная, тянется почти до Московского шоссе, проходящего параллельно железной дороге. Большой участок, в глубине которого стоит дом, огорожен невысокой металлической оградой. На участке множество высоких елей. По краям вымощенной плитняком дорожки от ворот — большие рябины, с верхушки одной из которых я однажды так грохнулся, что получил сотрясение мозга. Дом, в котором мы живем, — частный. Хозяйки — две немки по фамилии Бунзен, мать и дочь. Родители купили у них мансарду, состоящую из двух крохотных комнаток. Подниматься в мансарду нужно по крутой узенькой лестнице. На участке стоит еще многоквартирный двухэтажный дом и длинный ряд сараев, в которых жильцы хранят дрова, держат живность: кур, поросят, коз. Родители тоже завели козу. Я даже научился ее доить, когда оба бывали на работе. Но козьего молока мы попили недолго. Однажды ночью нашу козу украли.

В большом доме есть ребята моего возраста, с которыми мы играем и проказничаем. Проказы не всегда безобидные. Около станции — продуктовый магазин и шалман (так поселковые называли пивную). Недалеко сарайчик, где принимают утильсырье: тряпки, кости, бумагу и т. п. Сдав утиль, можно получить немного денег и купить мороженое или сладкую булочку в магазине. Потом кому-то пришла в голову простая мысль: зачем тратить деньги

на булочки, когда можно просто стащить их с прилавка. В магазине мелкие булочки навалом лежат прямо на прилавке, огороженные с трех сторон стеклянными стенками и сверху закрытые толстым стеклом. Действуем просто. Дождавшись, пока соберется очередь, несколько малолетних ворюшек создают толчею около прилавка, отвлекая продавщицу, другие, приподняв верхнее стекло, вытаскивают булочку. Конечно, каждому достается лишь по крохотному кусочку. Но ведь не это главное. Интересен и страшен процесс, нам хочется приключений! Потом, когда кому-то из «преступников» все-таки надрали уши, забаву пришлось прекратить.

Летом с нетерпением ждем появления в поселке продавца мороженого с его тележкой. Это бывает нечасто. Поэтому, услышав «мороженое, мороженое!», сломя голову несемся к продавцу. Мне кажется, что ничего вкуснее довоенного мороженого не было. Для расфасовки лакомства у продавца приспособление в виде неглубокого металлического стаканчика с подвижным дном и множество круглых вафель с вытисненными на них именами. Положив вафлю на дно стаканчика, он ложкой достает из бидона немного мороженого, кладет его в стаканчик и накрывает другой вафлей. Потом выдвигает доньшко вверх — и вот вам маленькая порция мороженого. Есть такое мороженое нужно, держа его двумя пальцами за вафли и понемногу облизывая по окружности. Иногда — какое счастье! — имя на одной из вафель совпадает с твоим! Стоило такое мороженое три копейки!

Помню свое первое изобретение. Мама часто дежурит в медпункте завода в ночную смену. Бывает, что и отец работает в ночь. Я остаюсь дома один. На улице темно. Лежу в кровати с наушниками, слушаю радио. Пора спать. Но перед сном нужно выключить в комнате свет: встать с кровати, дойти до выключателя и, выключив свет, в темноте бежать обратно! Мне страшно. И вот один конец толстой нитки я привязываю к выключателю, а другой — к большому пальцу ноги. Потом на кровати закрываюсь одеялом с головой и ногой дергаю нитку, гашу свет. Изобретатель!

Зимой хозяйки дома и мои родители отправляются за дровами в лес, начинающийся за железной дорогой. Пилят сухостойные деревья и на санках везут дрова домой. Я еще не хожу в школу и обычно упрашиваю взять меня с собой. И вот как-то в один из походов в лесу слышны выстрелы. Кто стреляет, не видно. Потом, переходя заснеженную поляну, увидели, что по ее краю ходит и что-то ищет охотник. Пройдя немного, наткнулись на убитого глухаря. Что делать? Ну не отдавать же его. Замаскировав птицу в санях, напилили дров, а вечером глухаря пригото-

вили и с удовольствием всем домом съели. А охотника я узнал: он работал в райцентре, часто ходил с ружьем и с собакой по окрестным болотинам, и все со значением говорили: это прокурор. Представляю, как обидно было прокурору! Судьба его оказалась трагической: незадолго до вступления немцев в поселок он был изуродован и убит уголовниками, выпущенными из тюрьмы.

В годы Гражданской войны в Испании на стороне республиканцев воевали советские летчики и другие военные. Конечно же, в глазах мальчишек это были настоящие герои. Помню, что я еще не ходил в школу, и однажды прибегает во двор кто-то из мальчишек:

— Ребята, у шалмана спит дядька с орденом! Пошли покажу.

Человек с орденом в то время был большой редкостью, и мы помчались. Действительно, на травке у дороги вблизи пивной отдыхает мужчина. На пиджаке у него прикреплен красивый орден (потом узнал, что это орден Боевого Красного Знамени). В орденах мы тогда не очень-то разбирались, но с таким красивым орденом — несомненно, герой! Как выяснилось позднее, это был летчик, незадолго до того воевавший в Испании. И вот мы тихонько подкрадываемся к спящему герою, присаживаемся на корточки и разглядываем орден. Хочется пощупать. Проходящие мимо люди почтительно обходят орденосца, тоже поглядывая на его награду.

Еще немного из довоенного детства. В первом классе я уже хорошо читал. Но особо чтением не увлекался, предпочитая проводить свободное время на улице, в играх с друзьями. Летом играли в пограничников, в «Чапаева». Когда в 1939 году началась финская война, мальчишки увлеклись стрельбой из «поджигалок». Толстостенная медная трубка, заклепанная с одного конца, крепится к деревянной рукоятке, и получается что-то похожее на пистолет. У заклепанного конца пропиливается небольшое отверстие — запал. Пороха у нас не было, и пистолет заряжали серой, соскабливаемой со спичек. Набив серой запал, поджигали его спичкой. Выстрел получался сильный — крупная дробина пробивала лист фанеры. С таким вооружением наши игры действительно были похожи на военные действия — крики «ура», стрельба, дым. Слава богу, что в этих играх не поубивали друг друга. Действовало железное правило — в человека не целиться.

Зимой большим удовольствием и даже героизмом было прицепиться на коньках крючком из толстой проволоки к проезжающим по дороге на большой скорости автомобилям. Замечу, что «большая скорость» для автомобилей тех лет не превышала тридцать километров в час.

Чтобы побудить к чтению, родители привели меня в библиотеку при доме культуры завода. По-видимому, детской литературы в библиотеке не нашлось, и женщина-библиотекарь убедила родителей взять для меня «интересную книгу» Н. В. Гоголя «о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Но терпения хватило прочитать в ней только несколько страниц, после чего дальнейшие отношения с библиотекой прекратились. А к чтению я пристрастился самостоятельно. Главную роль в этом сыграли «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.

Однажды на чердаке дома, роясь в ящике с хламом, я нашел книгу с оторванным переплетом. Тут же прочитал пару страниц. Показалось смешно. Дома всю книгу проглотил мгновенно. Позже, когда показал ее родителям, выяснилось, что она называется «Двенадцать стульев», но родители почему-то заволновались. «Где ты ее взял? Никому не говори, что читал ее, и не показывай!» Оказалось, что книга была запрещена — потому-то, вероятно, и оторвали обложку, чтобы скрыть название. (Кстати, запрет на книги «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» продержался довольно долго, кажется, вплоть до 50-х годов.) Потом зачитывался книжками Аркадия Гайдара, Бориса Житкова, Леонида Пантелеева и др. Не в пример современной макулатуре о колдунах, волшебниках и прочей ерунде, засоряющей мозги, довоенная детская литература воспитывала в читателях уважение и любовь к своей стране, гордость за нее, бескорыстную доброту и отзывчивость на чужую беду (все то, что теперь, призывая к патриотизму, безуспешно пытаются возродить).

В первый класс!

1938 год. Мне восемь лет, и я иду в школу! Школа недалеко от дома, на краю большой пихтовой рощи.

У меня в руках единственная чудом оставшаяся с довоенных времен групповая фотография 1 «Б» класса. Вот он, мой первый класс, и наша любимая учительница Софья Николаевна Агапова.

В школе мы впервые лицом к лицу столкнулись с «врагами народа», вырезывая из букварей и учебников их фотографии или заклеивая темной бумагой. «Заклейте, дети, вот эти два портрета», а проходит время, и Софья Николаевна велит вырезать из книжки или замаскировать следующих «врагов». Сколько же разных «врагов» прошло перед глазами нашего поколения!

Из ребят нашего класса я помню немногих. Вот Королев. Забыл, как его звали. Однажды мы с ним на улице около школы подрались. Он был сильнее и крупнее меня и так двинул мне кулаком под дых, что



всякая охота драться с ним у меня пропала. Может быть, я и сдался бы с позором, но мне повезло. Дело было летом, и бегали мы босиком. В драке я разбил в кровь палец на ноге о какой-то камень. А правила драки в то время были честные: до первой крови. Поэтому наша дуэль была остановлена секундантами, зрителями из нашего же класса. Думаю, что именно эта драка в последующем заставила меня отдавать предпочтение мирному разрешению конфликтов. Этот способ оказался куда как эффективнее. Вот так помаленьку начинал накапливать жизненный опыт.

Вика Симоненко. Зимой мальчишки и девчонки нашего класса начали «дружить». Если мальчику нравилась девочка, он передавал ей записочку — «давай дружить». Таким способом передружился почти весь класс. Я же, по причине сильной застенчивости, никак не осмеливался послать записку нравившейся мне девочке. На школьных праздниках она играла на пианино, у нее было кругленькое кукольное личико, и она так грациозно прикрывала свой ротик ладошкой, когда зевала! Но у нее уже была дружба с кем-то из мальчишек. Из девчонок, с которыми еще можно было подружиться, оставалась Вика. И хотя она мне совсем не нравилась, набравшись храбрости, я написал ей записку с предложением дружбы. Пряча записку в кулаке, где-то в коридоре, когда никто не видел, протянул ее Вике. Реакция ее оказалась совсем не такой, как я ожидал.

— Это что ты мне еще за бумажку суешь! — сказала моя избранница, оттолкнув руку, и убежала. На этом попытки подружиться с особами противоположного пола надолго были отложены.

Вова Кулинич. Тихий и очень добрый еврейский мальчик, с покорностью исполнявший роль шпиона, когда мы играли в пограничников. Вова с матерью и еще двумя младшими детьми жил в красивом доме старой постройки, стоявшем в центре небольшого лесного массива, примыкавшего к нашему двору. Занимали они одну большую комнату на втором этаже с выходом на остекленный разноцветными стеклышками балкон, куда обычно ставилась детская коляска с маленьким ребенком. Вытащить Вовку на улицу удавалось не всегда: ему приходилось возиться с младшими детьми. Но уж когда это удавалось, то у нас он обязательно был шпионом. Поймав шпиона Вовку, мы сажали его «в тюрьму» — деревянную бочку в рост человека, стоящую во дворе дома Борьки Логачева, и закрывали деревянной же крышечкой, да еще поверх крышки клали тяжелый груз. И сидел он в тюрьме часами. Бывало, мать выходила его искать: «Вова, домой! Вова, домой!» Он же, соблюдая правила игры, сидел тихо, не отзывался. Уже после войны я узнал, что Вова погиб вскоре после того, как в Поповку вошли немцы. Рассказы-

вали, что Вовка вышел на балкон, и в это время под балконом разорвался советский снаряд.

Мой лучший друг — Юра Огановский. Его отец, Станислав Карлович, поляк, работал врачом в медпункте стекольного завода, там же, где и моя мама. Мама Юрки не работала, была больна. Кроме Юры у них была еще девочка, младше него года на два. На пригорке возле небольшого пруда, прилегающего к их участку, Огановские строили новый дом. Перед самой войной они уже жили в одной комнате недостроенного дома.

Помню, мы еще не ходили в школу, и однажды с мостика (с него обычно хозяйки полоскали белье в пруду), сидя на корточках, ловили на удочку мелких рыбешек. Вдруг кто-то сзади толкает нас обоих в спину, и мы кувыркаемся в воду. Плавать я не умею, а глубина — с головой. И вот Юрка молотит руками по воде и плывет к мостику, а я, хотя и барахтаюсь, но почти никуда не продвигаюсь, да еще наглотался воды. Кое-как добрался до мостика. Оказалось, что это Юркина сестренка потихоньку подкралась и столкнула нас с мостика, чтобы плавать научились! Стоит хохочет. Ей смешно!

У отца в их доме было множество книг по медицине, в том числе многотомная Медицинская энциклопедия с красочными картинками и изображениями различных частей тела и органов. Смотреть эти книги детям не разрешалось. И выбрав время, когда родителей не было дома, мы с Юркой их разглядывали и, конечно, с особым интересом рассматривали иллюстрации к статьям по тем вопросам, из-за которых и возникал запрет на ознакомление с книгами. Любимым занятием у нас было разыскивать города на большой, во всю стену географической карте, висевшей в комнате. Один из нас называет город, а другой должен найти его на карте. Если не найдешь — щелбан! Так постепенно, наполучав щелбанов, изучили географию!

Когда в конце августа 1941 года началась эвакуация работников завода, Огановские из-за болезни матери решили остаться в Поповке. Что стало с ними потом, неизвестно. Знаю только, что немцы, заняв поселок, всех жителей из него выселили, а часть людей угнали в Эстонию и Германию. Поселок оказался на передовой линии немецких позиций. После войны, учась в Ленинграде, я несколько раз приезжал в Поповку. Неудержимо тянуло в родные места. Поселок понемногу застраивался. Но от прежней Поповки с ее высоченными деревьями, старыми домами и множеством прудов не осталось практически ничего. От пихтовой рощи, росшей когда-то около нашей школы, я не нашел даже пней. И однажды на крохотном щитовом домике, поставленном на том месте, где когда-то стоял наш дом, читаю табличку: улица Культуры, дом 1.

Июнь 1941 г. Война!

Воскресенье 22 июня 1941 года. Утро. Мы (мама, папа и я) идем на станцию, чтобы поехать в гости к родственникам. Издалека видно, что на платформе много военных с перекинутыми через плечо противогазными сумками. Стоят группами. Кто-то, шедший навстречу, сказал, что ночью немцы напали на СССР. Вернулись домой. А в двенадцать часов дня я в толпе людей, собравшихся у шалмана, где на столбе висели репродукторы-рупоры, слушал выступление министра иностранных дел В. М. Молотова.

Первое время особых признаков войны не ощущалось. Вечером слушали радиоприемник в комнате у Бунзенов. Помню передачи немецкого радио — громкие, как бы истеричные речи, с браваурной музыкой. Хозяйки-немки слушали молча, нам ничего не переводили. Что-то переводил папа. Вскоре все радиоприемники было приказано сдать, взамен выдавали квитанции, обещая вернуть приемники после войны. Наш детекторный приемник, принимавший всего одну радиостанцию, тоже конфисковали. Квитанция на него долго сохранялась мамой, потом затерялась.

Много было разговоров о немецких шпионах и диверсантах. Детям говорили, что они не только выведывают советские военные тайны и подают сигналы вражеским самолетам, но и могут отравить наших людей. Поэтому, мол, нужно быть очень бдительными, не разговаривать с чужими людьми и не принимать от них угощений.

Потом в небе стали появляться одиночные немецкие самолеты. Нас учили, как по звуку моторов отличить немецкий самолет от советского. У советских самолетов, летящих на высоте, звук мотора ровный, а у немецких с завыванием. Помню, как впервые увидел немецкий самолет. Я на улице. Солнечный день, жарко. Чистое, безоблачное небо. Случайно подняв голову, вижу высоко-высоко в небе кажущийся совсем неподвижным самолетик. А вокруг него вдруг стали возникать белые бутончики разрывов зенитных снарядов. И все это в полной тишине. Разрывов и выстрелов не слышно. Потом разрывы прекратилась, и самолет скрылся из виду. И совсем не страшно. Ну а затем немцы стали летать над нами все чаще и чаще. И очень редко мы видели советские самолеты.

Понимали ли мы тогда, десяти-одиннадцатилетние дети, серьезность происходящего? Думаю, что нет. Осознание пришло спустя месяцы, а пока было простое детское любопытство. Когда разбомбили железную дорогу и станцию, бегали смотреть воронки, собирали осколки и какие-то коробки, сброшенные с самолетов. Когда немецкие самолеты бомбили

Ижорский завод в Колпино, смотрели с вышки у станции Красный Бор, как те, выстроившись в круг, пикировали на цель, и то там, то здесь над территорией завода вырастали дымы взрывов.

Еще осенью 1940 года у отца возникла идея построить собственный дом. Помню, как мы ездили в запань на реку Тосну за бревнами. Сразу на выезде при подъеме в гору машина, нагруженная толстыми бревнами, сильно буксовала. Наконец выбрались на ровную дорогу. В Поповке наши бревна сложили сбоку проезжей части улицы, недалеко от дома, и для сохранности окантовали толстой проволокой. Наверное, из этих бревен получился бы хороший дом. Но судьба их оказалась печальной. Дома не вышло. В июле 1941 года люди начали строить во дворах бомбоубежища, и бревна быстро и незаметно растащили. Соорудили бомбоубежище и в нашем дворе. Вырыли большую яму, накрыли ее оставшимися бревнами и сверху засыпали толстым слоем земли. Забираться в это убежище нужно было чуть ли не ползком, через небольшой лаз. К счастью, воспользоваться этим сооружением не пришлось.

Отступлю немного назад. На лето 1940 года Бунзены сдали веранду в доме молодому человеку, немцу по национальности. Это был высокий, атлетически сложенный мужчина, со спортивной выправкой. Он сразу же стал кумиром для ребят. Немец покорила мальчишек тем, что на спор остановил ехавшую по дороге лошадь с телегой.

— Вот если я выиграю, то вы, ребята, натаскаете мне на веранду цветов, ромашек с соседнего поля.

Оказалось, что он собирался жениться и хотел отпраздновать свадьбу на веранде, убранной цветами. Лошадь он действительно остановил, ухватившись за колесо телеги, чем вызвал неудовольствие возчика, но зато в день свадьбы пол веранды устилал ковер из ромашек.

Должно быть, этот человек был известным спортсменом, учился или работал в Институте физкультуры им. Лесгафта. В августе, в день физкультурника, мы с родителями смотрели физкультурный парад в Ленинграде. В знаменосце, несущем впереди колонны института на вытянутой руке флаг, мы узнали нашего немца.

Летом 1941 года они с женой снова жили на веранде. А вскоре после начала войны я видел, как ночью их арестовали и увезли. Было тепло, и я спал наверху, на чердачной площадке перед входом в наши комнатки. Однажды под утро показалось, что внизу зафырчала машина. Приподнявшись, выглянул в маленькое окошко. Действительно, внизу почти вплотную к входу в дом стоит фургон, а из дома выводят немца и его жену и подталкивают в открытую заднюю дверь фургона. Больше мы этих жильцов



не видели. Но вот немок, хозяек дома, почему-то не трогали.

Несколько лет назад я безрезультатно пытался узнать в институте что-нибудь об этом человеке. Говорят, ничего не нашли. Но ведь был же он! И исчез бесследно. Вот так же бесследно, вместе с женой и маленьким сыном, исчез в 1936 году мой двоюродный брат, командир Красной армии, живший в Киеве. Осталась у нас в семье только его старинная фотография с женой и сыном да мною, малышом, примостившимся на спинке дивана.

Для борьбы со шпионами и диверсантами в Поповке сформировали истребительный отряд. Он разместился в доме промкомбината на противоположной от нас стороне улицы. До войны там изготавливали детские игрушки. Директора комбината Семена Филипповича Нагулина (мужа моей двоюродной сестры) назначили политруком отряда. На пригорке по соседству с нашей школой «истребители» вырыли окоп и соорудили зенитный пулемет собственной конструкции: на бруствере окопа вкопан невысокий столб, на торце которого горизонтально укреплено вращающееся тележное колесо. На колесе стоят два спаренных пулемета «Максим» без щитов. Пулеметы могут еще качаться в вертикальном направлении, чтобы стрелять вверх под углом.

Вскоре истребительный отряд понес потери. Наверное, в середине или конце июля немецкий самолет ночью бомбил станционные пути. Я так крепко спал, что в тот раз ничего не слышал, хотя бомбы упали совсем недалеко от нашего дома. О бомбежке мне утром сказала мама. Ребята же, которые видели налет, говорили, что немец летел очень низко, была сильная стрельба, и вроде бы самолет подбили бойцы истребительного отряда из своей самоделки. Днем Семен Филиппович подтвердил, что самолет действительно подбили его бойцы и он упал где-то далеко в лесу. Их отряд отправился на поиски. Самолет нашли. Немецкие летчики оказались живы, отстреливались, убили одного из наших. Помню похороны этого бойца, устроенные еще по довоенным меркам. У школы, где стоял гроб с телом убитого, собралось множество людей, и похоронная процессия двинулась по дороге к кладбищу. Впереди духовой оркестр, за ним повозка с гробом, накрытым красным полотнищем, за ней истребительный отряд в полном составе и с оружием, а далее еще жители поселка. Неожиданно параллельно дороге пролетает немецкий самолет. Он летит так низко, что можно разглядеть лицо летчика в кабине. Летчик, повернув голову, рассматривает похоронную процессию, и самолет его зачем-то, может быть, в знак приветствия, покачивает крыльями. Как в замедленной съемке вижу самолет, голову летчика в шлеме и это пока-

чивание крыльями. А ну как вместо приветствия немец расстрелял бы похоронную процессию?

Нужно сказать, что вплоть до эвакуации в последних числах августа мы почти не видели в воздухе советских военных самолетов. Лишь с приближением фронта к городу они стали появляться.

Конец августа 1941 года. Вторая половина дня. Мы с ребятами играем во дворе. Неожиданно над головами, почти касаясь верхушек растущих на участке елей, со снижением проносится истребитель «И-16» («Ишак»). Мотор его чихает, и через секунды слышно, что он и вовсе останавливается. Думаем, что самолет упал на поле за поселком, все несемся туда. От кромки поля виден стоящий вдалеке самолет. К нему бегут люди. Мы прибежали первыми. У самолета летчик. Он хромает, но ковыляет к нам, машет руками и кричит, чтобы все уходило. Кричит, что могут налететь немецкие самолеты. Никто не уходит. Потом, немного успокоившись, летчик сказал, что самолет подбили в воздушном бою, а его ранили в ногу. Скоро откуда-то появились военные, разогнали любопытных и поставили у самолета охрану. На следующий день его разобрали и увезли. Но на этом история с самолетом еще не закончилась. Дня через два, когда жители Поповки уже начали уезжать из своих домов, в поселке появилось множество незнакомых людей. На улице нас с Юркой Огановским остановил мужчина

— Где тут на днях сел самолет?

Мы, конечно же, проявили бдительность.

— Да, сел, но потом улетел.

— А покажите мне место, где он сел, — попросил мужчина, вынул из кармана пачку папирос и предложил нам закурить. От папирос мы отказались, а на поле, где самолета уже не было, показали. Обманули, умники, шпиона! Что это был на самом деле за человек, зачем ему был нужен самолет, никто теперь не ответит. Но вот недавно в книге о немецких авиаторах прочитал, что для того, чтобы немецкому летчику зачли сбитый советский самолет, требовались свидетельские показания. Может быть, это и был тот самый случай?

Еще помню. Незадолго до подбитого истребителя. Полдень. Купаемся в пруду за поселком. Слева болотце, заросшее невысокими деревьями и кустами, справа недалеко железная дорога. Мы в воде. За болотом в воздухе послышалась стрельба короткими очередями. Низко над нами проносятся три самолета. Впереди немецкий. Летит, выделявая какие-то зигзаги, за ним наши. Рев моторов, стреляют. Мгновение — самолеты исчезли, и опять все тихо. Наши самолеты не «И-16», а какие-то новые. Таких самолетов я еще не видел. Значит, есть новые самолеты и у наших летчиков.

Эвакуация

В конце лета мы с мамой остались одни. Отца, как и многих других, мобилизовали на рытье укреплений на подступах к Ленинграду, под Лугой. В армию его не брали, так как у него было слабое зрение: носил очки с толстенькими стеклами. Вернулся он домой в конце августа грязный и оборванный. Рассказал, что немцы выбросили десант, перерезали шоссейную дорогу к Ленинграду, и люди, в беспорядке убежавшие от немцев, еле вырвались. Через несколько дней отец сказал, что завод эвакуируют и нужно собираться в дорогу. Его назначили начальником эшелона, которым должны были вывозить людей и оборудование завода, и дома он почти не появлялся. Потом приехал, предупредил, что завтра во второй половине дня будет грузовик, который заберет семью работников завода, живущих в Поповке. С собой можно забрать только по одному чемодану с вещами на человека. Вечером родители упаковывали чемоданы. Часть вещей, которые невозможно было забрать, уложили в большое корыто и еще в какие-то емкости, обернули клеенкой и ночью, чтобы никто не видел, закопали за сараем. По-видимому, так делали многие. Утром отец снова уехал на завод. Никто не знал, что будет дальше.

После войны мама случайно встретила женщину, жившую когда-то в Поповке в соседнем доме. Та рассказала, что на следующий же день после отъезда хозяев оставшиеся люди, не таясь, выкапывали все спрятанное.

Последние дни августа. Сейчас уже не вспомнить точную дату отъезда, но сам день помню в подробностях. Вечером накануне отъезда видим, как в стороне Московского шоссе опускаются парашюты. Говорят, немецкие десантники. Утром я пошел попрощаться с Борей Логачевым. Он был на несколько лет старше нас, но очень любил заниматься с младшими детьми. Из ребят у него единственного в доме был настоящий радиоприемник со стоящими на верхней крышке корпуса большими блестящими радиолампами. Другьям из нашей компании позволялось приходиться к Борьке слушать детские передачи. Подхожу к их дому. У калитки — часовой с винтовкой. Во дворе ходят красноармейцы, бродят курицы. Часовой не пускает, говорит, что хозяев нет, все уехали вчера. Первая пришедшая в голову мысль: а куда же они дели свою корову? Я же видел ее позавчера! Потом я пошел проститься с Юркой Огановским. Только тогда увидел, что во многих дворах не видно людей, двери на замках, а в других и вовсе не закрыты. На улице — бредущие к станции люди с мешками и чемоданами.

До Юркиного дома не дошел, вернулся к себе. В ожидании грузовика сел у открытого окна и стал читать журнал «Костер», посматривая сверху, не появится ли машина. Вдруг прибегает мама:

— Давай собирайся, бери вещи, пришла машина!

Я оставил журнал на подоконнике и, выходя из комнаты, обернулся. Навсегда запечатлелось: раскрытое окно, верхушки елей на фоне голубого-голубого неба и лежащий на окне недочитанный журнал.

В кузове грузовика уже плотно сидели люди. Мы с мамой были последними, кого должны были забрать. Поехали к заводу. Уже въехали в заводской поселок, когда у самой проходной машина сломалась, лопнул корпус дифференциала. Как сказал шофер, видно, кто-то умышленно повредил его: на поверхности корпуса были отчетливо видны следы ударов. Счастье, что машина все-таки доехала до завода. Значит, судьба! Нас встретил отец. Пройдя с вещами через территорию завода, спустились к реке Тосне. Внизу стояла баржа, заполненная людьми и их имуществом. Погрузились и мы. Потом буксир потянул баржу вниз по реке к Неве.

Буксир дотащил баржу до Невы. Выгрузились в Отрадном — поселке, расположенном вблизи впадения Тосны в Неву. Дальше нужно идти до станции Пелла, где приготовлены вагоны. Это недалеко. По дороге, идущей от пристани, со своим скарбом толпой поднимаемся по склону вверх. По сторонам разбросано какое-то тряпье, лежат несколько мертвых лошадей. Говорят, недавно бомбили немцы. Дошли до железнодорожных путей. Пути забиты вагонами. Где-то в тупике стояли наши товарные вагоны-теплушки и платформы с заводским оборудованием. Людей распределили по теплушкам. Это обычные товарные вагоны, вместимостью, как на них было написано, сорок человек или восемь лошадей. По обе стороны от дверей устроены двухэтажные нары. На нарах солдатские одеяла, матрасы и подушки, набитые сеном. Запах сена. С одной стороны вагона дверь закрыта. Чтобы удобнее было забираться в вагон, к дверям привешены металлические скобы. Наше место — на верхних нарах около маленького окошка. В вагонах женщины, дети, почти нет мужчин. В нашем вагоне мужчин двое: отец и пожилой дядька-инвалид с баяном. Потом на своем баяне он играл по вечерам. Часто его просили сыграть что-нибудь ленинградское. Он играл «Тучи над городом встали», «Любимый город может спать спокойно», и женщины плакали.

На путях простояли несколько суток. Люди питались тем, что захватили с собой в дорогу. Пищу варили на кострах, тут же, рядом с вагонами. Наши вагоны все не отправляли. В один из дней (видимо, 29 августа) несколько женщин с утра отправились



домой в Поповку за хлебом. К вечеру вернулись в панике.

— В поселке немцы!

Рассказали, что добрались до завода и пошли в Поповку по железнодорожной ветке. Уже выйдя из леса и подходя к станции, увидели немецких солдат — и бегом обратно в лес.

Днем немцы бомбили завод, расположенный на другом берегу Невы. Выстроившись в круг, немецкие самолеты пикировали на завод. Почему-то разрывов бомб было не видно и не слышно. Может быть, сбрасывали зажигательные бомбы. А ночью бомбили составы, стоявшие на железнодорожных путях. Когда налетели немецкие самолеты, люди стали разбегаться, а мы с мамой решили остаться в вагоне. Нам повезло, взрывы бомб раздавались где-то в стороне. Опять, значит, судьба!

Поехали куда-то

Наутро из наших и других вагонов и платформ сформировали эшелон, и паровоз потащил его в неизвестность. Помню, первые дни ехали через станции со знакомыми названиями: Волховстрой, Мга, Тихвин. Пока было тепло, днем и ночью одну дверь в вагоне не закрывали. Перед дверью поставлена длинная деревянная скамья, а дверной проем перегороден деревянным брусом так, чтобы, держась за него, было удобно смотреть и не выпасть из вагона. В первый день проезжаем Волховстрой. Перед мостом через реку поезд останавливается, солдаты, проходя вдоль эшелона, приказывают закрыть в вагонах двери и окна. Через щель в окне видно, что здания гидроэлектростанции закамуфлированы большими коричневыми пятнами и полосами.

У взрослых сразу же возникли проблемы: как приготовить горячую пищу, как умыться, где достать воды, как отправить естественные надобности на ходу поезда. Ко всему нужно было приспособляться. Нас же, ребят, пока одолевало простое любопытство: интересно ехать, интересно смотреть в окошко с нар или сидя на полу у двери и свесив ноги.

Первые двое суток эшелон шел практически без остановок. Останавливались лишь для того, чтобы паровоз заправился водой и углем, или пропустить встречный состав (железная дорога — однопутная). Бывало, что эшелон только остановится, люди выберутся из вагонов, а машинист дает гудок, и по всему эшелону разносятся команды: «По вагонам!» Грохот сцепок, поезд начинает движение, и забираться в вагон приходится уже на ходу. А сделать это не так легко: пол вагона находится высоко, и нужно ухватиться за поручень, поставить одну ногу на висящую у двери скобу и, подтянувшись, ввалиться в вагон.

На второй день пути поезд неожиданно остановился на перегоне. Машинист непрерывно подает короткие гудки, этот сигнал означает «воздушная тревога». Но в воздухе все чисто. А немного впереди, слева по ходу поезда, в болоте, поросшем хилыми деревцами, торчит немецкий самолет. На насыпи железной дороги — множество стреляных гильз и мелких неразорвавшихся бомб. В кусты по обе стороны дороги тянутся размотанные окровавленные бинты, валяются клочки ваты, разбросана одежда. Оказалось, что совсем недавно немцы разбомбили здесь санитарный поезд. Взрослые из вагонов не вылезали. Зато ребята тут же попрыгали на землю. Любопытно же. Через некоторое время паровоз дал длинный гудок, и эшелон тронулся. Забирались в вагон каждый со своими трофеями — кто с гильзами, а кто и с прихваченной неразорвавшейся бомбочкой. Ох, какой крик подняли женщины! Бомбы пришлось выбросить. На ближайшей станции в наши вагоны посадили несколько раненых женщин из шедшего впереди и разбомбленного немцами эшелона с эвакуировавшимися ленинградцами. Всю дорогу мама на больших остановках делала им перевязки.

Наступил сентябрь. Начались занятия в школах. Иногда, проезжая мимо станций или поселков, видели школьников с сумками или портфелями. Становилось тоскливо: вот они дома, идут в школу, а мы куда? Что будет дальше?

От Ленинграда до конечного пункта — города Красноуфимска, что в Челябинской области, мы ехали больше месяца. А тогда никто в эшелоне не знал, куда нас везут и как долго мы будем ехать. Железная дорога, в ряде мест однопутная, забита поездами, идущими и к фронту, и в тыл. И тем не менее даже в этих условиях ощущалось, что люди не забыты государством. Для эшелонов с эвакуируемыми по всему пути следования были организованы пункты питания, и начальник эшелона всегда знал, где можно будет получить продукты — хлеб и концентраты.

Главные сложности в пути были с водой и приготовлением горячей пищи. На многих станциях стояли кипяильники, и если хватало времени, можно было добежать до вокзала, запастись кипяченой водой. Проблема заключалась в том, что эшелон двигался по стране чрезвычайно неравномерно. Бывало, проехав без остановки полдня, поезд останавливался, меняли паровоз и ехали дальше. И, наоборот, состав могли загнать на запасные пути и держать там сутками. Как-то наш эшелон простоял на небольшом разъезде целый день, пропуская встречные составы с военной техникой и с солдатами Войска Польского. Бросалось в глаза, что польские солдаты и офицеры были одеты в новенькую, с множеством ярких нашивков форму.

Сварить или разогреть что-нибудь удавалось, только если эшелон останавливался на более или менее продолжительное время. Тогда нужно было найти пару кирпичей или подходящих камней, на которые ставили кастрюлю или котелок, а под ними разжигали огонь. И все это, по возможности, поближе к своему вагону. Случалось, только набрали каких-нибудь щепок, разожгли костерок, и вдруг паровоз гудит, крики «По вагонам!», и эшелон медленно трогается. Тут уж не до супа или каши! Народ со своими кастрюлями и котелками несется к вагону.

Быт есть быт! И другой проблемой была проблема туалета. Особенно у взрослых. В начале пути люди еще испытывали некоторое смущение, стеснялись пользоваться приспособленным для туалета ведром. Если эшелон долго двигался без остановок, первое время терпели, дожидаясь ночи. При остановке поезда отходили подальше от вагона, куда-нибудь в кусты или в другое укрытие. Очень быстро реалии жизни пересилили всякое смущение. Остановка где-нибудь на перегоне. Сколько простоим, неизвестно. Из вагонов выползают пожилые люди — женщины, мужчины. Именно выползают. На животе, спиной вперед, свешивая сначала из вагона ноги, а руками держась за поручень. Те, кто моложе, просто спрыгивают на землю, и, спустив штаны, все рассаживаются под насыпью железной дороги или просто рядом со своим вагоном. Бывало, в такой ситуации раздавался гудок паровоза и эшелон трогался. Кто-то успевает натянуть штаны, кто-то нет... Все бросаются к дверям: толчая, ругань. Но никто не отстает от поезда. Особо стеснительные люди иногда пролезали под вагоном на другую сторону пути. Но это рискованно. Дверь вагона с той стороны закрыта, и если эшелон неожиданно начинал движение, нужно было успеть перелезть под вагоном обратно. В одну из таких остановок едва не произошла трагедия. Мальчик из нашего вагона, лет десяти, перебравшись под вагоном через рельсы на другую сторону насыпи, не успел вернуться обратно. Когда поезд уже набрал ход, мать обнаружила его отсутствие. Кто-то из пассажиров, заглянув с верхних нар в окошко, увидел, что тот в одних трусиках и майке сидит на подвешенной к двери железной скобе, держась руками за поручень. Остановить поезд было невозможно, в товарных вагонах не было стоп-кранов. Дверь на той стороне вагона закрыта снаружи. Следом за нашим товарным вагоном был прицеплен небольшой пассажирский, в котором, вероятно, имелся стоп-кран. Но перебраться в тот вагон было невозможно. Можно было лишь попытаться подать сигнал в надежде, что пассажиры вагона или машинист поезда его увидят. Высунувшись

из открытой двери, несколько человек размахивали красными платками и кофтами, кричали, пытаются привлечь внимание людей из соседнего вагона или машиниста. Кричали так, что некоторые сорвали голос. Безрезультатно. Мать мальчика лежала почти без сознания. Прошло не менее часа, когда поезд начал замедлять ход и остановился. Люди бросились за мальчишкой. Хотя на улице было тепло, он сидел, грязный от копоти, посиневший и дрожащий от холода, руки его с трудом оторвали от поручня. Потом его долго оттирали спиртом и отогревали. Мальчишке повезло, поезд остановился только потому, что впереди был мост через широкую реку. А для проезда по большим мостам требовалось, чтобы двери и окна в вагонах были плотно закрыты. Охрана мостов всегда тщательно контролировала это.

Ближе к концу пути на одной из станций потерялись двое ребят из нашего вагона. Эшелон долго держали на запасном пути, и несколько женщин с детьми ушли на привокзальный рынок. На рынке услышали гудок паровоза, кинулись обратно, а поезд уже набирал ход. А когда, впопыхах забравшись в вагон, осмотрелись, обнаружилось, что нет детей одной из женщин. Женщина рвалась на ходу поезда выпрыгнуть из вагона, ее удерживали силой. На следующей станции, оставив все свои вещи, она сошла с поезда. Нашла ли она детей, не знаю.

Приехали! Вот она, Башкирия

Уже подходит к концу сентябрь, а мы все едем. Наконец сказали, что конечный пункт следования — город Красноуфимск. Вскоре поезд миновал Уральский хребет, и мы подъехали к городу. Уже темно. Поздним вечером эшелон остановился у длинного, ярко освещенного и какого-то старомодного перрона. Фонари на тонких черных металлических столбах с завитушками сверху, ограждение платформы из переплетенных металлических прутьев, и черное-черное небо. На перроне множество бесцельно слоняющегося народа. Платформы с оборудованием отцепили и увезли; у перрона остались только вагоны с людьми. Дали команду выгружаться, вещи складывать на привокзальной площади кучнее, не разбрасываясь. В помещении вокзала никого на ночь не пустили. Предупредили, что ночь придется провести под открытым небом, а утром часть людей расселят в городе, других развезут по деревням. Ночью у кургана из чемоданов и тюков поочередно дежурили взрослые. Остальные пристраивались как могли.

Раннее утро, свежо. Народ просыпается. Тут же, на площади, недалеко от груды вещей, люди разводят костерки, что-то варят. Из продуктового пункта



приносят мешок с буханками хлеба, делят хлеб на порции и раздают.

Тощая лошадь тащит по площади телегу, на которой сидят и лежат несколько грязных, обросших и оборванных, измученных людей. У некоторых повязки с запекшейся кровью. Рядом идут красноармейцы с винтовками наперевес. Говорят, что это везут дезертиров, скрывавшихся в лесах.

Ближе к полудню читают список тех, кого оставляют в городе. Остаются только специалисты, которые будут работать на местном стекольном заводе, и члены их семей. За остальными в течение дня подъезжают подводы. Обозом из двух подвод нас и еще одну семью везут в башкирскую деревню, расположенную в ста с лишним километрах от Красноуфимска. На обе подводы один возчик, пожилой башкир. Если все будет нормально, говорит он, ехать двое суток.

Башкир правит лошадей, идущей впереди. Мы едем на второй подводе. Разъезженная, сухая и пыльная грунтовая дорога проходит по степи с увала на увал, лишь местами попадаются маленькие рощицы из небольших деревьев или заросли кустарников. Когда начало темнеть, около одной из таких рощиц остановились на ночевку. Лошадей распрягли и стреножили, чтобы не ушли далеко. И опять возчик предупредил, что нужно опасаться грабителей — могут отобрать имущество или угнать лошадей. Спали вполглаза, прямо в подводах, зарывшись в солому. К счастью, все обошлось. Уже в который раз я вспоминаю о предупреждениях по поводу воровства, ограблений. По-видимому, в хаосе военного времени это были обыденные явления. Хотя нужно признать, что народ российский вороват независимо от характера времени.

Не знаю, как называлась башкирская деревня, в которую нас привезли. Прожили мы там у кого-то из местных жителей недолго. В памяти осталась лишь деревенская школа. Небольшая комната в старой избе. Четыре колонки парт, в каждой — по две-три парты. Первую колонку занимают ученики первого класса, вторую, третью и четвертую — соответственно второго, третьего и четвертого класса. За партами слева сидят те, кто учится на русском языке, справа — на башкирском. Учеников мало, парты не заполнены. На все четыре класса одна учительница. На уроке она поочередно, на башкирском и русском языках, объясняет материал для учеников каждого класса. Тетрадей в школе нет, пишут кто на чем, в том числе на старых газетах, между строк. Чернила ребята приготавливают из настоя сушеных ягод черемухи, они получаются красноватого цвета, цвета ржавчины. В четвертом классе этой школы я проучился до конца октября и какие уж там получил зна-

ния, трудно сказать. Вскоре родители нашли работу в Месягутовском зерносовхозе, и семья перебралась туда.

Месягутовский зерносовхоз

Если взглянуть на карту Башкирии, то на северо-западе республики обнаружишь село Месягутово. Километрах в пятидесяти от него — русский поселок из нескольких бревенчатых домов, одноэтажных саманных барачков и двух линий деревянных двухквартирных коттеджей — это центральная усадьба Месягутовского зерносовхоза. Поселили нас в барачок, в комнату к местной жительнице Маше Нехороших. Барачок — строение с насквозь идущим коридором, по обе стороны которого — жилые комнаты. В каждом конце коридора — кухня и туалет с выгребной ямой, что в совокупности летом создавало неповторимый аромат в помещениях. В совхоз мы приехали в самом начале ноября, за два-три дня до годовщины Октябрьской революции. Дату эту я запомнил из-за случившегося конфуза. Только что познакомился с местной девочкой Тamarой. Беседуем, сидя на ступеньках крыльца барачка. Спрашиваю:

— А где же тут бывает демонстрация?

— Ты глупый, что ли, — отвечает она. — Никаких у нас демонстраций не бывает. Это у вас, городских, демонстрации, а у нас их нет!

Недалеко от совхозного поселка река Ай, вдоль берега которой растянулась башкирская деревня Алегазово. Между деревней и поселком на огороженной территории больница, где стала работать мама. Отец устроился на совхозную нефтебазу. Оказалось, что в совхозе было уже несколько семей ленинградцев. В шутку или всерьез местное население называло эвакуированных «выковырянными».

Краса центральной усадьбы — громадная березовая роща. На вершинах высоченных деревьев — тысячи грачиных гнезд. Весной и летом птичий гам не прекращается целыми днями. Река Ай как бы разделяла местность на две части. К северо-западу от реки, по правому берегу, начинались еловые и сосновые леса, на юго-восток же волнами тянулась бесконечная степь.

В стороне от совхозного поселка — зернохранилища, механические мастерские и другие производственные помещения. Зернохранилища — длинные одноэтажные здания с цементным полом и высокими потолками. Почти под крышей — ряд остекленных окон. К самому большому хранилищу примыкает ток — открытая асфальтированная площадка, защищенная от дождя двухскатной крышей на столбах. Здесь обрабатывают намолоченное зерно, привозимое с полей: просеивают через решета, веют,

просушивают в сушилках. Чтобы защитить зерно от вредителей, его протравливают и только потом ссыпают в хранилища слоем в один-полтора метра. Зимой за зерном в совхоз несколько раз приезжают машины. Это мощные американские студебекеры. Красивая картина. Точно как описано Ильфом и Петровым в «Золотом теленке». Поздний вечер. На улице темно. Звездное небо, мороз градусов под тридцать. И вот далеко на горизонте возникает сияние. Сначала слабое, потом все ярче и ярче. Это идет колонна машин. Самих машин не видно, они еще за перевалом. Потом, уже преодолев перевал, колонна в сиянии множества фар движется к совхозу, не разбирая дороги, прямо по заснеженной степи.

На противоположном конце поселка электростанция. Поначалу электричество в дома подавалось постоянно. Круглые сутки было слышно, как тархтит движок генератора. Потом из-за недостатка горючего это время ограничили. Вечером, незадолго до двадцати двух часов, свет в доме мигает три раза. Это значит, что сейчас электричество выключат.

В стороне от совхоза в поле стоит нефтебаза, где работает отец. Помню, что зимой 1941 года он с другими ленинградцами ездил по окрестным деревням, чтобы выменять что-нибудь на продукты. Тогда говорили: «поехал менять». Эвакуированные обменивали свои скудные пожитки — постельное белье, одежду, посуду — на муку, масло, картошку.

В декабре 1941 года папа добровольцем ушел на фронт. Думаю, что на это решение повлияло письмо его сестры, в котором она сообщала, что дедушку (папиного отца) расстреляли в Бабьем Яру в Киеве. Дедушка отправил семью из Киева, а сам остался, чтобы приглядывать за квартирой. До войны дедушка работал водителем трамвая и даже был награжден какой-то медалью. Встречался я с ним всего два раза. Первый раз в Киеве в 1937 году, когда мы с мамой приезжали к ним в гости. Запомнилась его внешность — коренастый, совершенно лысая круглая голова и большие пушистые, горизонтально расположенные седые усы. Тогда меня специально водили смотреть, как дедушка, распушив усы, торжественно управляет трамваем. А второй — в Поповке, куда он приезжал незадолго до войны.

Папа и еще несколько мужчин из совхоза уезжали в армию в самый канун нового, 1942 года. Отъезжающих собрали на нефтебазе. Автобуса или хотя бы грузовой машины не нашлось, и их увозили в районный центр на бензовозе — небольшой цистерне на автомобильном шасси. По бокам вдоль цистерны — узкие скамейки. Чтобы не свалиться, сидеть нужно было плотно прижавшись спиной к цистерне. Был сильный мороз, помню, линзы в папиных очках быстро запотевали, и он их все вре-

мя протирал, а в покрасневших близоруких глазах стояли слезы. Попрощались, и машина уехала. Мы остались с мамой одни.

Живем и выживаем

Самым тяжелым оказался период от зимы 1941 до лета 1942 года. Продовольственных запасов у эвакуированных никаких. Немного продуктов получали по карточкам в совхозном магазине. Один день в неделю в совхозе работает рынок, съезжаются продавцы и покупатели из ближних и дальних деревень. Собственно, назвать место, где происходит торговля, рынком нельзя. Это два длинных стола из досок на вкопанных в землю столбиках, стоящих в чистом поле. По рыночным дням здесь можно купить или выменять картошку, масло и другие продукты. Но нам менять на продукты уже нечего. Мама покупает на рынке только фунт сливочного масла за четыре-ста рублей. На него уходят все деньги, получаемые по фронтовому аттестату папы. Постепенно рынок становится все меньше и меньше, а потом и вовсе исчезает из совхозной жизни.

Чтобы как-то прокормиться, люди собирают колосья пшеницы, остающиеся на поле после уборки урожая. За день удаётся набрать ведра два колосков: весной, после таяния снега, — уже подгнивших, а осенью — совсем чистых. Трудно понять, почему, но собирать колоски власти запрещали. Нельзя, и все тут! Милиционеры гоняли сборщиков с поля, отбирали набранное. А медики пугали людей какой-то септической ангиной, которой якобы можно заболеть, употребляя в пищу пролежавшие зиму на земле колосья. Но голод сильнее, и несмотря на запреты люди колоски собирали.

Из ведра колосков получалась пригоршня зерен. Приспособились даже перемалывать зерно в муку. Голь на выдумки хитра. Для этого умельцы изготавливали специальные агрегаты. Берется два листа толстой жести и в каждом пробивается множество отверстий (как в терке). Один лист укрепляется на круглом полене. Из другого листа изготавливается второй цилиндр-терка, диаметром немного большим, чем полено. К торцу полена прибавляется поперечная рукоятка, и оно вставляется в этот цилиндр. Понемногу засыпая зерно в зазор между внутренним и внешним цилиндрами и вращая полено, зерно перетирают в муку. Конечно, получить настоящую муку с помощью такой «мельницы» невозможно. Это, скорее, была мелкая крупа. Интересно, если сегодня выставить такой агрегат в музее, догадаются посетители о его назначении?

Людям не разрешали не только собирать колоски, но и ловить рыбу в озерах. Недалеко от поселка и за



рекой было несколько озер, богатых рыбой. В первую осень по переезде в совхоз я еще видел, как на одном из них рыбаки вытаскивали сеть, полную карасей. А вскоре лов рыбы на озерах запретили, хотя организованного лова и не было. Озера часто обходили милиционеры и даже нас, мальчишек, гнали, если мы пытались забросить удочки. А люди умирали от голода.

В памяти остался хлеб, который пекли в совхозной пекарне. Вместо масла формы смазывали солидолом (тракторная смазка), поэтому корочка буханки всегда сильно им пахла. Год от года качество хлеба становилось все хуже и хуже: есть его было невозможно, хлеб наполовину состоял из овсяной шелухи, которая не разжевывалась и застревала в горле. Современному читателю это, возможно, покажется удивительным. Как же так? В хранилищах — тысячи тонн отборной пшеницы. Но «государственное зерно неприкосновенно».

Трудно было не только с пищевыми продуктами. Счастьем считалось изредка получить кусок обыкновенного хозяйственного мыла. Его использовали только для умывания. Белье же стирали в щелоке — воде, настоящей на обыкновенной печной золе. Иногда, по карточкам же, получали так называемое жидкое мыло — липкую, дурно пахнущую грязно-желтую массу с зелеными разводами. Из чего она состояла, не знаю, но помню, что маме иногда приходилось отстирывать белье заново, уже с помощью щелока.

С весны 1942 года эвакуированные начали возделывать огороды. Выращивали в основном картофель и сахарную свеклу, заменявшую сахар, если ее хорошо протомить в глиняном горшке. Интересно, что местные совхозные и деревенские жители огородничеством почти не занимались. Помню, однажды нес с огорода пучок редиски, и шедший навстречу башкир остановил меня: «Что такое ты, мальчик, несешь?» С огородом нам повезло. На огромной огороженной территории больницы вспахали большой кусок земли, и сотрудники могли взять себе участки. Проблема была только с посадочным материалом, особенно с картошкой. В первый год ленинградцам выделили от совхоза по ведру картошки на семью. Казалось бы, что это совсем немного, но можно было разрезать каждую картофелину на части, так, чтобы в каждой части оказался глазок. Из таких глазков потом вырастала нормальная картошка. В дальнейшем из той картошки, которая зимой шла в пищу, обязательно вырезали кусочки с глазками и хранили их в сухом песке до весны.

Вскапывали землю, окучивали картошку и выкапывали урожай не вручную. В хозяйстве больницы была старая и ленивая серая кобыла Машка. На ней

медики ездили по дальним деревням, ее же использовали для сельскохозяйственных работ. Помню свою первую уборочную кампанию: мама была занята на работе, и вывороченную плугом картошку пришлось собирать мне одному. Я только спросил, куда ее ссыпать. Мама сказала, что можно для просушки сложить картошку в покойницкую — небольшую бревенчатую избу на задворках больницы. С мамой несем туда первое собранное ведро. В избе — крохотная прихожая и небольшая комната. В прихожей на полу лежат трупы, зашитые в мешки. Мама успокаивает: не бойся, это вот девочка, умерла вчера от тифа, и двое башкир, умерших от голода. Вот так и таскал картошку ведрами в комнату, перешагивая через мертвых.

В первую же весну многие курильщики стали выращивать табак. Табак — растение с метр высотой, с толстым стеблем и большими мясистыми листьями. Чтобы получить из собранных и высушенных стеблей и листьев махорку, наши изобретатели придумали машинку — нечто вроде резака для обрезки фотографий, только с десятком верхних и нижних ножей. Таким образом проблема курения была решена. Сделал такую машинку и я, обеспечивая маму махоркой на всю зиму.

Не обходилось без воровства на огородах. Однажды, придя с работы, мама сказала, что ночью один из наших эвакуированных, работавший на совхозном радиоузле, застрелил на своем участке поселкового дурачка и тот вроде бы лежит у него под забором. В совхозе все знали этого дурачка и звали его «Обожди, товарищ». Дурачок — молодой парень — был своего рода совхозной достопримечательностью. Ненормальность его проявлялась в том, что он не выносил табачного дыма, а почуввав дым, кричал, чтобы прекратили курить, а потом впадал в истерику и катался по земле. Был он в общем безобидным человеком: то появится в поселке, то куда-то пропадет. Иногда ребята постарше над ним издевались и, завидев, кричали ему: «Обожди, товарищ, дай закурить!» Это сразу же выводило его из себя. Никто не знал, был ли он действительно не в своем уме или симулировал, спасаясь от армии (говорили всякое), но власти его не трогали. Видимо, от голода он и полез ночью через забор в чужой огород. Хозяин огорода выстрелил в него мелкой дробью из охотничьего ружья и попал в голову. Спокойно уложил парня и отправился досыпать! Утром выяснилось, что парень не умер. Отлежавшись под забором, он на своих ногах, с разбитой дробью головой пришел в больницу. Ему перевязали голову, но в больнице не оставили. Еще сутки он пролежал во дворе больницы с пропитанной кровью повязкой на голове, а потом куда-то исчез из совхоза.

Школа

Немного в стороне от поселка — школа, где учатся дети работников совхоза. Есть и ребята из соседней башкирской деревни. В школе мы с ними жили довольно дружно. Зато летом, когда совхозные ходили на речку, кто-нибудь из деревенских, подъехав верхом на лошади, мог ни за что так хлестануть кнутом школьного «друга», что след от удара оставался на долго. Но вот что интересно — ленинградских ребят они не трогали.

Это уже настоящая школа, с просторными, светлыми классами, с небольшим спортивным залом и широким коридором, где зимой на переменах можно было вволю побегать, согреться. Круглые печи, отапливаемые дровами, грели плохо, а случались морозы в двадцать пять, а то и в сорок градусов, так что замерзали чернила в чернильницах. В классах сидели в пальто. Но учились!

Директор школы — наша хорошая довоенная знакомая Вера Ивановна Гвоздовская. Тоже из эвакуированных. По какой-то счастливой случайности она с семилетним сыном оказалась в совхозе. Поселили их в комнату в одном из коттеджей. Другую комнату в нем занимал кто-то из совхозных служащих. Позднее, когда эта комната освободилась, удалось договориться с дирекцией совхоза о том, чтобы ее заняли мы с мамой (отец к тому времени уже находился в армии).

Из школьных учителей помню лишь некоторых. Должно быть, память о них сохранилась из-за трагических обстоятельств их жизни. В школе работала семейная пара учителей-ленинградцев. Он, как мне тогда казалось, очень пожилой мужчина. Высокий, худой, с всегда взлохмаченными седыми волосами и щетиной на лице. Она — маленькая, вся сморщенная горбуныя. Оба, тихие и вежливые, производили какое-то жалкое впечатление. И как же ученики над ними издевались на уроках! Проклятая детская жестокость! Они терпели. У них было два сына. Крепкие, здоровые парни. Сначала забрали в армию старшего. И вскоре родителям прислали похоронку, где сообщалось, что их сын погиб на фронте. Вскоре мобилизовали и младшего сына: погиб и он. Беспомощные старики остались совсем одни. Потом как-то незаметно они исчезли из совхоза.

Вот учительница и наша пионервожатая Александра Владимировна. Молодая, небольшого роста блондинка. Хорошо плавала и летом вместе с ребятами ходила купаться на дальние озера. Ее ребята буквально боготворили. Однажды в поселке появился молодой мужчина, все звали его Володя. Выяснилось, что он танкист, приехал домой из госпиталей долечиваться после ранения. Ходил в военной

форме. В то время в школах были обязательны уроки военной подготовки, и его приняли на работу в школу военруком. Учеников уже с младших классов учили ходить строем, ползать, окапываться, разбирать и собирать винтовку, колоть соломенные чучела штыком, бросать гранаты. Всему этому нас учил Володя, действуя одной здоровой рукой — другая была в гипсе и на перевязи. До сих пор я не забыл его команд типа «справа прикладом бей, штыком коли!». Через некоторое время Александра Владимировна и Володя поженились, и почти сразу же после свадьбы он уехал в действующую армию. А очень скоро Александра Владимировна получила известие о гибели мужа. С осени учительствовать она не вернулась, была беременна. Очень хотела, чтобы у нее родился мальчик, мечтала назвать его Володей, но родилась девочка.

Летом 1943 года меня и еще нескольких ребят направили от школы в пионерский лагерь — на поправку. Лагерь находился далеко в башкирской деревне и размещался в здании школы. Два класса были приспособлены под спальни. На полу вплотную разложены матрасы и подушки, набитые соломой. Простыней и наволочек на матрасах и на подушках нет.

Никогда до этого и после этого я не подвергался организованному отдыху в пионерлагере. Скажу, что лагерь навсегда отбил у меня желание к подобному оздоровлению. Провел я в нем всего два дня. Из-за отсутствия продуктов меню не отличалось разнообразием. Кормили нас в эти два дня одинаково: утром и вечером немного каши и жиденький компот с кусочком хлеба, в обед суп из предварительно разболтанных и сваренных в подсоленной воде белков и желтков яиц. Помню неприятный вид этого супа — длинные белковые нити и желтковые ступки в мутноватом бульоне. Но это варево было съедобно, ели с удовольствием. Такой рацион еще можно было бы терпеть. Главный сюрприз поджидал меня в первую же ночь. Спать ложились вповалку, новенькие и те, кто приехал раньше нас. Утомившись за день, спал я крепко. К утру чувствую, что тело и голова сильно чешутся. Поднял голову от подушки, а на ней — ужас! — шевелятся десятки вшей. Больше «отдыхать» в таком лагере не захотелось, и я, дождавшись, когда днем из совхоза в лагерь пришла подвода с провиантом, упрямил возчика отвезти меня домой. Сбежал.

Голуби и грачи — птицы съедобные

Ну кто сегодня, разглядывая воркующего красавца голубя, мечтает его ощипать и сварить? Мы мечтали.



Вблизи хранилищ кормятся огромные стаи голубей. Потревоженные, они взлетают и тут же садятся на крышу, покрывая скат крыши сплошным ковром. Но уже к осени 1942 года голубей в совхозе почти не осталось. Их съели. Особенно усердствовал в этом деле совхозный агроном. Вот он вспугнул стаю, и голуби взлетают. Один выстрел снизу из ружья мелкой дробью буквально сметает с крыши десяток птиц. Настреляв голубей, агроном важно шествует по улице с ружьем на ремне и связкой птиц в руке.

Мы с другом Юркой Первухиным тоже пытаемся охотиться. Только вместо ружей у нас рогатки. Но теперь пуганые голуби и близко к себе не подпускают, а издалека убить птицу с плотным оперением невозможно. А что если забраться в зернохранилище, куда через форточки или разбитые окна залетают птицы? Странно, но некоторые хранилища поначалу никем не охранялись. И хотя их ворота заперты на огромные висячие замки и опломбированы, мы ухитряемся через щели протиснуться внутрь. И начинается охота! Набрав полные карманы камней, пытаемся сбить голубей, сидящих под крышей на балках перекрытия. После первых же бросков голуби срываются со своих мест, перелетают из одного конца помещения в другой. Мы в охотничьем азарте бегаем за ними, утопая ногами в толстом слое пшеницы. Некоторые голуби, пытаясь вылететь в окна, со всего маха ударяются в стекла, разбивая их. Такой способ охоты иногда приносит успех, и тогда мама из крохотных кусочков голубиного мяса делает нам жаркое с картофельным пюре. По глупости мы не думаем, что наши визиты в хранилища, да еще в военное время, могут иметь неприятные последствия. И вот еще парадокс. Время голодное, и гоняясь за птицами, мы вязнем в отборной пшенице, но у нас не возникает и мысли прихватить немного зерна домой. Это уже позднее, когда однажды осенью около одного из хранилищ поставили комбайн и провеивали привозимое с полей зерно, мы с ребятами подбегали к комбайну, сдергивали горловину мешка, в который сыпалась по желобу пшеница и, набив ею карманы, удирали от работавших там женщин. Потом около комбайна поставили сторожа с собакой. Но каши из сворованной тогда пшеницы мы с мамой все-таки попробовали!

В совхозе у меня завязалась большая дружба с Колей Саломеевым. Звали-то его Николаем Павловичем, но так уж повелось: Коля и Коля! Уж не знаю, почему он, взрослый человек, лет тридцати, как-то привечал меня. Еще до войны Николай потерял ногу выше колена и ходил на протезе. До эвакуации работал парикмахером в заводском поселке. В совхозе ему выделили две комнатки в бараке: одну из них он оборудовал под парикмахерскую, в другой жил сам.

Клиентов у Николая всегда было достаточно: совхозные жители, приезжие из соседних деревень. Сначала я приходил к Николаю, чтобы просто посидеть и посмотреть, как он работает. Это было интересно, потому что работал он весело, любил за работой поговорить с клиентом, пошутить. Потом нашлась работа и мне. В крохотном закутке за занавеской я кипятил на примусе воду, взбивал пену для бритья и подавал ему на подносе, а после стрижек подметал помещение. В общем, исполнял обязанности «мальчика». Мальчик, воду! Мальчик, полотенце!

В первую же зиму Николай где-то раздобыл старое охотничье ружье, и весной стали мы с ним ходить в березовую рощу за пропитанием, стрелять грачей. На изношенном протезе и с толстой тростью ему было трудно ходить, поэтому мне доверялось быть оруженосцем, нести ружье и добычу. Из убитых грачей можно было сварить суп или, пока еще у некоторых местных жителей были коровы, обменять их на молоко по курсу один грач — пол-литра молока. Прежде чем варить грача, ощипанную и выпотрошенную тушку полагалось сутки отмочить в воде. Это, конечно, не голубь. Мясо грача осклизлое и синюшное, но есть его все же было можно.

С грачами связано еще одно мое героическое приключение: настолько же героическое, насколько и глупое. Весна. В березовой роще тысячи грачей откладывают яйца в гнезда, устроенные на самом верху высоких гладкоствольных берез. Ветви деревьев еще голые. Грачиный гвалт не прекращается с утра до вечера. У местных ребят развлечение — залезть на березу и набрать грачиных яиц. Своего рода соревнование храбрецов — кто выше заберется и кто больше наберет. Главная трудность — добраться по стволу березы до первых суков. Длина гладкой части ствола — более половины высоты дерева, и мне это никак не удается, силенок маловато. Помогла книга. Однажды прочитал, как индейцы забираются на кокосовые пальмы. Надев на ноги веревочную петлю, индеец охватывает ствол ногами и руками так, что петля надежно поддерживает его на стволе, не позволяя соскользнуть вниз, и, отталкиваясь ногами, свободно перемещается вверх. Когда в роще никого не было поблизости, попробовал и я таким способом забраться на дерево. Получилось! Чтобы не было страшно, пока забирался, вниз не смотрел. Добрался до ветвей, ну а там уже проще — с сука на сук, а по суку доберешься и до гнезда. Вокруг летают, кричат и пикируют на тебя грачи, только успевай отмахиваться. Яиц набрал полную шапку-ушанку, держа ее за связанные тесемочки в зубах. Вот удивлю я этих местных! Теперь нужно спускаться. Пока лез вверх, ветра не было, а тут подул ветерок, и верхушка дерева начала раскачиваться. Глянул

вниз — и от страха не могу пошевелиться. Ни ноги, ни руки не действуют. Тут уж не до шапки с яйцами, выпустил тесемки изо рта и медленно-медленно, по сантиметру, стал по суку продвигаться к стволу. Добравшись, какое-то время неподвижно просидел, обхватив ствол березы дрожащими от страха и напряжения руками и ногами. Потом, деваться некуда, начал осторожно спускаться. Это оказалось гораздо страшнее, чем подниматься. Уже на земле очистил свою шапку от яичницы и скорлупы; дома, втайне от мамы, пришлось ее стирать. Желания забираться на высокие деревья и кого-то удивлять больше у меня не возникало. Но гордость, что забраться на березу все-таки сумел, осталась! И полезный урок на всю жизнь: для достижения цели иногда достаточно всего лишь простенького приспособления.

Охотник и рыболлов

Осенью 1942 года в совхозе неожиданно появился муж Веры Ивановны, Николай Гвоздовский. Когда немецкие войска приблизились к Ленинграду, он и Семен Филиппович Нагулин были оставлены в тылу врага в партизанском отряде. Николай рассказал, что их отряд попал в окружение и Семен Филиппович был тяжело ранен в бою. Партизанам удалось вырваться из окружения и вынести его. Позже у Николая обострилась язва желудка, и его признали негодным к военной службе.

В совхозе мы живем с Гвоздовскими одной семьей. Вскоре Николай тоже обзавелся ружьем и часто брал меня с собой на охоту. Осенью на озера, стрелять уток, зимой в поле или в урему — густые заросли черемухи — за зайцами. И там, и там мне отводилась роль собаки. Подойти незаметно к озеру, окруженному зарослями мелкого кустарника, трудно. Чуть ли не ползком пробираемся через кусты как можно ближе, выбирая удобное место для стрельбы. Ружье у Николая двадцатого калибра, и на утку с плотным осенним оперением оно слабовато. Иногда все же удавалось подстрелить одну-две утки, и тогда мне надлежало выполнять свою обязанность — раздаться и по-собачьи плыть за трофеем.

Успешнее охота зимой. В поле, в зарослях кустарника, в лесу — везде натоптаные заячьи тропы. В поле — заяц-русак, крупный, с серой шерстью. В лесу — беляк, стройный, весь белый, черные только кончики ушей. Местные жители называют зайца «куян». В этой охоте моя задача — выгнать зайца под ружейный выстрел. Лучше всего это можно сделать в логах — длинных оврагах, на склонах которых, зарывшись в снег, дневали зайцы. Вытопчешь зайца — он, не сворачивая, несется по дну оврага под выстрел.

В войну не стало охотников, и зайцев развелось много. Зимой даже в ближайших окрестностях поселка спугнешь, бывало, одного зайца, и он, удирая, вспугивал других, и вот уже по полю их несется сразу несколько. Как-то, переходя на лыжах заснеженное поле, на котором то там, то здесь в сугробах были видны заячьи лежки, мы с ребятами остановились около одной из нор, и кто-то шутя ткнул в нее лыжной палкой. Ну-ка, заяц, вылезай! Вдруг снежный наст вокруг норы вздыбился, и перепуганный заяц-русак выскочил из-под снега вертикально вверх, плюхнулся обратно и, проскочив у кого-то между ногами, помчался по полю. Все это заняло доли секунды.

Местные ребята рассказывали, что до войны зимой охотники добывали зайцев петлями, расставляя их на заячьих тропах в большом количестве. Натоптаные зайцами тропы можно было обнаружить в кустарнике, едва выйдя из поселка. Попробовал ставить петли и я. Петля из тонкой стальной отоженной проволоки на ночь устанавливается в наиболее узких местах заячьей тропы. Свободный конец проволоки привязывается к ветке или стволу дерева, а сама петля располагается вертикально, поперек тропы, на небольшой высоте так, чтобы бегущий заяц попал в нее головой. Много раз ставил я по десятку петель. С волнением шел утром проверять свои ловушки, но никто почему-то в них не попадался. Лишь однажды в петлю, по-видимому, попал заяц. Еще издалека я увидел на том месте, где стояла петля, следы крови и клочья заячьей шерсти. Думаю, что «мой» заяц достался волку. Было так обидно! Уже потом, гораздо позже прочитал в охотничьих книгах, что, ставя петли, я допускал массу ошибок. Главная — я не обрабатывал петлю особым способом, чтобы уничтожить запах человека,

Весной и летом любимое занятие — рыбалка, приносящая иногда ощутимую прибавку к нашему рациону. Здесь главная забота — раздобыть крючки и лески. С крючками мне повезло благодаря знакомству с Колей Саломеевым. Обслуживая местных, он «закидывал удочку» насчет крючочков, и клиенты снабжали его из своих неприкосновенных запасов. Сложнее было с леской. Ее ребята изготавливали сами из волос конских хвостов. Научили и меня. Тут целая технология! Для начала нужно надергать волос из лошадиного хвоста, причем обязательно из хвоста коня, а не кобылы. Непрочный кобылий волос на лески не годится. Затем конские волоски свиваются, образуя короткие отрезки лески из четырех-шести волос. Потом эти отрезки связывают и получают леску нужной длины. Самое трудное — добыть нужное количество волос. Волосом запасались с зимы. Лошадей в совхозе немного, а лошадей



Немецкая агитационная листовка, 1943 г.

мужского пола и того меньше. Их приходится отслеживать. Завидев, что кто-то едет на лошади, поджигаем, когда хозяин остановится и отлучится. И тут уж успевай дери лошадиный хвост! Самый прочный и длинный волос — в хвосте совхозного племенного жеребца. Для разминки конюхи иногда запрягают жеребца в легкую коляску или санки, а летом еще водят его на реку купать. Тут-то и можно упросить их и надергать пучок волос.

Башкирская деревня

Дорога к реке, куда мы ходим ловить рыбу, проходит по улице башкирской деревни Алегазово, спускается вниз со склона и выходит к мосту через реку. Говорили, что до войны в деревне было много овец. Сейчас их не видно, должно быть, всех сдали на мясо. Я не видел, чтобы в деревне выращивали картофель и овощи. Как эти люди существовали в войну? Не знаю. Вот и умирали от голода. Чтобы справиться с голодом, жители деревни выкапывают в поле какие-то корешки, едят мясо речных ракушек-беззубок. Набрав в реке ракушек, их тут же на берегу кипятят в ведре на костре. После кипячения створки легко открываются ножом. Бывало, смотришь, сидят несколько человек на берегу вокруг костра, варят ракушек и выковыривают ракушечье мясо. Отвратительный запах варева ощущается издалека. Но голод сильнее.

На полпути между совхозным поселком и деревней Алегазово — мусульманское кладбище, огороженное стеной из камня-плитняка. Из любопытства иногда заходим с ребятами на кладбище через ворота, а чаще просто перелезаем через ограду. Нам интересно, как хоронят мусульман. Оказалось, что хоронят их не в гробах, а тело зашивают в мешок или заворачивают в материю. В могиле внизу сбоку делается ниша, в которую помещают умершего. За-

тем нишу закрывают дощечками и засыпают могилу землей.

Летом 1943 года умер один из наших эвакуированных, русский, еще не старый мужчина-инвалид. Не знаю, как договорилась его жена, но похоронили мужа на этом кладбище. Причем не где-нибудь в сторонке, а совсем близко от мусульманских могил. Немного позже началась страшная засуха, высохла вся трава, не хватало корма оставшемуся скоту, сильно обмелела река. Деревенский мулла объяснил односельчанам, что это Аллах наказал деревню за то, что на мусульманском кладбище похоронили неверного. Чтобы Аллах простил деревню, сказал мулла, нужно, чтобы каждый ее житель вылил на могилу неверного по 40 ведер воды. Что тут началось! От реки, где брали воду, до кладбища не меньше километра. И вот к кладбищу, как муравьи, тянутся люди с полными ведрами и выливают воду на могилу. Так продолжалось двое суток. Не знаю, остановили ли это варварство власти или оно прекратилось само собой, но когда мы забрались на кладбище посмотреть, что стало с могилой, то на ее месте была просто полусохшая грязная лужа. Как скоро прекратилась после полива могилы засуха, не помню.

Но даже в самое голодное время не все в деревнях бедствовали. Помню, этим же летом мама ездила по окрестным деревням, делала прививки от каких-то болезней. В легкий тарантас запрягли больничную Машку, и мама одна отправлялась в очередную деревню далеко от дома. Сама она запрягать лошадь не умела и только правила ею. В одну из поездок мама взяла и меня. Больничный конюх запряг Машку, передал вожжи маме, и мы поехали. До деревни далеко, дорога тянется по степи с перевала на перевал, и наша кобыла то тащится неторопливым шагом вверх, то бежит рысцой под горку. Вокруг тишина, ни ветерка, жарко. Острые запахи полынной степи перемешаны с запахом лошади. Дорога пуста. Потом вдаль, на перевале, показалась встречная подвода. Видно, что едет быстро: за ней тянется столб пыли. Мы поднимаемся медленно в гору, встречная телега с грохотом пронесется мимо. В телеге трое мужчин, один из них, погоняя лошадь, хлещет ее кнутом. Промчались — и снова тишина. Через некоторое время нас остановили ехавшие навстречу люди в штатском. Спросили, не попадался ли нам кто-нибудь в пути. Приехав в деревню, мы нашли председателя местного колхоза. Он был в большом возбуждении. Оказалось, что несколько часов назад ограбили не то почту, не то кассу (сейчас уже не помню точно). Потом мама по своим медицинским делам пошла по дворам, а я остался сидеть на крыльце правления колхоза. Подошли ребята моего возраста, стали что-то спрашивать. Понять их было

трудно, они почти не говорили по-русски. Поразило, что некоторые мальчишки были совсем без штанов и одеты только в короткие, до колен, грязные рубахи. Рубахи задираются, и видно голое тело. Когда мама закончила дела с прививками, нас пригласили в дом председателя и накормили сытным обедом. Потом пили чай с медом и со сливками, заедая пирогами с черемухой и шаньгами с картофелем. Мед можно было черпать ложкой из стоящей на столе посуды! Как видно, председатель не голодал. Домой мы везли драгоценное угощение — банку меда и банку топленого масла.

Станция Угловка. Комбинат

Весной 1944 года среди ленинградцев прошел слух, что можно запросить официальный вызов, чтобы возвратиться к месту прежнего жительства. И в июле мы вызов действительно получили, хотя ехать-то нам фактически было некуда — от Поповки, где мы жили до эвакуации, осталось ровное место. Неожиданно нам повезло. Из Ленинграда приехала женщина, уполномоченная вывезти ленинградцев из совхоза и соседних деревень. Вера Ивановна пригласила ее остановиться в нашем доме. Звали женщину Мария Федоровна Тирик. В совхозе с желающими вернуться она разобралась быстро, а потом еще некоторое время разъезжала по деревням, разыскивая ленинградцев. Мария Федоровна посоветовала нам немного подождать и уехать со всеми вместе. Конечно же, мама согласилась, только попросила оформить нам проездные документы до станции Угловка (это в Новгородской области), где в поселке известкового комбината теперь жили Нагулины. К тому времени мы с ними об этом списались. Уезжали из совхоза не все. Остались Вера Ивановна с сыном в ожидании, когда Николай, уехавший незадолго до этого на родину, выхлопочет им вызов, остался Коля Саломеев, женившийся на Кате Вагановой, местной жительнице-вдове.

* * *

И вот мы в Угловке. Оттуда до поселка известкового комбината еще три километра. В поселке нас приютили Нагулины. Их дом стоит на отшибе, на краю небольшого оврага. Это обычная деревенская изба, состоящая из двух небольших комнат, кухни и прихожей. Вход в дом — через пристройку, в которой они держат поросенка и кур. Примерно треть одной из комнат отгорожена фанерной перегородкой — там детская: у перегородки Майкина кроватка (Майке шесть лет), у другой стены — железная казарменная кровать Юры (это дети Нагулиных).

Юра младше меня на четыре года. Почти два года мне пришлось спать на полу между их кроватями, места хватало только, чтобы расстелить мой матрас.

Рядом с поселком в огромном карьере взрывами добывают известняк. После взрывов глыбы известняка грузят в вагонетки и лошадьми тянут их наверх. Потом мотовозом отвозят по узкоколейке в Угловку, где находятся печи для обжига. До войны в поселке были построены похожие на домны вертикальные печи для обжига и размалывания известняка. Сейчас они не действуют. В войну немцы не дошли до этих мест, и на территории печей какое-то время стояли полевые артиллерийские мастерские, ремонтировавшие минометы. В карьере работают заключенные и военнопленные немцы. Работа идет всю неделю, кроме воскресенья. И несколько раз в день там гремят сильные взрывы. Перед каждой серией взрывов на высокой мачте поднимается красный флаг и из мощных репродукторов разносится команда: «Коногоны, наверх!» (наверх).

С осени 1944 года я учусь в шестом классе. В поселке школы нет, так что приходится ходить в Угловку. Школа рядом со станцией, и нередко, сбежав с урока, мы болтаемся на вокзале, встречаем и провожаем проходящие пассажирские и товарные поезда, а бывает, ухитряемся прокатиться: вскочив на ходу на заднюю площадку товарного вагона, доезжаем до станции Окуловка. Таким же способом возвращаемся обратно.

Моему классу повезло — каждый год мы учимся во вторую смену. От поселка до станции идем по узкоколейке. Иногда, если попадается мотовоз с вагонетками, можно прицепиться к задней вагонетке и немного проехать. Но машинисты мотовозов не любят этого, останавливаются и гонят нас. Летом интереснее пройти до станции по главной железной дороге Ленинград — Москва, шедшей параллельно узкоколейке. На обочине тут можно найти множество интересных или полезных вещей, выброшенных из вагонов проходящих поездов: бутылки, разорванные фотографии, коробки и т. п.

В октябре 1944 года в классе среди нас, четырнадцатилетних, появились новенькие. Две девушки лет по восемнадцать. Ходили они в школу поначалу в солдатских гимнастерках, ватниках и сапогах, и у каждой на груди медали. Девушки не стесняясь, курили и ругались матом. Вскоре мы выяснили, что когда из поселка уходили артиллерийские мастерские, подруги сбежали с ними на фронт, а ближе к концу войны их отправили домой. Постепенно все притерлись друг к другу, и часто на переменах эти ученицы еле отбивались от наседавших на них мальчишек. Нам же удовольствием было нападать на них, устраивать кучу-малу.



Осенью и зимой темными ночами идти домой после уроков стараемся группками. Ходить в одиночку страшно, особенно там, где к узкоколейке вплотную подходит лес. Ходят слухи, что там под небольшим мостиком через ручей прячутся бандиты и грабят прохожих. Страх этот используют учителя, оставляя кого-либо из нерадивых учеников после уроков. Своя порция страха однажды досталась и мне.

30 декабря 1944 года, время около одиннадцати часов вечера. Я возвращаюсь из школы один, после второй смены. Так поздно, потому что учительница математики опять оставила меня делать домашнее задание. Иду по узкоколейке. За плечами у меня мешок с учебниками. Лесной участок дороги я уже прошел, дальше узкоколейка по высокой насыпи поднимается в гору, а там и дом рядом. И хотя зимой ночью возле нашего дома, стоявшего на краю поселка, можно было увидеть волков, мне уже почти не страшно. Слева и немного спереди полная луна голубым светом освещает все вокруг. Морозно. В лунном свете поблескивают кристаллы чистого-чистого снега. Очень красиво и так радостно, завтра Новый год. Я уже прошел половину подъема, как впереди на рельсах показался человек. Идет навстречу. Потом остановился, стоит неподвижно. На нем тулуп до пят, воротник поднят так, что лица не разглядеть. Страшно. Однако деваться некуда, с опаской иду вперед. До человека оставалось совсем немного, как вдруг он наклоняется, хватая что-то и молча бежит на меня. Я развернулся — и удирать! Сзади о рельсы стукнул камень. Отбежав подалее, обернулся — человек опять неподвижно стоит на дороге. Что делать? Пришлось идти домой окружным путем: внизу узкоколейку пересекала тропинка, выходящая к ветке железной дороги, идущей от станции в поселок. Сделав крюк, добрался до дома часам к двенадцати ночи. Рассказал обо всем и разревелся, как маленький, так мне стало обидно и горько от того, что завтра Новый год, что папа на фронте и что меня некому защитить. Семен Филиппович тут же оделся, взял свое оружие и пошел на узкоколейку проверить, что за человек там был. Вернувшись, сказал, что никого не обнаружил. Потом в поселке говорили, что в этот день из карьера сбежали несколько заключенных.

Из поселковых ребят дружу с Юркой Николаевым, мальчишкой примерно моих лет. У него ампутирована нога ниже колена, и он прыгает на одной ноге с самодельным костылем под мышкой. Иногда в азарте бросает костыль и скачет на одной ноге, размахивая остатком другой. Юрка нигде не учится. Ногу он потерял, побираясь по поездкам и выпрашивая куски хлеба. Лучше всего, говорил Юрка, подавали солдаты в воинских эшелонах. В те голод-

ные годы этим промышляли многие — и взрослые, и дети. За кусками уезжали далеко от дома, в другие области. Из поездки привозили мешки хлебных кусков на сухари. В одну из таких поездок, рассказывал Юрка, он, прыгая с мешком за плечами с открытой платформы, он зацепился за ее борт и повис. Отцепиться или подняться на платформу не смог, и на большой скорости его раскачивало и ударяло о борт, раздробив в результате ногу. Где он жил и кто его родители, не знаю. Во всяком случае, большой заботы о нем они не проявляли. В нашем доме Юру часто подкармливали и подвергали «санобработке», промывая от обилия вшей его нечесаную голову керосином.

Каждый год учеников посылают в лес на заготовку дров для школы. Старшеклассники валят деревья, а младшие обрубают сучья и распиливают ствол на двухметровые куски. Конечно, устаем, но это интереснее, чем школьная зубрежка. Осенью 1944 года наш класс отправили на уборку картошки в дальнюю деревню. Половину класса поселили в доме у одинокой женщины. Дочь ее служила в армии. Самое яркое воспоминание этой поездки не о том, как мы работали, а о том, как мы ели, как нас кормила хозяйка. У нее была своя корова, да колхоз еще отпускал для школьников молоко и хлеб. И вот, усталые и голодные, приходим с поля в дом, а там — котел горячей рассыпчатой картошки в мундире, соль, хлеб, молоко, пей и ешь, сколько влезет!

И опять улыбаюсь! Хозяйка получила телеграмму от дочери, что та возвращается из армии, и попросила нас встретить ее на ближайшей станции. И вот мы на станции, дождались поезда. Из вагона какие-то военные спустили на землю несколько чемоданов, потом сошла женщина в черной морской шинели с погонями. Значит, она! Подошли, сказали, что встречаем ее. Высокая, с черными волосами, выбивающимися из-под пилотки, и большими темными глазами, она показалась нам очень красивой. Было видно, что она беременна.

— Мальчики, помогите нести чемоданы, мне нельзя.

Разобрали чемоданы и двинулись в путь. Мне достались чемодан и сумка. Чемодан не очень тяжелый, но большой. До деревни идти километра два по лесной тропинке. На пути в лесу нужно перейти широкий ручей. Через него перекинуты трухлявое бревно и пара жердин. Ребята со своей ношей перешли благополучно. Вслед за ними идет хозяйская дочка, а за ней замыкающим я. Когда дочка уже почти перебралась на другой берег, а я оказался как раз посередине бревна, оно неожиданно переломилось, и с чемоданом в одной руке и с сумкой в другой я полетел в ручей и воткнулся головой в илистое дно.

Выбраться из ручья сам не могу, руки у меня заняты, голова внизу. К счастью, это длилось несколько секунд. Кто-то из ребят прыгнул в ручей, помог выбраться. Потом, в доме, пришлось сушить свою одежду у печки. Ребята долго смеялись, рассказывая, как я торчал из ручья и дрыгал ногами. Но хозяйкина дочка вряд ли разделяла их веселье. Что у нее в подмошке чемодане было?

Культурный отдых и невинные развлечения

Единственный объект культуры в поселке — клуб — располагался в огромном деревянном сарае. В клубе изредка были танцы с драками между поселковыми и угловскими ребятами. Раз в неделю кино. Киномеханик — Дима Балков, молодой мордастый парень лет двадцати, избежавший по какой-то болезни армии. Чтобы попасть в кино без билета, с Балковым нужно дружить: в день показа кино привезти из Угловки коробки с кинолентами, а на следующий день отвезти их обратно. За это он пускает нас в клуб, а иногда разрешает смотреть кино из кинобудки через окошечко. Летом, даже если клуб закрыт, о том, что механик на месте, можно догадаться по звукам музыки, раздающимся из динамика, висевшего на столбе около клуба. Музыка он врубает на полную мощность, так что слышно на другом краю поселка. Балкову нравится, когда у него в клубе собираются мальчишки. Кинобудка располагается на втором этаже, и, чтобы попасть в нее, нужно подняться по деревянной лестнице. Наверху, перед железной дверью в будку, — небольшая площадка, на которой хорошо сидеть, свесив ноги, и слушать сочинения Балкова о его любовных похождениях (что мы тогда в этом понимали, тринадцати-четырнадцатилетние пацаны). Развлекаемся. Всегда нетрезвый, Дима берет микрофон и начинает орать в него дурным голосом что-нибудь вроде: «Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Европу, солнце светит прямо в жопу!» Мы подхватываем, и все это через мощный усилитель разносится по поселку. Нам нравится! Весело. Потом мы просим Диму показать кино задом наперед, от конца фильма к началу. Маленькую картинку смотрим прямо на белой стене будки, и снова весело! Вот так и общались к культуре.

Взрослым в поселке тоже хотелось веселья: многие по праздникам напивались по-черному. В нашем доме пьяных не любили, и если приходили гости, пили весьма умеренно, вели разговоры, пели песни. Семен Филиппович, кубанский казак, выпив, обязательно пел свою любимую — казацкую «Голова ль ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить». Когда запевалась эта песня, это означало, что он набрал

свою норму и больше не выпьет ни капли. В подпитии развлекались. Одним из номеров в программе развлечений у взрослых был пьяный петух. Поймав петуха, вливали ему в клюв водку. Сначала петух начинал громко кукарекать, бойко гоняться за курами, потом его движения становились все более неуверенными, наконец, у петуха подкашивались ноги, и он падал без чувств. Почему-то всем от этого было страшно весело. Затем начиналась стрельба по банкам и бутылкам, расставленным на заборе. Давали пострелять из пистолетов и нам с Юркой.

Это сейчас у молодежи масса возможностей для безопасных развлечений с острыми ощущениями. Им хочется адреналина! Мы развлекались своеобразно, с использованием местных условий, и этих самых острых ощущений нам хватало с избытком! Интересно пострелять из винтовки или обрезка, добыть взрывчатку и что-нибудь взорвать. Возможностей для этого много. Можно выменять взрывчатку, капсюли и бикфордов шнур на картошку у взрывников в карьере. Но много тут не наменяешь, особенно капсюлей и шнура. Гораздо рискованнее, но добычливее, дефицитные капсюли и шнур просто украсть. Несколько раз в год на комбинат привозят боеприпасы, и в тупике между двумя пригорками выгружают их из вагона прямо на землю. Разгрузив, ставят охрану — тетку с винтовкой. Нужно неожиданно выскочить из-за пригорка, схватить коробку с капсюлями или моток бикфордова шнура и смыться, надеясь, что женщина, даже увидев воришку, стрелять в него не станет. Позже охрану усилили, ставили солдата с собакой, и стащить что-либо было уже невозможно.

Наиболее рискованные ребята воруют толовые шашки из воинского склада недалеко от поселка. Небольшой домик на дне заросшего кустами глубокого оврага охраняется настоящим часовым. Незаметно подобраться к домику, смельчаки как-то ухитряются забраться внутрь и вынести несколько толовых шашек. Потом этот склад ликвидировали, и надо было искать новый источник взрывчатки. Вспомнили об артиллерийской ремонтной мастерской, стоявшей когда-то в поселке. Чтобы испытать отремонтированный миномет, ремонтники стреляли из него по расположенному за поселком полю, сильно заболоченному с одного края. Попадая в заболоченную часть, некоторые мины не разрывались и уходили глубоко в грунт. На поверхности оставались только заплывшие входные отверстия. Их можно было легко обнаружить и извлечь совершенно неповрежденную мину. Мины батальонного миномета большие и тяжелые. Докопавшись до стабилизатора мины, подводим под него пару жердей и, действуя ими как рычагами, понемногу вытягиваем



мину за хвост наверх. За то время, что мины пролежали в болоте, они даже не успели покрыться ржавчиной. Первые добытые мины мы просто клали в костер и, укрывшись в воронке или в другом укрытии, терпеливо ждали взрыва. Вот уж где адреналина! Но нам нужна взрывчатка — нужно выплавить из мины тол. Для этого необходимо вывинтить из мины взрыватель. Удивительное дело: оказалось, что это можно сделать голыми руками. Очередное любопытство: взорвется ли вывернутый взрыватель, если его ударить о камни. Не взрывается! После десятка бросков взрыватель расшатался, его удалось разобрать и извлечь небольшую толую шашечку с утопленным в нее капсюлем. Это была находка, потому что к тому времени доставать капсюли иным путем стало невозможно. Правда, наш минный промысел продлился недолго. То ли кто-то из нашей компании разболтал секрет другим ребятам, то ли мы сделали это открытие одновременно, но вскоре при разборке мины подорвались несколько мальчишек из «конкурирующей» компании.

Имея взрывчатку, шнур и капсюли, хотелось проверить какие-нибудь полезные идеи. Самой простой была попытка глушить рыбу в лесных озерах. Однако рыбы в них уже не было, переглушили всю до нас. Как-то, заготавливая в лесу дрова для школы, решили выяснить, можно ли свалить взрывом толстую ель. Привязав к елке трехлитровую консервную банку с толлом, завалили ее бульжниками, подожгли бикфордов шнур и попрятались в проходившем неподалеку глубоком рве. Секунд через тридцать рвануло, выше верхушек деревьев летят бульжники размером с человеческую голову. Елка же осталась стоять почти не поврежденной, взрыв только слегка ободрал кору. Рационализаторов лесозаготовок из нас не получилось.

Начитавшись о подвигах партизан, подрывавших столбы линий связи и рельсы, захотелось сотворить что-нибудь подобное. Кто-то из друзей предложил взорвать мост через противотанковый ров за поселком. Это было настоящее инженерное сооружение: опоры и настил моста выполнены из бревен, по бокам прочные перила. Сказано — сделано! Заложили взрывчатку под настил, подожгли длинный бикфордов шнур и, отбежав подальше, залегли за бугром в ожидании взрыва. Неожиданно впереди из-за поворота дороги показался мужчина, идущий к мосту. Выскочив из-за укрытия, мы начали махать руками, кричать, чтобы он остановился. Мужчина же, видно, понял наши знаки наоборот и побежал к мосту. Его и наше счастье, что взрыв раздался, когда он еще не добежал до него. Пара бревен из настила взлетела вверх. Мужчину немного оглушило, он несколько секунд простоял без движения, потом замахал ку-

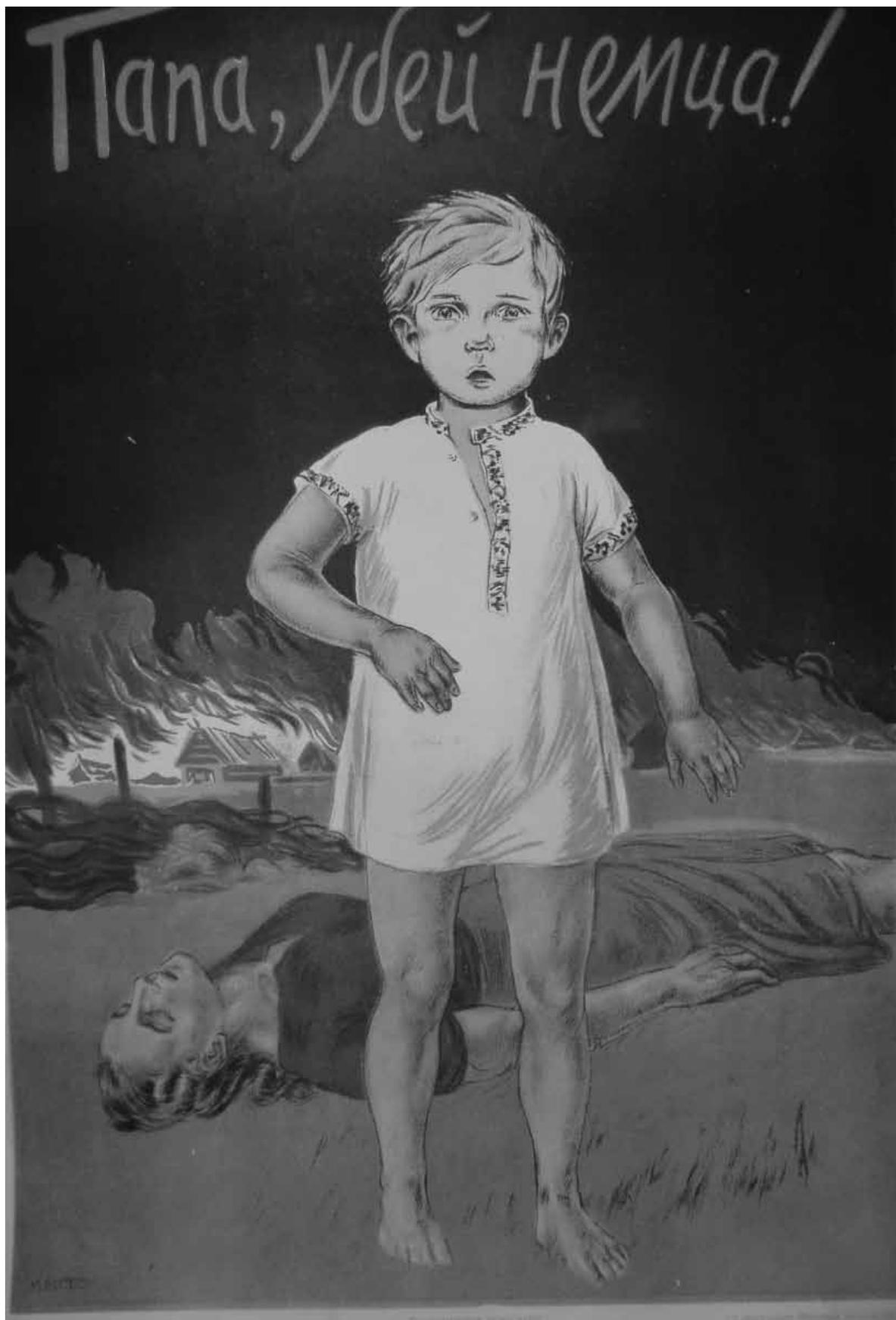
лаками и обложил нас последними словами. Но нас уже как ветром сдуло.

Детству присуще безрассудное любопытство. У меня этого любопытства с малых лет с избытком. Как-то захотелось поближе посмотреть, как взрывают известняк в карьере. Чтобы увидеть взрыв, я улегся на краю карьера, обрывающегося вниз почти вертикально. Наблюдаю, как внизу работают взрывники. Потом по сигналу все разошлись, и бабахнули взрывы: один, другой. Вокруг меня высоко, выше обрыва, взлетают и падают крупные куски известняка. Стало страшно, но бежать-то некуда. К счастью, остался цел, но желания разглядывать взрыв вблизи больше как-то не возникало. Пожалуй, после этого опыта я стал реально понимать, что чувствует солдат при бомбежке или артобстреле.

В поселке легко раздобыть исправную винтовку. Проблема только с патронами. Старшие ребята добывают их, проникая в опломбированные вагоны воинских эшелонов, стоящих на станционных запасных путях. Некоторые, наиболее отчаянные, воруют из танков, перевозимых на открытых платформах. Обычно эшелон с танками состоит из нескольких платформ, охраняемых часовым, ехавшим на одной из них. У каждого танка на башне пулемет с заправленной в него лентой с патронами. Храбрцу нужно на ходу поезда забраться на платформу, вытащить ленту, сбросить ее на насыпь, а потом прыгнуть с поезда и собрать трофей.

Как-то, выменяв в школе свой завтрак на пяток обойм с патронами, снаряженными разрывными пулями, я пошел пострелять в лесочек из обрез (винтовки с отпиленным стволом). Стояла осень, и на моей голове красовалась новая круглая шапка-кубанка с верхом из клиньев и пупочкой в центре. Шапку эту мама только недавно получила в каком-то фонде помощи. Пальнув несколько раз по шишкам на елке, решил стрельнуть по шапке. Поставил ее на пенек, отошел немного, прилег, прицелился и выстрелил. Вообще-то попасть в цель из обрез практически невозможно, но, видимо, в этот раз мне улыбнулась удача — разрывная пуля попала точно в центр, в пупочку, и разнесла середину шапки в клочья. Только тут мне пришел в голову вопрос: что делать с такой «обновкой», что сказать дома? Нашел кусок проволоки и стянул ею разорванные остатки клиньев. Разумеется, что утаить несчастный случай не удалось, и я был бит мамой полотенцем.

В другой раз попытка узнать, как устроена разрывная пуля, могла закончиться для меня значительно хуже. Разрывная винтовочная пуля по форме и внешнему виду ничем не отличается от пули обычной. Только в обычной пуле в оболочку залит



Плакат М. Нестеровой, 1943 г.



мягкий свинец, а в донце разрывной виден твердый стальной сердечник.

На скамеечке у стенки дома сидят Семен Филиппович с женой. Я примостился рядом на камушке. В руке у меня только что извлеченная из патрона пуля. Острый кончик ее окрашен в черный цвет, значит, пуля разрывная. Спрашиваю у Семёна Филипповича, как устроена такая пуля. Видимо, не вникнув в суть вопроса, он отвечает: «Да ничего особенного, мы в партизанах немного подпиливали кончик пули, и она, попав в преграду, разрывалась на части». Поняв, что внутри пули нет взрывчатого вещества, я, сидя на корточках и держа пулю плоскогубцами в одной руке, другой расплющиваю ее на камне молотком. Из тупого конца пули понемногу выдавливается сердечник. Наклонившись, чтобы лучше рассмотреть пулю, ударил еще раз. Взрыв и яркая вспышка перед глазами. Инстинктивно я опрокинулся на спину. Потом уже обнаружили, что стальной сердечник глубоко впился в доску, которой была защита стена. Повезло, что держал пулю в плоскогубцах сердечником к стене. Иначе он попал бы мне в живот. Последствие взрыва и вспышки перед глазами, нервное моргание сохранилось до сих пор как напоминание о глупой любознательности. Но видно, и это происшествие ничему меня не научило.

Очередное любопытство оставило воистину незабываемое впечатление. На улице я нашел конденсатор от системы зажигания автомобиля. В книжке вычитал, что если конденсатор зарядить, то при разряде получается искра. Надо же проверить! В нашей комнате нет розетки, но под самым потолком на кухне зачищены провода, чтобы подключать электроплитку в обход счетчика. Прикрутив к зажимам конденсатора проводочки, я поставил стул, на стул табуретку и, взобравшись на это сооружение, заряжаю и разряжаю конденсатор от сетевого напряжения двести двадцать вольт. Действительно, искра получается хорошая! И тут на свою беду я вспомнил, что обычные батарейки проверяют на язык, не разрядились ли они. А если таким способом проверить мой конденсатор? Я приложил проводки заряженного конденсатора к языку. Эффект оказался потрясающим! В первый момент показалось, что язык мгновенно распух и стал огромным, больше самой головы! Дальше не помню, очнулся я уже на полу. Слава богу, руки и ноги оказались целы.

Война закончилась

Наверное, с конца 1944 года на Москву пошли эшелоны с пленными немцами и с освобожденными советскими военнопленными. Немцев везли для работы в тылу, а наших военнопленных — в традиционные лагеря, для проверки. У ребят новое

увлечение. Проходя по железной дороге, ищем обрывки фото, которые пленные немцы по пути выбрасывали из вагонов. Было интересно попытаться сложить из них фотографию. Дело потруднее, чем собрать теперешние пазлы. Но иногда это удавалось. Соберешь из мелких клочков снимок — и видишь немецких солдат или офицеров в форме и с оружием.

О том, что война закончилась, узнали ночью. Все произошло как-то обыденно. Разбудила стрельба со стороны лагерей заключенных и крики «ура» на улице. В середине лета из армии вернулся папа, пройдя путь от Духовщины на Смоленщине до Латвии (к концу войны он служил в армии генерала И. Х. Баграмяна, освобождавшей Прибалтику). Был ранен. Дослужился до звания старшины. До сих пор я не забыл номер его последней полевой почты — 81133-Ю. Рассказывал, что поначалу, в 1942 году, его, очкарика, определили в кавалерию, дали коня и саблю. На первом же учении он отрубил ухо своему коню. Позднее перевели в артиллеристы. И только в последний год войны отправили служить на дивизионный обменный пункт — попросту на склад. На нескольких фотографиях того времени у него бравый вид: белый тулуп, шапка-ушанка, на ремне кобура с револьвером, на шее очки на веревочке. Помню, что привез мне подарок — немецкие подкованные сапоги с твердыми кожаными голенищами и немецкое генеральское галифе мышинного цвета. Это галифе и сапоги, размера на два больше моего, я донашивал уже в институте.

И снова праздничное воспоминание: случай, драматичный и немного смешной. Седьмое ноября 1945 года. Домой к нам зашел сослуживец Нагулина, майор, в форме и при оружии. Немного посидев за общим столом, женщины вышли. В комнате остались двое — майор и Семен Филиппович, да сновала с посудой из кухни в комнату его тещи (моя тетя). Мне в нашей комнатке через фанерную перегородку были немного слышны их разговоры; сначала хозяин и гость разговаривали спокойно, потом стали громко и зло спорить. Из любопытства пошел посмотреть, в чем дело. Только успел подойти к раскрытой двери в столовую, как бабахнул выстрел, и тут же между моих ног, ползком на четвереньках, из комнаты проскакивает насмерть перепуганная тетушка. В комнате бледный Семен Филиппович смотрит на висящий над столом портрет Сталина, а майор засовывает свой пистолет в кобуру. Пахнет порохом. Над портретом Сталина в потолке дырка от пули. Майор как-то быстро исчез. Оказывается, в пылу спора майор прицелился в портрет вождя, но Семен Филиппович успел отвести его руку, так, что пуля попала в потолок. Всех домашних он просил никому не рассказывать об этом. По тем временам такое «покушение» грозило обоим тюрьмой.

Зимой семья Нагулиных перебралась в Новгород, там нашлась работа. Весной туда же уехали и мама с отцом. Договорились, что я пока поживу у соседей, а когда закончатся занятия в школе, приеду к ним.

Новгород

Наконец учебный год закончился. Чтобы попасть в Новгород, доехал до Чудова, сел на поезд Чудово — Новгород и часа через три был уже на месте. Вдоль дороги от Чудова в окрестностях станции Спасская Полисть — множество разбитой техники: пушки, автомобили, повозки. Это остатки окруженной и разбитой здесь армии генерала Власова. На вокзале меня встретил отец с машиной. В кузове полуторки еду домой. Проезжаем мимо пустырей и развалин, мимо новгородского кремля с полуразрушенной аркой входных ворот, мимо небольшого, огороженного низенькой оградой стадиона с деревянными трибунами. Миновали невысокий крепостной вал — и вот он, наш дом. Это финский стандартный щитовой домик с двумя входами. Половина дома наша. Внутри две небольшие комнатки. Первая, она же и кухня, — проходная, в ней плита. Недалеко, тоже в финском домике, живут Нагулины. Только их дом рассчитан на одну семью. Между нашими домами большой огород, так что к ним удобнее пройти прямо через него. Напротив, через дорогу, сильно поврежденная церковь Никиты Кожемяки, чуть дальше за каменными стенами виден Зверин монастырь.

Отец и мама работали. Отец — в строительном тресте, мама — в поликлинике. Новых друзей у меня еще не было, и день я обычно проводил у Нагулиных. Постепенно узнавал город.

Новгород сильно разрушен. После освобождения города от немцев целыми в нем остались всего около сорока домов. Кругом развалины, остовы зданий с обрушившимися перекрытиями, полуразрушенные церкви и монастыри. Общественного транспорта в городе мало, большинство передвигается пешком. По Волхову ходит несколько парходов, самый большой из них — колесный пароход «Всесоюзный староста М. И. Калинин». Мост через Волхов, соединявший когда-то кремль с торговой стороной, взорван, и обрушившиеся стальные фермы моста почти перегораживают реку. Лишь неширокий проход у правого берега позволяет проходить речным парходам и лодкам. Ниже по течению построен деревянный мост. В самом кремле сильно повреждены многие здания, участки крепостной стены, некоторые башни и церковные постройки. В центре кремля — восстановленный Памятник тысячелетия России. Немцы разобрали памятник на части, намереваясь вывезти его в Германию на

переплавку, но не успели. Когда советские войска вошли в кремль, фигуры и детали памятника лежали разбросанными на земле. Сильно поврежден Софийский собор. В годы оккупации немцы устроили в нем конюшню. Позолоченный главный купол собора ободран, остался один каркас. На стенах — следы от осколков и пуль. В северной стене собора большая, в рост человека, дыра, по-видимому, от разрыва снаряда. Ворота в собор закрыты, но мы с Юркой свободно пролезаем внутрь через дыру, охраны никакой нет.

В соборе пусто, лишь голые исцарапанные стены. Многие фрески повреждены. В одном углу собора раскопаны могилы. Кто-то тут поработал? Извлеченные гробы стоят рядом с могильными ямами. Гробы прямоугольные, обитые тонкими окислившимися медными листами. По меди — тисненый славянской вязью текст. В одном из гробов — мумия женщины с длинными светлыми волосами. Из надписи на крышке поняли, что это жена какого-то новгородского князя. Смотреть, что в других гробах, не стали. Вскоре лаз в собор заложили кирпичом. Но к тому времени мы с Юркой уже облазили весь собор до самых куполов.

Около колокольни собора, на бетонных площадках, — большие и малые колокола. У самого большого колокола сломано ухо. Когда советские войска оставляли город, колокола спрятали, утопили в реке Волхов. После освобождения города их вытаскивали танками, тогда и повредили большой колокол.

В городе разворачивалась большая стройка, где в основном использовался труд заключенных и военнопленных. Незадолго до конца войны вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о восстановлении разрушенных старинных русских городов, в числе которых был и Новгород. По утрам колонны заключенных под охраной солдат с собаками уныло тянутся на объекты, к вечеру обратно в лагерь. Солдаты знаками и окриками отгоняют встречных прохожих в сторону от конвоя: как бы чего не вышло.

Военнопленные немцы появились в городе несколько позже, наверное, в 1947 году. Их лагерь располагался недалеко от нашего дома, за Звериным монастырем, в корпусах какого-то полуразрушенного предприятия. Утром и вечером колонны пленников шагают по дороге мимо нашего дома. Охраны у немцев значительно меньше, и, в отличие от угрюмых колонн советских заключенных, немцы обычно идут с веселой песней, припев которой помню до сих пор: что-то вроде «Айли! Айлю! Айля!». В лагере у немцев я впервые увидел, как играют в гандбол. Тогда считалось, что это типично немецкое изобретение, и мы иногда ходили посмотреть игру через заграждение.



Опять новая школа

В 1946 году в городе было всего две средних школы. Одна на правом берегу Волхова, другая на левом. В августе меня приняли в девятый класс 2-й средней школы, расположенной в центре города рядом с кремлем. Фасадом здание школы выходит на огромный, заросший бурьяном пустырь с торчащими обломками кирпичных стен, левее — центральная площадь, здание обкома партии (бывшее дворянское собрание) и кремль, окруженный глубоким рвом. На краю площади — гранитный постамент — памятник В. И. Ленину со следами от немецких пуль. В сентябре начался второй послевоенный учебный год. Девятый класс в школе один. С ребятами в классе я познакомился быстро. Постепенно привыкал к новым учителям. Лишь с учительницей немецкого языка у меня не сложились отношения. Дело в том, что ни в одной из предыдущих школ не было уроков иностранного языка, так как не было учителей. Преподавала немецкий язык пожилая и, как говорили ребята, очень строгая учительница. Получилось так, что в сентябре в день, когда по расписанию был первый урок немецкого языка, меня назначили дежурным. Ребята объяснили, что по заведенному «немкой» порядку дежурный должен встать и доложить ей на немецком языке: «Я сегодня дежурный. Сегодня такое-то число такого-то месяца и года». И обязательно сказать: «22 года без Ленина, по ленинскому пути». Фразы эти мне написали на бумажке русскими буквами, и нужно было успеть выучить текст до начала урока. Звонок на урок. В класс входит учительница, все встают, садиться нельзя, пока дежурный не отрапортует. Я начинаю: «Ихь бин хойте орднер (я сегодня дежурный)». Что там дальше? Забыл! Лопочу что-то уже по-русски про Ленина. Положение безвыходное, и я в отчаянии говорю немке, что никогда не учил немецкий и ничего не знаю. Этим я почему-то ее страшно рассердил, она устроила мне разнос на немецком языке, поставила двойку в дневник и выгнала из класса. Больше на ее уроках я не появлялся ни в девятом, ни в десятом классах. В классе оказалось еще двое «не обученных языкам» — Юрка Иванов и Валька Морозов. Морозов, пропустивший несколько лет учебы из-за оккупации, действительно раньше не учил языков. Иванов же, сын какого-то партийного начальника, в предыдущих школах изучал английский язык и тоже пропускал уроки немецкого. Уйдя с урока, приходилось прятаться от вездесущего директора школы Мишина, имеющего обыкновение проверять все школьные закоулки, вылавливая нерадивых учеников. Особенно гоняет он курильщиков. Любители покурить прячутся

обычно в уборной на заднем дворе школы. От внешней территории уборная отгорожена полуразвалившимся забором из досок и колючей проволоки. Однажды вместе с друзьями попробовал покурить и я. Свернул, как сумел, сигарку с махоркой, сделал несколько затяжек и выбросил — не понравилось, тошнит. Неожиданно во дворе появляется наш директор, все разбегаются. В панике, выскочив из уборной, протискиваюсь на улицу через дырку в заборе, но цепляюсь рубахой за колючую проволоку: стою, согнувшись, ни вперед, ни назад. Директор вот он, рядом! Сейчас схватит! Рванул я от него, оставив на проволоке клочок новенькой белой рубашки и разодрав ее от воротника до пояса. Так и остался я некурящим на всю жизнь!

Физкультурного зала в школе нет, поэтому зимой и летом уроки физкультуры проводятся во дворе школы или рядом, на стадионе. Учитель физкультуры — молодой человек, фронтовик, с несколькими нашивками за ранения, — сумел привить нам любовь к спортивным занятиям. Новгород только начинал восстанавливаться, но несмотря ни на что на стадионе кипит жизнь. Летом тренируются футбольные команды и легкоатлеты, баскетболисты и волейболисты, устраиваются соревнования. Зимой футбольное поле заливают, и можно покататься на коньках, поиграть в хоккей с мячом.

Новые увлечения и приключения

Люблю мастерить, особенно что-либо связанное с электричеством: трансформаторы, электромоторы, модели и т. п. В продаже нет ни материалов, ни деталей. Почти все необходимо добывать и делать своими руками, пользуясь распространенными книжками типа «Как самому сделать электромотор». Первыми моими изделиями были миниатюрные электромоторы, потом модели трамвая. Где-то прочитал, как сделать кипятильник. Это очень просто, убеждал автор. Нужно взять две металлические пластины, подключить их к сети и опустить в сосуд с водой. Электрический ток, проходя между пластинами через воду, быстро нагреет ее до кипения. Попробовал. Действительно воду в полулитровой банке можно вскипятить за несколько минут. И опять конфуз! Увлечение экспериментами с кипятильниками окончилось катастрофой. В заброшенном колодце, находившемся неподалеку, вода была соленой, непригодной для питья. Но иногда, когда уличная колонка не работала, воду из колодца брали для хозяйственных нужд. Снова из любопытства, как когда-то с конденсатором, захотелось посмотреть, будет ли кипятильник нагревать соленую воду. Посмотрел! Только опустил

кипятильник в банку с водой, как все в ней заглохло, провода в комнате задымались, и погас свет. Короткое замыкание! А поскольку вместо пробок-предохранителей у меня были поставлены «жучки» из толстой проволоки, то перегорели предохранители на уличных столбах, и без электричества осталась вся улица.

В послевоенные годы радиоприемников у населения, за очень редким исключением, не было (только трофейные). Те, что люди сдавали в начале войны, погибли безвозвратно, новых же промышленность еще не выпускала. В доме есть розетка городской трансляционной сети, но у нас нет репродуктора. Когда я уж очень надоел родителям нытьем о радио, отец предложил мне самому заработать деньги на его покупку, продав на рынке ведро картошки. И вот я на рынке. Продаю ведро картошки солдатскими котелками. Покупатели подходят, спрашивают, сколько стоит. Мне почему-то неловко перед ними, называю цену меньшую, чем рассчитывал дома. И накладываю в котелок картошки с верхом. Быстро продал всю. Торговец из меня оказался никудышный: так проторговался, что денег на репродуктор не хватило. Родителям пришлось еще добавить. Так в доме зазвучало радио.

Один из школьных друзей подарил мне старый детекторный приемник. Такой был у нас дома до войны. Но в подарке отсутствовал главный элемент — детектор. В брошюре для радиолюбителей вычитал, что сделать детектор очень просто: нужно получить кристалл сернистого свинца, сплавив на огне свинцовые опилки с порошком обычной серы. Увы! И химик из меня оказался никудышный. Как ни старался, кристалл у меня не получился. Зато в одном из опытов получился небольшой взрыв, забросавший меня физиономию горячими брызгами расплава, после чего экспериментировать дальше расхотелось. Первый свой радиоприемник я сделал позже. А пока завидовал однокласснику Герке, собравшему простенький ламповый приемник. Хороший прием был только вечером, и, чтобы послушать разные станции, я зимой по вечерам ходил к нему домой на дальний конец города. Поздний вечер, на улице темно. И вот мы сидим в его крохотной комнатке, выключив свет. Вращаем ручку настройки; при приближении к волне радиостанции из динамика слышатся свист и завывание, потом возникает голос или музыка. Идем дальше, снова посвистывание и новая радиостанция, возникающая как бы из ничего. Говорят на разных языках. В темноте комнаты это производит какое-то завораживающее впечатление.

Суд над немецко-фашистскими преступниками

В 1945-46 годах в освобожденных от немецких оккупантов городах проводились открытые судебные процессы над немецкими военными преступниками. Приговоры были жесткие — смертная казнь через повешение или лишение свободы на сроки до двадцати пяти лет. Смертная казнь проводилась публично, на главных площадях городов. Сюжеты об этом демонстрировали в киножурналах. Последний из таких процессов начался в Новгороде осенью 1947 года и проходил в кремле, в помещении городского театра. Подсудимых человек десять — от генерала, командовавшего дивизией на Новгородчине и во время осады Ленинграда, до ефрейтора.

Пропустить такое событие мы, конечно, не можем, сбегая с уроков и правдами и неправдами проникаем в театр. Удавалось уговорить охрану на входе, пробраться через черный ход... Попав в театр, на судебном заседании сидим от звонка до звонка. В фойе театра на стендах — фотографии трупов, разрушенного города, церквей и сожженных деревень, на столах — простреленные иконы, портсигары и безделушки, сделанные из позолоченного металла купола Софийского собора. Само судебное заседание проходит на сцене театра: в центре сцены за столом судьи, справа за барьером подсудимые. Генерал — подтянутый, прямой, держится надменно и на вопросы отвечает кратко: «Яволь!» Противоположность ему ефрейтор, отличавшийся особой жестокостью в карательных экспедициях. Крупный, рыжий, в потрепанном мундире, в суде он был тихим и угодливым. Но вот суд вызывает на допрос одного из свидетелей — сгорбленного старика с седой бородой. Старик стоит за небольшой трибуной. Суд просит его рассказать о том, что делали немецкие каратели в его деревне. Старик рассказывает, как немцы пытали и расстреливали жителей деревни, как потом сожгли деревню. «Узнаете ли вы кого-либо из подсудимых?» — спрашивает председательствующий в суде полковник. «Вот этот немец был в нашей деревне, — указывает пальцем на рыжего ефрейтора старик, — командовал солдатами и сам расстреливал наших, деревенских». Председатель суда задает вопросы ефрейтору, тот все отрицает. И тут старик выбегает из-за трибуны и прямо на сцену, перед судом и всеми присутствующими, расстегнув ремень, спускает штаны, задирает рубаху до груди и показывает суду свой живот — весь в шрамах. «Вот этот фриц пытал меня! Заливал мне в глотку воду, а потом бил дубинкой по животу так, что лопалась кожа!» Подтянул штаны, подошел к барьеру, где сидели немцы, и плюнул в рыжего. Охрана даже не успела среагировать.



В последний день суда ожидали вынесения смертных приговоров, но суд приговорил генерала к двадцати пяти годам лишения свободы, а остальных к меньшим срокам.

Выпускные экзамены

Вот так, в школьных заботах, радостях и огорчениях, увлечениях и приключениях, подошло лето 1948 года, окончание школы. На носу экзамены на аттестат зрелости. Экзаменов одиннадцать. Одна из проблем для нашей троицы — Ю. Иванова, В. Морозова и меня — как быть с экзаменом по иностранному языку. Оценка по языку входит в аттестат зрелости. Теперь эта проблема заинтересовала и школу: к нам прикрепили одного из учителей, который, возможно, имел некоторое представление об английском языке. Для каждого из нас он составил персональный экзаменационный билет и натаскивал, как на него отвечать. Потом на экзамене эти билеты были помечены условными знаками, и все окончилось благополучно. Иванову поставили пять, Морозову четыре, а мне тройку.

Очень тяжелым оказался экзамен по истории. Необходимо было сдавать экзамен по всем этапам истории, за все классы, начиная с истории древних веков. Таким образом, набралась целая кипа учебников, материал которых, по сути, надо было не повторить, а выучить заново. Забрав несколько учебников, я уходил читать их на свою любимую протоку за монастырем. Немного почитаю, немного половлю ершей. А иногда еще и поклею нехорошими словами женщин, гуляющих на другой стороне протоки с расконвоированными немецкими офицерами, благо они не могут перебраться через нее и надавать мне по шее.

Конечно же, в памяти остался выпускной вечер. С утра мы подготавливали свой класс к торжествам: выносили парты, расставляли столы и скамейки, девушки занимались украшениями и угощениями. Кто-то предложил пригласить на наш выпускной вечер артиста Сергея Столярова. Концерты этого популярнейшего артиста, сыгравшего главную роль в фильме «Цирк», проходили тогда в Новгороде. Идея понравилась, и мы, несколько человек во главе с отличницей Светкой Нестеровой, отправились в театр. Приняли нас хорошо, и артист обещал после концерта быть на нашем выпускном вечере.

В назначенный час директор школы открыл вечер и произнес торжественную речь. Начали выдавать аттестаты зрелости; сначала отличникам. Мне аттестат с тремя тройками выдали ближе к концу торжества. Вскоре приступили к очень скромному, но веселому ужину вместе с родителями и учителя-

ми. Сергей Столяров пришел в школу после концерта. Пришел не один, с двумя местными артистами. Сели за отведенный им столик. Еще немного тостов за здоровье учителей — и Столяров стал читать стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», потом еще и еще. Выступали и пришедшие с ним артисты. Получился такой замечательный прощальный вечер. Он закончился, когда уже наступал рассвет, и мы всем классом отправились гулять по безлюдному городу. Побродив по кремлю, некоторые из ребят разошлись по домам, мы же небольшой группой перешли на другой берег Волхова, решив посмотреть одну из церквей, обнесенную забором. В самой церкви был какой-то склад, а снаружи шли ремонтные работы. На улице никого. Только пролезли через дыру в заборе, откуда ни возьмись милиционер. «Кто такие? Что здесь делаете?» Ребята начали дурачиться, хотели, мол, ограбить склад. Милиционер, по-видимому, воспринял это всерьез. «Я вас задерживаю, пройдите в отделение». Видя, что дело приняло серьезный оборот, пытаемся объяснить, кто мы и почему бродим по городу ночью. Бесполезно. Появился еще один милиционер, в офицерском звании. Теперь оба гонят нас в отделение, вывели уже за ограждение. И тут не выдержали нервы у нашего Юрки Елисеева, он бросился бежать, а за ним и мы. Офицер орет: «Догнать, арестовать!» Сзади крик: «Стой, стрелять буду!» Потом выстрел. Но мы уже совсем далеко. Убежали. Этим выстрелом-салютом и закончился торжественный выпускной вечер и наше детство. Впереди следующий этап — из школы через институт в самостоятельную жизнь.

Ура! Я студент!

Колебаний, в какой институт поступить, не было. Еду в Ленинград подавать документы в институт точной механики и оптики (ЛИТМО). Поезд из Новгорода прибывает на Витебский вокзал утром. Еще на подъезде к городу виднеется блестящий в лучах восходящего солнца купол Исаакиевского собора. Приехали! Города я не знаю, спрашиваю у прохожих, как найти Демидов переулочек, где располагается институт. Объясняют: нужно выйти на Международный проспект (ныне Московский), пройти направо к Фонтанке и дальше, через мост, к Сенной площади, а там рядом. От моста через Фонтанку и до Сенной по обе стороны проспекта следы блокады: поврежденные дома с заделанными фанерой окнами. На фанере белой краской нарисованы рамы. Впереди, на противоположной стороне площади, — разбитый дом с белыми колоннами. А вот и здание института.

Приемная комиссия располагается на первом этаже. Подаю заявление о приеме на радиотехнический факультет. Женщина, принимавшая документы, интересуется, не родственник ли я профессора Тартаковского. Оказывается, в институте есть такой математик. Потом однокурсники посмеивались: сказал бы, что родственник! Кстати, этим вопросом меня мучили все годы учебы. При первой же встрече с очередным преподавателем следовал один и тот же вопрос: не родственник ли? Интересно, повлияло бы «родство» на мои оценки?

В августе приехал в Ленинград сдавать вступительные экзамены: русский язык, литературу, математику, физику, химию, иностранный язык. Все экзамены, кроме иностранного, я сдал на отлично. Только с сочинением по литературе едва не случилась неприятность: я проспал и появился в кабинете марксизма-ленинизма, где проводился экзамен, минут на тридцать позже положенного. Честно признался экзаменаторам, что проспал. Мне разрешили писать работу с условием, чтобы уложился в оставшееся время. Как быть? Из трех предложенных для сочинения тем две были по произведениям Пушкина и Маяковского; одно же на свободную тему. Соображаю: написать сочинение по произведениям классиков я просто не успею, не хватит времени. Остается свободная тема. Но о чем писать? Выручило то, что в кабинете марксизма-ленинизма все стены были увешаны лозунгами и плакатами с цитатами из партийных документов. И тут, вспомнив, что в школе мы писали сочинение на тему восстановления Новгорода, я за оставшееся время ухитрился как-то увязать эти лозунги и цитаты с постановлениями о восстановлении древнерусских городов. Получился, по-видимому, идеологически выдержанный опус, за который мне поставили отлично.

И вот последний экзамен — по английскому языку. Тут решалась моя судьба. Языком я не владею

совершенно: не знаю английских слов, понятия не имею о произношении, об английской грамматике. Не знаю, на что я тогда надеялся! В аудиторию, где проводился экзамен, я вошел первым, а вышел из нее последним. Взяв билет, начал переводить предложенный отрывок текста. Переводить — это громко сказано. Сначала искал значение каждого слова в словаре, записывал его на листочке, а уж затем пытался сообразить, что означает их комбинация. На такой перевод крохотного текста ушло часа три. Не помню, что еще входило в программу экзамена, но под конец я остался в аудитории один на один с преподавательницей. Представляю себе ее удивление, когда я начал читать английский текст. «Что с вами? Вы же не знаете языка, где вас так учили?» — спрашивает она изумленно. Отвечаю, что языка я не знаю, потому что в тех школах, где я учился — и в Башкирии, и в Новгородской области, и в Новгороде — не было учителей. «Но у вас же в аттестате зрелости есть оценка по английскому языку?» Пришлось рассказать, как эта оценка появилась. Задумалась. Потом, вижу, берет бумажку с оценками на предыдущих экзаменах (там все «отлично») и так, чтобы мне было видно, медленно-медленно выводит в графе иностранный язык «удовлетворительно». Звали эту преподавательницу Екатерина Андреевна Букшева.

Все-таки я везучий человек. Не поставь приемная комиссия экзамен по английскому языку последним, влепила бы Екатерина Андреевна мне двойку, и прощай, мечта об институте!

В конце августа 1948 года из института прислали извещение, что я принят на радиотехнический факультет. Я студент! Нужно собираться. На работе у отца мне сделали чемодан из фанеры, запирающийся на висячий замок. С этим произведением чемоданного искусства я и отправился в Ленинград учиться на инженера.



Наим АРАЙДИ



Профессор Наим Арайди родился в 1950 году в деревне Магар, где учился в начальной школе. Затем переехал в Хайфу, получил две степени бакалавра гуманитарных наук: первую — по ивриту и политологии, вторую — по иудейской литературе и сравнительному литературоведению. За этим последовали полученные в университете Хайфы степени магистра гуманитарных наук по иудейской литературе и сравнительному литературоведению, далее — ученая степень доктора философии по еврейской литературе, полученная в университете имени Бар-Илана.

Доктор Арайди был преподавателем в университете Хайфы и университете имени Бар-Илана, затем — в Колледже Гордона и Арабском образовательном колледже в Хайфе. В настоящее время — декан Арабского высшего колледжа, директор Центра детской литературы в Арабском колледже и координатор научных работ студентов-неиудеев в Колледже Гордона.

Помимо преподавания доктор Арайди занимается журналистикой и ведет две еженедельные программы на израильском телевидении (второй канал) — детскую и новостную. Участвовал в редактировании «Мифгаша» — журнала Союза иудейских авторов, основал и редактировал журнал «Аль-Асвар». Основатель и директор NISAN — Международного фестиваля поэзии.

Наим Арайди — лауреат израильских и международных премий; почетный доктор американских и европейских университетов.

Его стихи, проза, критика, научные исследования, произведения для детей переведены с иврита и арабского на многие языки. Наим Арайди живет в Галилее, на севере Израиля.

Мое обучение началось с первого класса, поскольку в друзской деревне, где я родился, не было ни одного детского сада; теперь там дети могут ходить не только в детсад, но и в ясли. Наверное, скоро сельское образование будет начинаться лет с двух — или еще раньше. Мои невестки будут играть музыку Баха, Римского-Корсакова и Россини еще находящимся в утробе детям — по крайней мере, такую картину рисует мое воображение. Мы живем в новую эпоху. Моя бабушка дожила до девяноста. Мой дедушка дожил до ста десяти, и у меня сохранились детские воспоминания о нем. Я с семьей живу в доме отца, откуда рукой подать до Галилейского моря, по которому когда-то шел Иисус. Дома почти каждый день собираются отцовские внуки и правнуки...

Что касается вопроса, еврейский ли я поэт, ответ очень прост: еврейский, да, но в такой же степени, в какой друзский и арабский.

Я осознал, что иногда происхождение является проблемой, но только когда речь заходит о посредственных литераторах. Речь, разумеется, не о Кафке — писателе еврейского происхождения, родившемся в Праге и писавшем на немецком. А каково происхождение Ионеско — румына, всегда считавшегося выдающимся французским писателем? А как насчет ливанского автора Халилила Джибрана, источник всемирной славы которого — письма на английском? Не говоря уже о моих друзьях — отличных арабских писателях из Северной Африки, пишущих на французском... Я мечтаю стать писателем, которого никогда не спросят о его национальности или религии; или хотя бы чтобы это не становилось вопросом номер один. Я хотел бы осуществить мечту о синтезе Востока и Запада — на это способно только искусство. Я имею в виду, к примеру, мою родную арабскую культуру и достижения мистической друзской религии — тайны и символы суфиев, знающих

способ «впрыснуть» Ближнему Востоку греческую философию. Философию, преобразованную идеями буддизма, в которых заключен источник жизненной силы Индии и Китая.

Нынешние либеральные политики и экономисты стремятся заменить серьезную культуру, основанную на многолетней истории, религии и глубоком исследовании коммуникационных проблем, культурой поверхностной, опирающейся на развлечения и свободный рынок, в то время как религиозные лидеры-фундаменталисты стремятся заменить свободу творчества узким мирком трактатов и проповедей. Помня об этом противостоянии, мы должны отыскать «третий выход»; в этом заключается главная задача интеллигенции в целом и писателей в частности.

Я не из тех, кто ставит эмоции выше разума или разум выше эмоций. Я ищу равновесия и каждый раз преисполняюсь благоговейным страхом перед литературой — замечательнейшим творением человечества. Литература — общий знаменатель, способный объединить всех. Однако реальный диалог между писателями так и не начался, и его очень не хватает.

Мы не можем основываться только на политике и экономике; это лишило бы жизнь глубины и заставило забыть древние корни. Глубина души человеческой, на мой взгляд, безмерна, и постичь ее можно только через литературу и взаимодействие различных духовных течений, через общение куль-

тур. Как бы то ни было, золотой век и еврейской, и арабской (и мусульманской) литературы испытал влияние античной философии; то же самое можно сказать и про эпоху Возрождения на христианском Западе. Фундаментализм же игнорирует многогранность, глубину культуры собственного народа и отказывается от внутреннего богатства и многогранности культуры «другого», «врага».

По моему мнению, глобальная американизируемая культура, идея свободного рынка и нынешние миротворческие попытки не могут создать мощный барьер против фундаментализма. Именно поэтому в наши дни больше, чем когда-либо прежде, требуется то, что я называю «третьим выходом». Это значит, что нам следует предотвратить стандартизацию культуры и стремиться поднять писателей и интеллигенцию на один уровень с политиками и экономистами. Только интеллигенция, писатели (если они сами не являются фанатиками) способны разглядеть и показать другим глубинные аспекты бытия.

Хотя в последнее время голоса поэтов, писателей и интеллигенции в миротворческих процессах практически не слышны. Я, со своей стороны, — как друг, израильтянин, как арабский и еврейский поэт, считаю, что процесс установления мира во всем мире вкупе с вероятным последующим экономическим подъемом должен сопровождаться межкультурным диалогом. Даже первые шаги в этом направлении очень важны.

Наим Араиди

Вернуться к селенью

Вернуться к селенью,
где впервые я плакать учился,
вернуться к горе,
где с природой так слился пейзаж,
что картинам нет места,
вернуться к дому из тех камней,
что мои праотцы из скалы высекали,
вернуться к себе самому,
куда и стремился.

Вернуться к селенью,
потому что мне снилось, как трудно рождалась
эта чабер-трава, заатар, ее нету в моем словаре,
но еще труднее рожденье зерна
на неровной, пустынной земле,
потому что мне снилось рожденье любви.



Вернуться к селенью,
где я жил свою прежнюю жизнь,
словно корень лозы среди тысяч побегов
в этой доброй земле,
только ветер унес меня прочь,
а назад воротившись, рожден
стал я вновь и исполнен раскаянья.

О сновиденье мое, тридцать второе по счету,
тропы, которых более нет,
и дома, что возвысились, как Вавилонская башня.
О тяжкий сон мой,
побеги твои не приносят плодов!

Где же вы, дети нужды,
листьев осенних лохмотья?
Прежде звучавших в селенье
улочек имена
скрыты под черным гудроном.

Селенье бывшее мое
проглочено временем новым,
лай собак уже замер вдали,
и антенна радара торчит
там, где раньше была голубятня.

Все крестьяне, с кем прежде хотел бы я спеть
травянистую песнь соловьиных созвучий,
став рабочими, дыма набрали в рот.
Где ж все те, кто здесь был и кого больше нету?

О тяжкий сон мой,
вернуться в селенье,
от «цивилизации» прочь.
Я в селенье пришел, словно тот,
кто идет от изгнанья к изгнанью.

Перевод Юлия Гуголева

Галилея

Я держу на плечах Галилею,
А она то тянет
Меня назад, то
Толкает вперед.

Встревоженные голуби кружат и плачут над нами,
Но вновь я пытаюсь поймать этот ритм,
Потому что мы с нею две поверхности
Одного и того же.

Ради бога!
Оставь меня, Галилея,
Стань либо прошлым,
Либо будущим.

Перевод Елены Ивановой-Верховской

Я стал мудрее

Сорок лет — повторил я себе сорок раз,
Терпеливее став и мудрее,
Еще день моей жизни сегодня погас,
И покой только разум мой греет.

Попрощались друзья — я не стану их звать,
Будто прежде, к подножию Иерусалима...
Городов не достроить, камней не собрать,
И другие вершины, как прежде, незримы.

Перевод Елены Ивановой-Верховской

Глядя в историю

1.
Бедуины пустыни исполнены веры
глубже, чем бедуины прошлого.
Гарцевать на лошади
гораздо круче, чем сочинять новые песни.
И если б не тяжесть поклажи отчаянья
на горбах верблюдов
моих предков,
я ни за что бы не отступил
так глубоко
в эту пустыню.

2.
Мухаммед был философом,
потому и не стал великим политиком.
Имам Али
был чувственным поэтом
и, несмотря на это,
не стал великим любовником.
Встань же, пророчица Фатима,
разъясни нам смысл этой притчи
или спи себе дальше,
и пусть тебе снится
освобождение узников,
ибо задумал правитель
повесить
всех поэтов.

Перевод Елены Исаевой



СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ БОЛГАРИИ

СЛАВЯНСКИЕ ПРИГРУДКИ

Так звучит по-болгарски название учрежденного Славянской литературной и художественной академией фестиваля славянской поэзии, который уже не первый год проходит в Варне в мае. Это название — что по-русски означает «Славянские объятия» — придумала президент Академии поэтесса Елка Няголова. В преддверии лета, когда зацветают розы по всему побережью, а европейские парусные суда собираются в Варненский залив на регату, трудно придумать место более поэтичное для «объятий» болгарских, русских, сербских, хорватских, польских, украинских, словенских, словацких, чешских и прочих славянских поэтов. Благодаря Академии Елки Няголовой в этом благословенном солнечном уголке происходит общение, которое так необходимо для объединения славянского мира и поддержания и развития славянской культуры. Словно сообщающиеся сосуды, писатели разных стран находят

друг друга — духовно и душевно, возникают творческие союзы, переводы, новые книги. Море, болгарское вино и песни на разных языках неустанно этому способствуют.

В подборке, которую вы прочтете ниже, — стихи болгарских поэтов, звучавших на фестивале. Двоих из них, к сожалению, уже нет в живых. Стихи Ивана Динкова на последнем фестивале представляла его вдова — болгарская актриса Белла Цонева. А умершую совсем недавно Калину Ковачеву помогает нам не забыть блестящая болгарская поэтесса и переводчица Надя Попова (в прошлом студентка Литинститута). Она же дает нам возможность познакомиться с произведениями знаменитой болгарской поэтессы Станки Пенчевой, уже сейчас ставшими классикой болгарской поэзии. Все остальные тексты — тоже плод дружбы болгарских и русских поэтов.

Елена Исаева

Иван ДИНКОВ

Победа

Белле Цоневой

Лежу, чугунный, в овсах — осенний.
И вечер меркнет, такой же мертвый:
такой как Яворов, такой как Ясенов
и как чешский болгарин Мырквичка.
Под углом — к корню, мыслями — в кроне,
в вечном течении синее небо,
вечер кроткий подбросил конфеты,
черствые — вот они, свежие — где-то.
Только фонарь в самую суть уткнется —
светлые образы, лики святые, —
погаснет — и все исчезнет в колодце,
где крапчатых листьев мгновенья слепые.

Славянская лирика — для утешений!
Ползу по-собачьи от всех поодаль.
Но стаи хищных стихотворений
глаз не спускают — почуяли падаль.

Под углом зрения, под ветр осенний
небо — вечное, светает кроваво...

Медленно сам от себя отдаляюсь.
Никакая победа не вернет мертвых!

Перевод Галины Климовой

Круговорот

До поворота и назад
ночные мысли,
что этот мир и этот взгляд
не повторится.
Под крошкой лунного мелка
и пылью спорой,
как монастырские века,
стихает город.
Прохлады тянется пунктир
ночной, и снова
стих воспекает этот мир
любовным словом.

Перевод Сергея Надеева

Калина КОВАЧЕВА

* * *

Ну что ж, как есть — пусть так и будет, пусть.
Я ни за что ни от чего не отрекусь.

Бьет жизнь наотмашь, ей меня не жаль.
Затем — заботливо накидывает шаль.

И не награда это, не печать.
А просто — чтобы ран не различать.

Перевод Нади Поповой

* * *

Припоминаю свою прошлую Жизнь.
Я была собакой у его ног.
Припоминаю свою прошлую Жизнь.
Я была кошкой у него на коленях.
Припоминаю свою прошлую Жизнь.
Я была птицей на его плече.
Припоминаю свою прошлую Жизнь.
Я была жеребенком под его бедрами.



Припоминаю воздух в своей прошлой
Жизни —
он дрожал от нежности.
Теперь, в нашей нынешней жизни,
шагаем равнодушно
навстречу друг другу —
людьми.

Перевод Нади Поповой

Забвение

Забыл мои волосы под дождем,
забыл запах моих волос под дождем,
единственные мои слова,
даже имя мое забыл;
ничего, ничего,
успокойся, милый,
не в моем характере
мелочиться.

Перевод Нади Поповой

Запасной вариант

Я могла бы пойти по другой улице,
но выбрала именно эту;
могла бы встретить счастливых людей,
но люблю именно этих;
могла бы быть богатой и красивой,
но нравлюсь себе такой.

Перевод Нади Поповой

Надя ПОПОВА

* * *

Не надеюсь на то, чтобы вы вспомнили мое имя, —
разве я Мать Тереза или Мадонна?
Не бодрым мажором,
Не скорбным дизезом напеваю,
к тому же —
нас слишком много на ветке!

У меня никаких шансов
усесться справа от Бога
с этими самоубийцами
среди родственников и среди кумиров.
Зато я умею
без хвороста разжигать костер,
проходить сквозь стены,

когда кто-то умирает.
 Перед нависшими искаженными тенями
 не испытываю страха.
 Течет в моих венах соленая, затаенная сила.
 Я та, которая не спрашивает:
 «Знаешь ли ты, кто я такая?»
 Потому что знаю, кто такая,
 С самого своего рождения.

Перевод автора

Сто лет одиночества

Когда моя жизнь перевернулась наизнанку,
 как перчатка, брошенная после зимы,
 ничего видимого не произошло;
 просто вдруг
 я стала добра к окружающим,
 небрежна — к рифме,
 благодарна — воздуху,
 снисходительна — к одному мужчине.
 До сих пор я себя не знала. И рассмеялась бы,
 если кто-либо сказал бы мне, что и в аду есть церковь,
 что встану смиренно на колени перед чужой радостью,
 даже если она меня саму перечеркивает..
 Знаю: светает теперь на другом конце экватора.
 Чувствую даже во мраке: волны нежно-синие.
 Слушаю снова новости —
 О ночном направлении ветра —
 «сегодняшнего числа за последние сто лет».

И хотя снова с больным пульсом дождусь рассвета,
 Как сказать: «Свет — тоже временен...»
 А надвигается ночь. Неотвратимая, как поезд,
 под который бросилась Катерина.

Перевод автора

Станка ПЕНЧЕВА

Мелодраматическое

У него была супруга,
 которую он любил — не любил,
 но ходил с ней в гости, ездил к морю,
 лез из кожи, чтобы она ни в чем не нуждалась.
 Ну а доля моя:
 навсегда — но и время от времени;
 жгуче ревнуемая, но заменяемая;



единственная, но неудобная —
в карман спрятать, что ли?
Так и жили, будто играя в прятки:
нет меня — вот и я,
пока его дети переженились,
жена умерла,
я обзавелась тросточкой,
а он стал с трудом находить улицу,
на которой живет.
Изредка созваниваемся.
Не читаю его тогдашних писем.
Иногда только
надеваю то кольцо с янтарем —
в его глубине еще солнце сочится,
льется каплей тягучей мед любви,
каменеет
золотая слеза...

Перевод Нади Поповой

Елка НЯГОЛОВА

Через плечо анониму

За ваши письма лживые —
как пули из засады —
и за смешки глумливые,
мне в спину — где-то рядом;
за все стихи крещенские,
что ангелами посланы,
за весны мои бурные,
за щедрость каждой осени;
за эту сказку старую —
с лисой и виноградом,
что мне припоминаете,
когда чему-то рада;
за залы мои полные,
что вас опустошают,
за интернет-скандалы
(они вас сна лишают)!
За вашу зависть черную,
за раны мои белые,
за шрамы, что оставлены
словами оголтелыми;
за голубей, которые
голодными остались,
я их душой кормила,
не меряясь, не считаясь;
за вашу анонимность

смешную и позорную,
 за всю мою наивность,
 за рифмы непокорные,
 что целятся в бездарность
 стрелой остроконечной,
 за камень, что за пазухой
 у вас лежит извечно;
 за вашу злобу глупую,
 что переполнит чашу,
 за шиканье змеиное
 и за доносы ваши,
 за то, что и поныне вы
 стоите за спиною,
 и потому я спину
 всегда держу прямою!

Перевод Елены Исаевой

Причастие

В церковном дворе, где играли когда-то
 И детство держали в ладонях заката,
 Нам что-то шептала тогда шелковица
 Про тайные знаки. И бледные лица
 Почти что вплотную приблизив друг к другу —
 Истории страшные плыли по кругу.
 А звезды, похожие на муравьев,
 Сновали по небу в кустах облаков.

В церковном дворе в безутешной надежде
 Встречают весталки меня, как и прежде.
 Их души светлы и легки без печали
 (Как будто бы жизнь из меня вынимали).
 И шепчут историю страшную тут же,
 Срывая дыхание. Кружат и кружат.
 Иду, как и раньше, по этой тропинке,
 Но только теперь я для них невидимка.

В лохмотья их платья давно превратились
 Иду по траве, где сверчки притаились,
 И губы синеют от той шелковицы,
 Молчит под стрехою какая-то птица,
 Пернатый дьячок. Освящает молчанием
 Все детство мое, что стремится отчаянно
 Обрато, где пишется с буквы заглавной
 История жизни моей православной.

Перевод Елены Ивановой-Верховской



Владимир СТОЯНОВ

След

В жизни есть час неразменного счастья,
Все в нем — полет и тревога!
Дух мой парит над землей безучастно,
Он уподобился йогу.

Он отвергает телесную лень,
Земной оболочкою болен,
Рвется, как северный, гибкий тюлень,
Из ожидания на волю.

Дух говорит: это день, а не ночь,
Дай мне остаться собою, —
Мир, побелевший, уходит прочь,
Он теперь мой и со мною.

Моря дитя я, мне берег — беда,
Все эти отмели, мели...
Там, где сошлись и полет и вода,
След и моей колыбели.

Перевод Елены Ивановой-Верховской

Сбежавшие в небо

С открытыми глазами мы уснем.
И в летнем сне жена меня согреет.
Легко коснутся чайки гребней волн,
и вечностью над тентами повеет.

А пена, распрямившись, в свой черед —
на скатерти соленого простора
беспечные салфетки соберет,
прислушиваясь к песням, смеху, ссорам...

Два лебедя, собравшие весну
в плывущей книге крыльев за плечами,
войдут за нами в летнюю страну,
чтоб вспоминаться зимними ночами.

В нас кровь играет, словно кашалот,
моря берущий штормом, где б он ни был.
Ни сроков, ни границ — и лишь полет
для двух детей, сбежавших прямо в небо.

Перевод Елены Исаевой



Фридрих НИЦШЕ
(1844–1900)



Из лирических стихотворений (1869–1888)

* * *

О ты! Внемли!
Так полночь говорит в тиши?
«Я сплю, и вот
Из глуби снов мне суждено прийти —
Как мир глубок!
Дню не объять всей этой глубины!
Бездонна боль,
Но радость — глубже, чем тоска.
Боль шепчет: прочь!
Ведь радость жаждет вечности всегда,
Все глубже, глубже в вечность уходя!»

* * *

Я на мосту стоял,
в беззвездную глядя ночь.
Песня — слышу вдали;
капель родник золотых,
гладь потревожив, исчез вдали,
гондолы, музыка, свет —
плыли в сумерках прочь от меня...

Словно арфа — моя душа,
пелась, касаясь меня,
гондолы песнь незримо сквозь тьму,
ярким блаженством вдали дрожа.
Слушал кто песню ту?

Дионисийские дифирамбы (1888)

Огненный знак

Здесь, где остров вырос средь морей,
внезапно камень жертвенный возник,
и здесь под мрачным небом возжигает
свой одинокий пламень Заратустра —
для кораблей дрейфующих маяк,
знак тем, которые ответ имеют...



Это пламя с грязно-белым брюхом,
холодный воздух алчно пожирая,
в вечность, в высь поворачивает шею —
вертикально перед броском застывшая змея:
этот знак я ставил пред собой.

Пламя это — сама моя душа:
ненасытно к новым просторам
влечет меня снова и снова ее тихий жар.
Что увлекло от людей и зверей Заратустру?
Что предпочел он всей тверди земной?
Шесть одиночеств знает он,
но даже моря его одиночеству мало,
остров ему дал приют — там, на горе, сам стал огнем
Заратустра,
познав седьмое одиночество,
жаждущий свой разум ловит он на крючок.

О корабли в морях! И звезд руины!
Неведомые небеса! Грядущего моря!
На все одинокое бросаю я невод:
дайте ответ нетерпению пламени,
поймай меня, рыбака, с горных высей,
мое седьмое, последнее одиночество!

Садится солнце

1.
Недолго жаждать тебе,
сожженное сердце!
Предвестие в воздухе,
дыханье уст неведомых на мне,
великий холод ждет...

Надо мной мое солнце пылало в зените:
благословен ваш приход,
вы ветра порывы,
вы послеполуденной свежести духи!

Как воздух чист и свеж.
Не ночь ли это
соблазном мне
сейчас грозит?..
Не дрогни, отважное сердце!
Ответа нет...

2.
День моей жизни!
Заката час.
Уж гладь прилива
в позолоте.
Теплом дышит луг:
так сладко дремлет
там счастье в своем полуденном сне?
Лишь зеленью бликов
стремится, играя, счастье по бездне вверх.

День моей жизни!
Ты рядом, вечер!
Зрачок твой тлеет,
чуть прищурен,
слеза за слезой
сочится роса,
и скользит уже над белым морем
твой любимый пурпур,
твое последнее горькое блаженство.

3.
Ясность золотистая, приди!
Сокровенное,
тихое смерти предчувствие!
Быстро прошел я свой путь?
Вот здесь, где устала стопа,
держит взгляд твой меня,
держит счастье меня.

Только волны вокруг!
Все, что тяжким было,
кануло в синее безмолвие —
праздно стоит мой челн.
Штурм и порыв — позабыты им!
Страсти канули вниз,
гладью душа и море.

Седьмое одиночество!
Не встречал я
сладкую ясность ближе ко мне,
теплее, чем солнца взгляд.
Зарделся уж лед на моей торе?
Рыбка, легко, серебром,
Вот уплывает мой челн...

Перевод Людмилы Болотновой



Людмила БОЛОТНОВА

ГЕНИЙ БЕЗУМИЯ

Фридрих Ницше

Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900) — немецкий философ, поэт, композитор, культуролог, представитель иррационализма. Он подверг резкой критике религию, культуру и мораль своего времени и разработал собственную этическую теорию. Ницше был скорее литературным, чем академическим философом, и его сочинения носят афористический характер. Философия Ницше оказала большое влияние на формирование экзистенциализма и постмодернизма и стала весьма популярна в литературных и художественных кругах. Интерпретация его трудов довольно затруднительна и до сих пор вызывает много споров.

Кто же он? Профессор филологии из Базеля, философ, мыслитель, перевернувший представления о морали, поэт, ставший пророком грядущего безумия XX столетия? Многообещающий вундеркинд филологии, который в двадцать четыре года стал идолом всего филологического молодого поколения? Мир академической науки признал его несомненный талант — он получает профессорскую должность не имея ученой степени, а степень доктора он получает, даже не защищая диссертации. Его ждет блестящее будущее.

И вот в 1872 году появляется мастерская увертюра в слове — «Рождение трагедии из духа музыки». Книга породила взрыв и подорвала репутацию Ницше как ученого. Это было развенчание некоего мифа, развенчание идеализации Греции. Во всеуслышание предстала пугающе ясная концепция: эллинский феномен диагностировался (интерпретировался) в опасном измерении психопатологии, моментами перемирия между двумя богами — ночным Дионисом и солнечным Аполлоном, по существу настоящей борьбой с собственным безумием под маской олимпийского спокойствия.

Речь шла не о научной значимости, а о новом видении вещей, менее всего древних, более всего злободневных. Стало быть, не об открытии, а о разоблачении Греции и в ней — самих истоков и будущих судеб Европы. Дальше только осталось доиграть трагедию до конца, где все маски, все персонажи исполнялись одним актером. Автором.

Трагическое — это накал страсти, сгущение энергий, сжатие времени до единого момента, и

как пик — вывернутая наизнанку трагедия — смех. Музыка и трагедия идут рука об руку. В сущности, он музыкант, подаривший немецкой и мировой литературе небывалые вибрации выразительности. Страсть, темперамент, огненность повествования, афористичность — это стиль равнодушия, веры. Он действительно истово верующий, ищущий веры, и лозунг «Бог умер», с которым появляется Заратустра, — горестный возглас, вызывающий у самого автора почти физическое страдание. Весь его путь можно обозначить как стремление обрести Бога и невозможность достичь цели. Вот снова ночной бог Дионис борется с Аполлоном, и искусство — как момент оправдания жизни. Ницше здесь — как паяц на площади или королевский шут — демонстрирует интеллектуальной Европе ее болезнь. Момент освобождения воли, воплощение бесконечной свободы. Но только момент — переживания в себе сверхчеловека.

«Я должен научиться играть на своем стиле как на клавиатуре» (письмо к К. фон Гердерсдорфу от 6 апреля 1869 года). Этот стиль, афористичная манера изложения вызывают до сих пор много споров. Иногда объясняют это неспособностью к системному мышлению, даже состоянием здоровья (Ницше подчас работал урывками, между приступами головной боли). Но афористичность стиля не означает фрагментарность мышления. В стиле Ницше — шифр к тайнику его необыкновенно запутанной судьбы. Афоризм рождается не из ущерба, а от избытка, глубины и небывалости опыта, и воплощается в этот стиль как в единственно соразмерную форму выражения. «Кто пишет кровью и притчами, — скажет Заратустра, — тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть». А вот еще одно высказывание: «Лабиринтный человек никогда не ищет истины, но всегда лишь Ариадну, — что бы ни говорил он сам» (Ницше, неопубликованные работы).

Так куда же уводит Ариадна своего Тесея? Если она и выводит Тесея из одного лабиринта, то не иначе как вводя в другой, более запутанный лабиринт. «Тесей становится абсурдным, — сказала Ариадна, — Тесей становится добродетельным!»

Но лабиринт, постепенно расширяясь, удваивается, поглощая «я» автора, а это пострашнее Минотавра. Что-то это все напоминает, ведь современный человек — лабиринтный человек. Здесь постоянно сама собой возникает ассоциация с Достоевским. Но Достоевский выводит из лабиринта (Раскольников, Митя Карамазов), а Ницше нет. У него нет выхода.

Стиль Ницше — тот самый поглощающий его лабиринт, к тому же он сам говорил, что обладает целым арсеналом масок. Когда играешь в прятки с демонами, нужны маски! И он изобретает все новые и новые маски в надежде преодолеть лабиринт. Но машина стили, однажды заведенная, обнаруживает опасную тенденцию опережения сознания и пренебрежения сознанием. Ситуация крайне типичная для позднего Ницше: глядя на мир из многих личин, не видеть собственного лица.

И вот стихи. Эти несколько стихотворений — как то самое лицо, внезапно выглянувшее из-за многочисленных масок. Ни лабиринта, ни Минотавра, ни Ариадны... Просто лицо. Просто, спокойно, трагично. Игры закончились.

Например, стихотворение «Огненный знак» начинается вполне в духе позднего Ницше: некий зловещий, почти демонический аскетизм, воспевание одиночества и мощи сверхчеловека. Одинокий остров, жертвенный камень, подавляющий пространство, это зловещее пламя, похожее на змею, — символ и мудрости, и искушения. Но постепенно меняется тональность повествования. Сомнение, вопрос и весь путь до полного принесения себя в жертву — «там, на горе, сам стал огнем Заратустра», и после седьмого одиночества «свой разум ловит он на крючок». И в конце уже как взрыв — отчаяние, надежда и почти мольба! Он дошел до края, до грани. Но путь оборван: дальше — раскручивающийся подобно спирали лабиринт.

Вот отрывок из письма к Якобу Бугхардту от 6 января 1889 года из Турина на четвертый день после начавшейся эйфории: «Дорогой господин профессор, меня гораздо в большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира».

Более чем за год до фактического признания его безумным (в январе 1890 года он был помещен в психиатрическую клинику), т. е. в 1888 году, он заканчивает свой последний труд. Это «Антихрист. Проклятие христианства», первая книга задуманного им большого цикла «Переоценка всех ценностей». Именно о ней он пишет, что эта книга расколется мир надвое. В этом же году закончены «Ессе Номо», «Сумерки сознания» и «Воля к власти», а годом

раньше — «Так говорил Заратустра». В 1886-м — «По ту сторону добра и зла».

Это последний мощный всплеск интеллекта, после которого начинаются сумерки сознания. К этому же времени, т. е. к 1888 году, относятся и два стихотворения, приведенные в подборке: «Огненный знак» и «Садится солнце» — лучшее (хотя это вопрос вкуса), что создал в этот период Ницше. «Садится солнце» — одно из последних стихотворений, прощание с миром. Почти за двенадцать лет до физического ухода! Это и есть его уход — прекрасный и трагический. «Огненный знак» из цикла «Дионисийские дифирамбы» — краткое поэтическое изложение Заратустры, основа мифа, канва, нерв. И в этом стихотворении — прощание, уход, в нем история его блужданий. Что такое «седьмое одиночество»? Это его собственный миф, им придуманный и его погубивший.

Парадоксальность мощного пассионарного интеллекта? Но никому еще не удалось безнаказанно существовать, а тем более пророчествовать «по ту сторону добра и зла». Хотя выбор есть: либо злодейство, либо безумие. Побольше бы цинизма, толика рационализма — и Ницше выжил бы в этой схватке с демонами своего времени. Но он романтик, он истово верующий, он служит идее и высшим ценностям, которые сам же и ниспровергает. Опять парадокс? Но он сплошной парадокс. Парадоксальность — принцип его творчества. Затянувшийся маскарад в схватке с «рогатыми», как он сам выразился, проблемами лабиринта.

И он ускользает от лабиринта в одном из последних стихотворений:

Рыбка, легко, серебром,
Вот уплывает мой челн...

Стихи Ницше — это, собственно, и есть Ницше. Никакой философии. Здесь просто душа. Душа романтика, запутавшегося в собственных парадоксах, страдающего от невозможности обрести веру. Нет, он больше не меняет, как в калейдоскопе, маски: Диониса, Заратустры, сверхчеловека, антихристианина и последнюю приросшую к нему намертво маску безумия.

В этих нескольких стихотворениях раскрывается удивительный, неповторимый мир его образов. И неповторимая манера ритмического построения стихотворной ткани. Недаром много говорилось и говорится о поэтичности его прозы, но поэзия, основанная на внутреннем ритме и лишь на ритме, — исключительна. Во всем — во владении стилем, языком — видны профессор филологии и великолепно свободная человека, досконально знающего предмет



не только по горизонтали, но и вертикально, вглубь. Еще одна загадка.

И на что опираться переводчику? Рифма. Размер. Где ориентиры? Как сохранить, воспроизвести эту

поэтическую, ритмическую цельность? Еще одна загадка, еще одна попытка. Но ответы только множат вопросы.

Мы снова в лабиринте?



Людмила Болотнова в 1990–97 годах жила в Германии. Окончила частную школу театрального искусства в Берлине (отделение хореографии). Почти три года жила в Штутгарте. Работала в Германии по контракту в качестве исполнителя и хореографа-постановщика. В это же время происходит первое знакомство с творчеством Ницше. Была постановщиком и исполнителем программы по стихотворным работам Ницше (на немецком языке). В 2007 году окончила отделение лингвистики (немецкий язык) РУДН. Занимается литературным переводом (Рильке, Гельдерлин, Целан, Гессе и др.).





Ильдар АБУЗЯРОВ



Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4 за 2011 г.

МУТАБОР

НЕДЕЛЬНЫЙ РОМАН

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Понедельник. 8 октября

Новая идентичность

(служебная записка с флешки)

Южные районы Кашевара — экзистенциальная противоположность северным. Южане отличаются от северян по языку и менталитету, что может в случае ослабления властной вертикали привести к расколу страны. Юг — это самая консервативная и отсталая, наивная и традиционная часть электората. Наконец, южные провинции — сугубо дотационный регион, сильно зависящий от севера и столицы. Здесь редко встретишь девушку не в хиджабе и высотное здание, построенное по западному образцу и технологии. Не Twitter, ни Facebook не пользуются на юге Кашевара должной популярностью. Вовлекать молодежь в информационное пространство приходится через мусульманские сайты романтических знакомств Mahhabat.net, аккаунты которого координируют процессы сублимации, а также скрытое недовольство и агрессию десятков тысяч потенциальных бунтовщиков. Исходя из того, что информационные технологии развиты слабо, а сотовая связь в горах малодоступна, ряд западных компаний-инвесторов предполагает ввести распределенную телекоммуникационную систему на основе «ячеистой топологии», в которой сеть организуется на базе мобильных телефонов, с прямыми звонками «от человека к человеку», минуя сотовых операторов. Последнее позволяет удешевить связь нового типа, сочетающую GSM-сети и интернет-телефонию. Кроме того, разрабатываются возможности запустить твиттер-каналы не только на арабском, фарси и русском, но и на кашеварском языках.

Безусловным богатством южных провинций со времен древних ханств были сельхозугодия. Но в

этом году чай и рис из-за неустойчивого климата и скудости гидроресурсов не уродились, многолетние фруктовые деревья повреждены неблагоприятными погодными условиями, а зерновые культуры выросли в недостаточном количестве и очень плохого качества. Объем продукции пищевой промышленности, составлявшей некогда две трети от общего промышленного производства юга, резко упал. Основной культурой, приносящей экспортную прибыль, был и остается хлопок. Но с развалом текстильной промышленности в России экспорт хлопка упал и составляет менее десяти процентов ВВП Кашевара.

По оценкам международных экспертов, не менее половины граждан живут за чертой бедности. Главным источником существования для значительной части населения юга являются денежные переводы от уехавших на заработки родственников. Социальные трудности и всеобщее недовольство провоцируют появление на политической арене очевидного «религиозного вопроса». Радикализация отчаявшегося населения будет неизбежной, а влияние религиозных организаций и экстремистских движений, по типу запрещенной властями Хизб ат-Тахрир аль-Ислами (Партии исламского возрождения), будет нарастать.

По мнению экспертов, кашеварские мусульмане не готовы к цивилизованно-правовой общественно-политической деятельности. Среди них не так много профессиональных политиков, юристов и экономистов. Во избежание радикальной исламизации и пропаганды экстремистских политических идей властями активно насаждаются течения, делающие



упор на личный нравственный рост. Для построения новой религиозной идентичности, основанной на суфийских принципах, в качестве нового святого Кашевара эмир выбрал своего скромного, доброго и работающего товарища юности. Своего друга, нестяжателя и бессребреника, правитель Кашевара наградил ореолом чудотворчества и сделал примером для подражания во всей стране. Однако разное отношение к вере — еще один фактор, который может привести к расколу страны на две части, сорвать существующие договоренности с Россией и отрезать растущую экономику Китая от залежей полезных ископаемых вновь образованных государств.

Файлы этого тайного дипломатического донесения взяты с сайта Wikileaks.

Глава 1

Муки маленького Мука

1.

Катя проснулась рано, села на кровати и начала расчесывать волосы. В лучах утреннего солнца она выглядела бледно.

— Как дела? — поинтересовался я.

— Фу как плохо, — зевнула она. — Здесь стены цвета фуксии давят и угнетают.

— Ну... — пожал плечами я.

— И вообще, мне здесь не нравится. Как мамина дочка, я не привыкла ночевать вне дома, — капризничала Кэт. — Поэтому предлагаю прямо сейчас отправиться ко мне и познакомиться с моей мамой.

— Может, позавтракаем сначала?

— Да не могу я здесь есть, — бросила Катя расческу и, недовольно мякнув, отвернулась к стене.

Если женщина чего-то хочет, значит, этого хочет Бог. Через пятнадцать минут мы уже скользили на «ягуаре» по покрытому тонкой изморозью шоссе. Морозы, по прогнозам, должны были ударить раньше, но пришли они, кажется, только этой ночью.

— Вот увидишь, тебе у меня понравится, — говорила Катя, — у меня очень мило.

— Насколько мило? — я был расстроен тем, что она и полдня не смогла провести в тех истинных условиях, что я мог ей предложить. С другой стороны, мне очень хотелось посмотреть на то место, где Катя выросла и провела большую часть жизни.

— У меня вся комната в плюшевых зверюшках. Зайчики, мишки, собачки и киски...

Я представил себе девичью комнату с кремовой занавеской-балдахинном у кровати, с белой мебелью, розовым постельным бельем и розовым ковриком,

покрывалом с рюшечками и косичками, а кругом, на всех полочках и комодах, голубые, салатные, ванильные и розовые плюшевые мягкие игрушки. И меня чуть не стошнило. А еще, наверное, эти друзья отражаются в зеркалах трельяжа.

Нет, все-таки надо было позавтракать с утра. Я стал мотать головой по сторонам в поисках хоть какой-нибудь кафешки. Но ничего работающего не попадалось. Так мы доехали до самого дома Кэт на Крестовском острове.

2.

— Подождешь меня в машине пять минут, милый, — чмокнула Кэт меня в щечку, — теперь твоя очередь. Мне надо маму подготовить, она у меня все близко к сердцу принимает. Работает начальником в ОВИРе. Но ты не пугайся так сразу...

— Угу...

— Это я беру с собой, — хихикнула Кэт, — чтобы ты не забыл научить меня наконец играть в шахматы.

В зеркало заднего вида я видел, как Кэт взяла пакет с моей кошкой и шахматами. Интересно, каково будет моему уличному коту в окружении плюшевых розовых котят и кисок? Как он себя поведет? Справится ли?

Где-то в глубине души я хотел очутиться в уютной семейной обстановке. Уже год, как я не ел домашней еды. Интересно, на каком этаже живет Кэт? И почему ее так долго нет?

«Уже двадцать минут, как она ушла», — посмотрел я на часы. Время в разлуке с ней тянулось и тянулось. Подождав еще двадцать минут, я начал звонить Кате на мобильный. Но абонент не отвечал или был недоступен.

Выйдя из машины, я зашел в подъезд. Один массивный маршевый пролет вел вверх, а другой вниз. Неужели она живет в подвале? Я пошел вниз и увидел свой пакет: он, сжавшись в комок, пригрелся возле батареи. Подъезд оказался проходным, и никаких шахмат в пакете не было. Мой кот не выдержал столько еды и отрыгнул.

Подняв пакет, я вышел во внутренний двор дома, не зная, что и подумать. Если двор пройти насквозь, а дальше через арку, выяснил я, оглядевшись, то рукой подать до метро. Но я вернулся и позвонил в первую попавшуюся дверь на самой нижней лестничной площадке.

— Кто там? — спросил подозрительный старческий голос из-за стены. — Кому еще понадобилась Екатерина Ивановна?

— Простите, вы не подскажете, у вас в подъезде живет девушка по имени Кэт?

Раздалось лязганье засовов и цепочек, после чего дверь приоткрылась, и в нос мне ударил жуткий кошачий запах.

— Что вы сказали? — высунула она голову над цепочкой. — Кошки?

3.

Я сразу узнал ее, вспомнив, как заскочил в разухабистый дежурный троллейбус и второй раз за ночь встретил эту старуху в дождевике и с коробкой. Что она там делала? Возила ли она своего питомца к знакомому ветеринару или на случку с котом той же породы? А может, она продает котят у выхода из метро или собирает с помощью своих домочадцев милостыню? Или, может, в коробке был вовсе не кот? А был ли вообще в коробке кто-нибудь?

Позже я очень жалел, что ничего не выяснил. Я корил судьбу и свою нерешительность. И вот теперь я стоял с пустым скомканным пакетом, и передо мной снова были ее красные глаза с прожилками.

— Да, кошки, — сказал я, и старуха, тут же скривив рот в улыбке, сняла цепочку, словно кошки были паролем.

— Кошка — она хранительница очага. Она охраняет черные дыры в иные миры, — последнее старуха произносила словно заклинание, шепотом, и я не мог оторвать глаз от черной дыры ее беззубого рта. — Как только мы в блокаду съели нашу кошку, на нас посыпались беды и несчастья.

Я вошел в темную прихожую коммунальной квартиры с плетеным креслом у дверей. В прихожей еще стояла газовая плита, на которой варилось какое-то жуткое варево.

— Только спустя много лет я поняла, что взяли то, что нам не принадлежит. Кошка — она хранительница очага. Она закрывает собой черные дыры, — повторила старуха, — Как только мы съели нашу кошку, я будто вмиг потеряла все, всех родных и близких. Я болела, я так истощилась, что стала словно сухое дерево и потеряла способность цвести и плодоносить. Но тогда-то во мне открылся дар предвидения.

— Екатерина Ивановна, дар предвидения — это хорошо. — Я понял, что если слушать все байки старухи по два раза, то можно сидеть здесь до утра. — Но я хотел спросить про настоящее. Скажите, молодой девушки Кэт среди ваших соседей нет?

— А, вы, наверное, влюбились! — заулыбалась беззубым ртом старуха. — Давайте я вам погадаю на вашу любовь.

И она взяла в морщинистые дряхлые ладони мою мозолистую ладонь.

4.

Екатерина Ивановна выглядывала что-то на моей линии любви, а я не мог оторвать глаз от сотен морщинок на ее трясущихся руках. Сколько мук пережила эта старуха? От каких страданий они появились?

— У вас большое сердце, — наконец выдала старуха. — Вы тоже способны любить всем сердцем. В том числе и кошек! Но сейчас не об этом. По вашей руке, молодой человек, я вижу, что вы большой фантазер. Ваша линия жизни очень рано расходится на две линии. То есть вы живете двумя жизнями. Одной реальной, а другой — фантазийной. В способности фантазировать вам не откажешь, — засмеялась старуха, — представляете себя то эфиопским королем, то финансовым воротилой — это ваш конек-горбунок.

Старуха как в воду глядела! Не принц, так Майкл Джексон! Я действительно мечтал быть то королем поп-музыки, то отпрыском эмира Абу-Даби, которым на голову вот-вот свалится наследство и признание. И всегда в этих фантазиях присутствовала дорогая машина, отдельная, великолепно отделанная квартира и шикарная девушка, смотрящая на меня восхищенным взглядом.

— Но вы, — продолжила старуха, — должны определиться, потому что одна из двух жизней резко обрывается. А уж какая, реальная или фантазийная, кто его знает. По вашей руке я вижу, что вы живете как бы двумя жизнями, вы — противоречивая, двойственная натура. Ну так вот — одного из вас ждет большой успех, и он станет большим человеком. Возможно, даже найдет клад. И как только он станет большим человеком, другой тут же может превратиться в его тень и пыль.

— А разве может фантазийная жизнь не оборваться вместе с реальной? — спросил я, сглатывая ком.

— А кто вам сказал, что покойники не мечтают, повернувшись лицом к северному ветру? — сверкнув глазами-бельмами, таинственно произнесла старуха. — Или вы думаете, что Бог лишил их своей милости? Что им еще делать, как не мечтать? Чем заниматься в одиночестве в своих могилах?

От ее слов у меня мурашки пошли по коже.

— Я вижу большую опасность. Вижу, что вы взяли то, что вам не принадлежит. Мойра — вот что имеет первостепенную важность. Мойра! Но вот что я вам скажу, молодой человек. Не берите на себя грех. Не берите то, что вам не принадлежит. Занимайтесь своим делом.

— А какое оно, мое дело?

— Вы сами его найдете. Но не забывайте, что вас двое. Вы и ваша фантазия. Эти две линии нужно



Рисунок Елизаветы Горяченковой

как-то соединить в единое целое, чтобы одна не мешала другой. Будьте равным себе, будьте цельным человеком.

— У меня есть брат, — сказал я, прогоняя мысли о Грегоре Стюарте. — Люди говорят, что он живет со своей моделью-обезьянкой. Как бы я хотел, чтобы он образумился, добился успеха, стал человеком и порадовал маму.

— Брат здесь ни при чем. Каждый отвечает сам за себя. Я говорю лишь про вашу руку. Про вас и ваше второе «я», про вас и ваше альтер эго! Тот, кто выберет любовь, останется жить. Тот, чья любовь сохранится, и сам не погибнет. Другой канет в небытие.

5.

Мне трудно было понять, что имеет в виду старуха, я, скорее, ощущал ее слова сердцем. Но с каждым новым словом слышать становилось все труднее.

Вонь стояла невообразимая, и я из последних сил старался не обращать на нее внимания, выслушивая в пятый раз рассказ бабушки про ополчившихся на нее соседей. Старуха опять заговорила о наболевшем. О том, как соседи строчат на нее жалобы, потому что хотят выселить из квартиры и сдать в сумасшедший дом. А она все равно будет помогать бездомным кошкам. И будет их содержать, насколько хватит пенсии. И даже сама лазить по помойкам в поисках еды.

— Если где-то есть кошки, несите ко мне. Я буду их содержать, насколько хватит сил и помоек, как бы соседи ни выступали против моих кисок.

Так вот откуда этот запах — с помоек. К горлу подкатил комок тошноты. Проглотив в очередной раз залпом душеспипательную тираду старухи, переварить ее я уже не смог. Не в силах терпеть послевкусие отрыжки, я поспешил на свежий воздух. Голова кружилась, асфальт плыл под ногами, как будто я отравился гнилыми ветрами тлеющего и разлагающегося мира.

Бред, происходящий со мной все последнее время, вывел меня таки из равновесия. Я даже представить не мог, что случилось с Катей и куда она пропала! А тут еще эта старуха с ее пытками вонью.

Запах, что проник мне глубоко в носоглотку, привязался и к моей одежде. Я решил немного погулять и проветриться, чтобы избавиться от чувства тошноты. Привел меня в чувство «нашатырное настырное пип» мобильного. В уютном скверике меня, словно пулеметная очередь, настигло не одно, а целая череда СМС, каждое из которых издавало короткие резкие звуки. К несчастью, все они действительно были очень острыми и болезненными.

6.

«Я все узнала. Ты меня обманывал», — прочитал я в СМС, следующих одно за другим. «Ты вовсе не тот, за кого себя выдаешь». «Ты не Грегор Стюарт, а совсем другой человек». «Не хочу больше ни видеть, ни слышать тебя». «Не звони мне больше и не ищи встреч». «Это бессмысленно». «Я меняю номер телефона, и ты только потратишь время зря».

Тут она была права. Я действительно выдавал себя за другого — и в этом был мой косяк. Но как она догадалась? И тут я вспомнил: ее мама работала в ОВИРе. Наверняка она навела справки, узнав, что ее дочь встречается с гастарбайтером.

Возможно, у меня оставался последний шанс что-то исправить. И я, закатав рукава, накатал большое письмо, нет, поэму, в которой извинялся и просил прощение за ложь. Возможно, Кэт не так скоро сменит симку, и мое признание дойдет и повлияет на ее решение.

Отправив эсмэску, я мог только ждать и подгонять время. Но не так-то легко подгонять время, сидя на одном месте и ничего не предпринимая. Сердце колотилось так, что казалось, будто у меня два сердца и одна нога. Чтобы соответствовать внутреннему ритму, мне нужно было что-то делать. То и дело пялясь на экран сотового, я пошел куда глаза глядят, еле успевая подтаскивать за каждым шагом вторую ногу.

В машину я не сел, потому что не мог за себя поручиться. В таком состоянии можно и улететь в Неву, к которой я и так вылетел, еле успев вписаться в поворот на мост. Я протопал, наверное, километра четыре, не моргнув и глазом. Мост я тоже пролетел на одном дыхании, не обратив никакого внимания на зайца, восседавшего на столбике.

Вот и Летний сад, в котором среди мраморных скульптур Анна Иоанновна когда-то устроила звериный загон для кабанов и медведей. Я вышел к Инженерному замку. Теперь я сам чувствовал себя загнанным механическим зверем. Пробежав через площадь Искусств и выдохшись, я сел на скамью на Малой Садовой рядом с уличным мимом, изображающим мокрую курицу. Домой на Конюшенную идти не было никаких сил. Будь они прокляты: и эта квартира, и этот телефон, и эта машина. Будь она неладна, моя судьба, сыгравшая со мной такую злую шутку. Разом обрести то, о чем так долго мечтал, и тут же потерять...

Сидя на скамье на Малой Садовой, я глазел на праздно шатающихся и спешащих по своим делам пешеходов, прежде чем заметил, что сижу аккуратно на скамье между котом Васькой и его спутницей Василисой. В Василия туристы норовили попасть монетками. Они верили, что это принесет им сча-



стье. А напротив, через Невский, возвышалась громадина Екатерины Великой. Со всех сторон, словно в насмешку, меня окружали символы. Жестокий, бездушный город. Каменные манекены.

За время работы в этом городе мои мышцы каменели. Вот и сейчас я верил в их силу — вставай и сворачивай горы. А вот сердце, наоборот, стало мягким и чувствительным. Чувствительным к малейшим знакам и символам. Все кругом напоминало о Кэт. Я вспоминал, как мы гуляли в этих местах во время нашей первой встречи.

Кому нужны свернутые горы в городе, где каждый дом в центре — горы мрамора и гранита? Кому нужна мужская сентиментальность? Тем более что она не к лицу этому бесчувственному городу с его холодным равнодушным лицом и мраморной кожей с синими разводами каналов.

7.

Что мне оставалось делать в сложившейся ситуации? Где искать Кэт?

Вспомнив, что она студентка СПбГУ, я отправился на Васильевский остров. Если встать во дворе университета и смотреть на проходящих студентов, возможно, есть шанс встретить Катю.

Через час я уже был около главного корпуса. И здесь — о, насмешка судьбы! — опять наткнулся на памятник кошке. Разъевшая бронзовые лоснящиеся на солнце бока, она пригрелась на своем постаменте.

«Интересно, — думал я, стоя в тени арки, — кошкам в Питере ставят памятники, потому что они стоят на границах черных дыр?»

А черные дыры в этом городе на каждом шагу — стоит зайти в любой подъезд или двор-колодец, стоит стать чересчур восприимчивым к знакам и символам.

Кошки служат верно, нет, даже не людям, а своим богам. И великие люди, следуя своему предназначению, тоже служат богу. А вот маленький человек, что из последних сил бьется и барахтается, словно котенок, брошенный в воду бесконечных каналов и колодцев этого города, — как быть с ним? Может, и в память о нем стоит открыть мемориальную табличку с надписью?

Мол, это памятная доска висит здесь в честь гастарбайтера-маляра, который, борясь с сырым климатом, штукатурил и красил серые подтеки, шпаклевал и грунтовал черные дыры обвалившейся штукатурки и побелки этого шедевра архитектуры. Но нет, куда там! Бригадир объяснил нам, что «гастарбайтер» — это от немецкого слова «остербайтер», означающего «вывезенные из Восточной Европы для работ».

Когда-то русские были дешевой рабочей силой у немцев. А теперь они так презрительно называют нас!

«Допустим, мама Кэт, — размышлял я, — сказала ей, что я не Грегор Стюарт. Но как она узнала мое имя? А может, Катя, пока я варил кофе на общей кухне или курил на общем балконе, в общем, пока меня не было в комнате, заглянула в мой кашеварский паспорт или в миграционную карту?»

8.

Простояв до позднего вечера во дворе института, я дождался того, что на меня стал коситься закрывающий двери архаровец-охранник. Все занятия закончились, а Катя так и не объявилась. Ничего не оставалось, как снова идти в центр. На этот раз я двинулся по мосту лейтенанта Шмидта.

Зажженные фонари отражались в Неве. У «Новой Голландии», передвигаясь с помощью ригеля и ковша, словно краб, к воде осторожно спускался экскаватор. Еще немного, и он начнет выгребать со дна Крюкова канала пузатую мелочь.

При медленном течении на дно оседают не только ил и мусор, но и утопленные котятка. С моста Поцелуев в воду летят серебристые монеты, осколки сумерек и прозрачные слезы нежности.

Вытянутые тощие дрожащие руки бледных каналов исправно собирают свою дань-милостыню с сердобольных туристов.

А рядом режущий землекоп вгрызается в грязь и грунт. Экскаваторные «грабли» вырывают с корнем заросли водорослей. Ковш-насос высасывает и по трубам отправляет на свалку размякшую глину.

В каменном городе нет места живому. Только растяжки рекламы колышутся на ветру. Люди ткнут и развешивают эти ткани, подражая паукам, а монолитные дома вьют, подражая осам.

Чуть дальше, у старого сквера, громыхая, будто слон, своими молотообразными ногами, сваебойная мостовая установка вбивает железобетонные гвозди. От ее ударов подо мной дрожит земля. Кажется, дизель-молот колотит со всей дури по моей несчастной голове, все больше и больше углубляя восприятие окружающего и расширяя русло подсознания.

Я вновь думаю о старухе из тошнотворной квартиры. Ищет ли она со своей близорукостью котят на дне каналов? А может, и нет никаких котят, а есть только тени-кошки помутневшего сознания? Морщины, шрамы, рубцы и комплекс вины оттого, что они с родными съели кошку, которая прикрывала черную дыру во время холодной и голодной блокадной зимы. И посыпались на них несчастья, как пощечины.

Теперь старуха олицетворяет для меня этот годный город. Но вот у Исакия я вижу девушку в наморднике. Ее на поводке ведут друзья, требуя подать «социальному животному». Девушка просит милостыню с помощью плаката, который несет в руках.

Что это? Перформанс? Высокое искусство? Способ привлечь к своей персоне больше внимания? Я останавливаюсь и долго смотрю вслед удаляющейся процессии.

Глава 2

Зиндан теневого мира

1.

Как бы ни был камерно тесен и мрачен зал «Раки» у подножия цитадели, но исправительный зиндан для убийц и воров Кашевара был гораздо мрачнее и теснее. В полной темноте Омар попытался пошевелить конечностями, но тщетно. Его рот и превратившиеся в отбивную котлету мышцы лица с трудом двигались на воспаленной от побоев сковороде черепа. Еле-еле открыв глаза, Омар понял, что смотрит на мир через мясистую гематому. В камере стояла жуткая духота. Голова раскалывалась, в горле пересохло, а нос от сухости разрывался на поры. Хотя где-то рядом был источник воды. «Кап-кап», — это за столом звонко кидали игральные кости сокамерники Омара.

Температура приближалась к тридцати восьми градусам. Или, возможно, к тридцати восьми приближалась температура собственного тела Омара. Учитывая, что его незакаленный, неподготовленный организм долгое время провел на холодной земле, болезнь рано или поздно должна была нагреть. А если сюда прибавить напичканную бактериями воду в озере, которую Омару приходилось пить!..

Впрочем, будь у Омара в настоящий момент возможность, он, не задумываясь, снова пригубил бы из пруда. Чилим ощущал под спиной не утоптаный земляной пол, а колючую преющую солому.

— Пить! — едва слышно попросил сухими губами Омар.

— Смотри-ка ты, очнулся, — обратился на него внимание один из играющих. Ширхан, так, кажется, к нему обращались партнеры по игре. И больше этот вор в законе и король теневого мира не проронил ни слова. Кап-кап-кап. Его товарищи по-прежнему то и дело бросали кости на стол и передвигали фишки. Пытка заключалась в том, что каждая капля, казалось, шипела, как масло, от соприкосновения с раскаленной поверхностью головы.

— Ду-шеш, ду-беш, шеш-беш, шеш-чар, — шипя и цокая языком, то и дело называли по-персидски выпавшие комбинации игроки, что среди уголовников Кашевара считалось особым шиком.

2.

Вода Омару была просто необходима, чтобы остудить сковородку и не дать лопнуть готовой, как казалось ему, пойти по швам горящей пленке кожи.

Кап-кап-кап. Раз-два-три. Трик-трак-тибидох. Под эти размеренные звуки Омар снова закрыл глаза и приказал себе расслабиться. Он припомнил, что у них в Европе игра в нарды называется «трик-трак», а популярность она набрала после возвращения рыцарей из крестовых походов к Храму Господню. Неужели и он, Омар, прихватит эту заразу после возвращения из своего благословленного разбушевавшимся Бушем похода на восток?

«Но тут уж не до Святого Гроба, тут бы свои кости унести целыми!» Когда Чилим в следующий раз с трудом разлепил веки, то понял, что стены тюрьмы чудовищно толсты и высоки, — это было видно по дверному и оконному проемам. Такой толщины стены клали в невообразимо стародавние времена, и могли они принадлежать только постройкам старого города. «Как пить дать, — подумал Омар, — это одна из тюремных башен, известных в народе как башни “Белый лебедь” и “Черный дельфин”».

Камень этих построек настолько крепкий, что ни о каком водопроводе не может идти и речи. Наверняка это капает из рукомойника, подвешенного над тазом. «Белым лебедем» эту башню прозвали то ли в честь принесенной в жертву при закладке бедной птицы, то ли в честь белошвейки девушки, которую здесь запер под арест и продержал до самой кончины муж-тиран.

«В этой яме я как в улье», — поглядел Омар на светящееся высоко вверху, под самым потолком каменной бочки, маленькое окно. В такое только пчелы и могут проскочить. Впрочем, дверь тоже не отличалась громадными размерами. Низкая и узкая, обитая стальным листом, она удручала мощным зазором, который, несомненно, был с другой стороны и определялся торчащими на эту сторону толстыми гвоздями.

«А вон и запасы меда», — кинул Омар скользкий взгляд на парашу с деревянным рундуком и прикрученной к баку цинковой крышкой.

Теперь он только мог слышать. Он слышал, как один из сокамерников по имени Саур Хайбула, проигравшись в пух и прах, громко ругаясь, требовал предоставить ему право на отыгрыш.



— Что ты будешь ставить, голодранец? — тыкал ему в нос его же проигрышем Ширхан-эфенди.

— А вот его, — указал на Омара верзила. — Играю на жизнь этого никчемного доходяги. Если выиграю, то вы мне возвращаете 500 сомов, а если проиграю, то обещаю сделать из этого белого красавчика самую лучшую наложницу гарема.

3.

Протестовать, взывать к тому, что рабство вне закона, ссылаться на пятую поправку к конституции у Чилима не было никаких сил. Он не мог сопротивляться физически, но он мог думать. Как ни удивительно, но полиция на этот раз подоспела вовремя, и его доставили в тюрьму в целости несмотря на то, что сторонники Гураба-ходжи пытались учинить самосуд и разорвать его на части.

«Значит, — решил Омар, — я им зачем-то нужен. Иначе они обязательно отдали бы меня на растерзание возбужденной толпе».

— Ну что, птенчик, допрыгался, — склонилось над Омаром грузное потное тело Саура, — сейчас будем делать из тебя послушную рабыню.

Омар открыл глаза и увидел над собой настоящего верзилу-гориллу. Мощное мускулистое тело эка, покрытое толстым слоем сала и пота, словно свисало над Омаром с какой-то лианы. Приглядевшись, Омар понял, что горилла Хайбула сжимает в огромных волосатых руках веревку, которую он в следующую секунду накинул на шею Омару.

Здоровый, с огромными бицепсами и выпирающей вперед челюстью хищника, он смотрел полными ненависти и злобы, красными, воспаленными от игры глазами, как начинает задыхаться Омар, чтобы потом ослабить хватку. Но самое противное — спина и грудь этого верзила были покрыты клочьями рыжих колючих волос. Слипшиеся от пота пучки этой растительности торчали еще и из каждого сгиба огромных ручищ. И даже, казалось, между пальцами они создавали волосяные перепонки.

Ну вот и последняя перед смертью пытка страхом. Омар был уверен, что пока у него не выведают то, зачем его задержали, его не убьют. Но вот психологически помучить для слома воли могут основательно.

«Наверняка этот *ацкий* макак, — думал Омар, — этот кафрский буйвол, продвинулся всех дальше по шкале звериности. Но вряд ли он занимает высокое место в воровской иерархии. Скорее всего, он лишь работает вышибалой при Ширхане-эфенди, вышибая попутно из зарослей хозяина блох. Поистине, чем сильнее мышцами человек, тем слабее он духом. Обезьяньи инстинкты будут жить в нас, пока мы с

вами относимся к отряду приматов, ибо они прочно записаны в генетическую память».

4.

Со студенческой скамьи Омар знал, что люди, как и приматы, в закрытом обществе достигают своего положения благодаря высокой конфликтности и наглости. А здесь, в тюрьме, — где те, кто не смирился со своим положением в обществе, наплевал на нормы общежития, бьются острыми плавниками за глоток воздуха, как сельдь в бочке, — иерархия сложилась куда более жесткая и агрессивная.

Вот они, грабители и налетчики, медвежатники и щипачи. Цвет воровского мира, возжелавший, рискуя своей свободой и жизнью, подняться и разбогатеть. Многие — сильные и нестандартные личности. Яркие представители своего народа, которые с большой решимостью, упорством и удовольствием занимаются внутригрупповой и внутривидовой борьбой. Для них процесс конфликта — ни с чем не сравнимый кайф, и потому он давно уже стал самоцелью.

Вступать в психологическую перепалку, а тем более борьбу за место под солнцем с отъявленными бандитами Омару не было никакого смысла. Он по природе был уступчив и мягок. Прямые столкновения ему претили, а значит, он рано или поздно проиграет. Уголовники сразу его раскусят. Прощупают на прочность, попрессуют и начнут давить. И он не выдержит, сорвется, сломается и опустит, на радость извергам, глаза. А у человека, как и у обезьян, это верный признак подчинения.

Лучше сразу закрыть глаза и уйти от конфликта. Но как уйти в закрытом помещении? Правильно, прикинуться больным и даже не открывать глаз. Падалью и трупами настоящие львы не питаются.

«Главное — не оказаться хуже их, — крепился Омар, пока Саур то затягивал на шее Чилима веревку до потемнения сознания, то ослаблял узел, — не плакаться, не стонать, не обделаться в штаны. Я тоже должен быть готовым заплатить собственной жизнью за право хотя бы не опускаться ниже моего нынешнего социального положения. Главное — сохранять молчаливое достоинство, не унижаться и не просить, иначе точно окажешься под нарами у параша».

5.

— Что ты раскис? — удивился Ширхан-эфенди. — Почему не сопротивляешься, как пацан?

— А что я могу сделать? — прохрипел Омар, душный гориллой, как будто мог думать о куске пищи с перетянутым горлом. — Я уже несколько дней не ел, и у меня нет сил!

— Ты можешь сделать свою встречную ставку! Сыграть с нами в нарды на что-нибудь ценное!

— Но у меня ничего нет за душой! — прохрипел Омар.

— А душа? Пока ты играешь, пока ты ставишь и блефуешь, ты интересен окружающим, то есть нам. А значит, до тех пор твоя жизнь хоть чего-то стоит. Отпусти его, Саур.

— И души у меня нет! — хрипя и кашляя, выдал из себя все, что у него было внутри, Омар. А сам, глядя на кровавые следы на ладони, подумал: «Надо же, любое общество, как и человек, состоит из двух сторон-половинок — лицевой и теневой, светлой и темной. А линия раздела между ними проходит по сердцу».

— Тогда играй на свое будущее. На свою будущую жизнь. Ставь все или ничего. Ну давай, давай, решайся! В конце концов, ты можешь поставить обещание сделать для нас все, что мы пожелаем.

— Кто берет обещания с умирающего? — намекнул на свое полуобморочное состояние Омар.

— Не приbedняйся, — пригласил Омара жестом к игровому столу Ширхан-эфенди. — Если выиграешь у меня в нарды, то выбираешь любое кушанье. Мы организуем тебе, как ты привык у себя на родине, шведский стол. А если я, то каждый мой выигрыш — камень из тех, дорогу к которым знаешь только ты.

При упоминании о камнях Омар нервно рассмеялся. Поистине, слухи в Кашеваре размножаются быстрее кроликов и разлетаются стремительнее летучих мышей. А уж в тюрьме, с ее тайной системой оповещения, всем давно было известно, что удачливый иностранец всех ближе подобрался к сокровищам Балька-Малика и Кош-муллы.

— Но я не знаю никакой дороги, — нервно улыбнулся Омар, — и камней никаких не знаю.

— Ну так скоро узнаешь, — прокашлялся Ширхан-эфенди. — Всем в Кашеваре известно, что камни достанутся иностранцу, прошедшему путем суфия на оборот. Сначала безмятежность счастья, любовь к миру и единение с ним. Затем сомнения, бегство и изгнание. Потом жесткие, как в тюрьме или келье, ограничения всего и вся. И, наконец, полная потеря рассудка и воли. От человека без нафса до безумия зверя.

— Безумия еще не было! — ухватился за спасительную ниточку Омар.

— Кто знает, кто знает, — хитро ухмыльнулся Ширхан-эфенди.

6.

Верзила Саур не только снял с шеи бичуры Омара бечеву, но и помог ему подняться на ноги, проводил к столу и даже подоткнул под задницу табурет.

— Ну давай же, не жмись, сыграй на сокровища! — подначивали скопившиеся вокруг Омара урки во главе с Хайсамом. — Чего тебе терять?

Точно так однажды уговаривали его сыграть в наперстки на Невском собравшиеся в кучу подельники. Три стаканчика и один камешек. «Кручу-верчу, обмануть хочу». Только начав играть, он понял, что они зажимали шарик в ладони и выиграть у них было невозможно. Так почему не сыграть с Ширханом-эфенди по законам наперсточников? Ведь камней у него все равно нет.

— Ну хорошо, — вдруг пошел на безумный шаг Омар, — я буду ставить на кон по камню. А если я выиграю хоть раз, то ты скажешь, кто похитил лебедя из пруда Балька-Малика. Ведь, по слухам, ты теневой правитель Кашевара и знаешь про все, что прячется в тени от прочих глаз и ушей.

— Ты, иностранец, и правда наслышан о моем могуществе? — засветился от удовольствия и вышел на мгновение из тени Ширхан.

— У тебя под контролем все убийцы и воры преступного мира. А главное, в твоих руках героиневый путь, через который в иной мир идут не только караваны наркотиков, но и караваны людей. Скажи, зачем тебе камни, когда ты владеешь порошком, что делает тебя богаче и сильнее любого каменщика?

— Вот именно, форель, — приблизился вплотную к уху Омара Ширхан, — но я хочу безраздельной власти. А сейчас мне приходится делиться и отдавать все большую и большую долю. А иначе что я делаю в этой камере? Я играю и делюсь, и тебе придется играть и делиться. Иначе ты труп.

7.

— На, возьми зары и бросай их. Тебе, как гостю, я дарю право первого хода.

Игра в плясавшие по столу и под столом кости началась. Омар взял дрожащими руками кубики и бросил, затем протянул их Ширхану-эфенди.

— Кидай ты, — издеваясь, ухмыльнулся Ширхан, — я лишь буду ходить. Сначала за себя, но не успеешь оглянуться — и за тебя. Потому что у тебя не будет другого выбора, как ходить только по предоставленным мной полям.

Омар догадывался, что по воровским законам в блатные нарды на просто так не играют. Поставишь жизнь — придется ее отдать, даже если она никому и задаром не нужна.



— Нарды богоугоднее шахмат, — успокаивал Ширхан-эфенди Омара по мере того, как тот проигрывал камень за камнем, — ибо в шахматах человек надеется на свой ум, а значит, на гордыню, а в нардах вся надежда только на случай, а значит, на провидение Аллаха. Гордыня — самообман, она ведет к гибели.

— Выходит, из-за своей наивности и веры в чудо на зонах так любят нарды? — нервно засмеялся Омар после того, как успел проиграть полтаблицы Менделеева. Опал, аметист, агат... Почти весь алхимический состав. А сам подумал: «Только чудо и провидение могут спасти эту страну от полной деградации и разрушения, а меня — от смерти».

— Многие играют потому, что ловкость рук и сила воли помогают выбрасывать нужное число. А многие — потому что и в жизни, как предписано по игре, мечтают первыми пройти свой круг, раньше вернуться в свой дом и быстрее выброситься за борта доски. То есть откинуться.

— Они мечтают освободиться и для этого снова играют и мухлюют? — с каждым ходом Омар нервничал все больше и обращался к иронии все чаще.

— Они не зря мечтают о лучшей доле, разбрасывая кости, — снисходительно улыбнулся Ширхан. — В момент своего рождения эта игра имела большое мистическое и символическое значение. В зависимости от итога партий персидские цари начинали и заканчивали войны за влияния и богатства, а их астрологи предсказывали будущие события и судьбы владык мира.

— Неужели, — ухмыльнулся Омар, — значит, мы сейчас играем на будущее мира?

— А по-другому и не бывает на великой народной доске. Ибо поле для игры можно сравнить с небом, а движение фишек по кругу уподобить ходу звезд. Каждая половина доски не случайно состоит из двенадцати отметок для фишек, а само поле не случайно поделено на четыре части. Так, двадцать четыре пункта означали двадцать четыре часа в сутках, а тридцать шашек — число лунных и безлунных дней месяца, если играть в полные нарды, заполняя все три дома и четыре стороны света. В шахматах игрок стремится зашаковать и задушить противника, а в нардах — занять райское поле. Ты как иностранец, посланный Балыком-Маликом спасти эту страну, тоже должен захватить сначала королевское, а потом райское поле. Вот мы и посмотрим, какова твоя сила и везение.

— А ты, — спросил Омар, — ты поднялся благодаря случаю и провидению или благодаря уму?

— Я — благодаря характеру. Если хочешь, мы можем сыграть в орла и решку, — предложил Ширхан, — но учти: в игре в орла мне нет равных. Если мне будет нужно, чтобы монета встала на ребро, она

на ребро и встанет. А если захочу под ребро, то и так она тоже встанет.

8.

У Омара был единственный шанс выжить — использовать свой мистический ореол и шлейф. Но чем больше было на кону, тем плотнее становилась стена вокруг. Как рой пчел, сподручные Ширхана нависли над изумрудными, рубиновыми, сапфировыми, гагатовыми цветами из рая в надежде, что им перепадет хотя бы пыльца от трения таких соковищ...

— Что же ты! — театрально возмущался Ширхан. — Белые вроде начинают, продолжают и выигрывают. А еще сами же и задирают, как в трех последних войнах в Ираке, Афганистане и Ливии!

Омар вспотевшей спиной чувствовал, что дружки готовы атаковать его по первому сигналу Ширхана-эфенди, как пчелы-разведчики, в самые уязвимые части тела. То есть забить его заточками после того, как он укажет, где камни. Пот выступил сверкающими каплями на лбу и шее Омара.

— Ты на мед налегай! Очень полезно и калорийно, — усмехаясь, указывал на выставленную на столе между кружками с чифиром пиалу меда Ширхан, — так быстрее прогонишь пот, вылечишься и избавишься от своей испарины.

«Они здесь как в улье! — думал Омар. — Температура тридцать семь и пять — идеальная для строительства сот, словно у них есть железы, перерабатывающие мед в воск. Даже дерьмо в параше становится липким, как патока».

— Без потогонного меда у нас не выжить, так что когда к тебе придут твои сторонники, проси их принести мед и насвай¹ — лучшее средство от жары! — продолжал глумиться и куражиться Ширхан-эфенди. — Тебе, кстати, еще повезло, что ты попал не в красную зону и что тебя не женили на «Черном лебеде». Вот если тебя после суда не повесят, а отправят в самую жесткую тюрьму мира — Гуантанаму, то там тебе точно не выжить. Ибо, как я посмотрю, Балык-Малик тебе совсем не помогает.

«Да и здесь я вряд ли выживу», — зашевелились волосы на голове у Омара, так как обстановка накалялась, а вибрация нарастала. На уши давил усиливавшийся гул. Еще немного — и он готов был сорваться и потребовать, чтобы от него отошли подальше. Но тут в камеру ворвались охранники и стали лупить и разгонять всех порядочных граждан теневого мира дубинками. В неразберихе крепко досталось по голове и Омару.

¹ Насвай — наркотик растительного происхождения.

Глава 3

Мощноногий мерин

1.

За Адмиралтейством, у вставшего на дыбы памятника Петру, меня нагнала девочка лет тринадцати на мощноногом мохнатом мерине.

— Дяденька, не поможете Принцу? — просит она. — Ему нечего есть!

Я вспомнил Элиота, которого забыл покормить, поднял глаза и посмотрел на девочку. Было видно, что она чем-то расстроена. Тушь под глазами ее растеклась и размазалась, как само небо.

Потешные войска... главная задача которых — каждый день сдавать не меньше энной суммы. Но сегодня, в первый по-настоящему холодный вечер, девчужке не удалось хорошо отработать, и она плачет. А хозяева сидят в заоблачных офисах и сальными руками подсчитывают прибыль от любви ребенка к большой теплой лошади.

— У вас что-то случилось? — мне очень захотелось помочь ей словом.

— Говорю же, Принцу нечего есть, — она ехала за мной на понуром мерине, не отставая ни на шаг.

— Дайте триста рублей, и я прокачу с таким ветерком, что вы сможете почувствовать себя самим Петром Первым.

«Первым? Заманчивое, конечно, предложение», — думал я, идя своей дорогой. Но принца на белом коне из меня не получится. Потому что я сам давно уже мерин, да и из Принца принц никудышный. В лучшем случае мы будем хилой пародией на Николая Третьего, что раньше стоял у Московского вокзала, а теперь стоит во дворе Мраморного дворца.

— Ну так будете кататься или нет? — почти перешла на крик девушка. Такой агрессии я от нее не ожидал.

— У меня нет денег. — Мое сердце, сразу мимикрируя под гранитно-мраморный город, равнодушно игнорировало все намеки-упреки.

— Ну тогда иди на хер! — зло выкрикнула девушка. Резко развернув Принца, она поскакала прочь, обложив меня крепкими матюгами. Задние копыта мерина, словно мотыги, вырвали с корнем и подбросили в воздух куски дерна.

И я пошел под этот салют. А что мне еще оставалось делать? Пошел мимо своры собак, лежавших вперемешку с мусором. Одна из псин держала в зубах ведро с котенком, выклянчивая подавание. Рядом стоял ветеран последней чеченской кампании, который и был истинным просителем. Но никто не спешил подавать бедным тварям. Гораздо приятнее

попасть монеткой в лоб жестяному истукану на Садовой.

Кругом фарисейство и лицедейство. Нет ничего подлинного и настоящего.

— А есть ли вообще человек? Или человек — идеальное животное для мимикрирования? Оборотень-хамелеон? Жестяной истукан?

2.

Порядком устав от «цирка Чинизелли», я пошел назад в квартиру Грегора Стюарта. Мне было плевать на то, что там меня поджидали кашеварцы в масках. Шахмат у меня все равно уже не было. А если меня ждет смерть, то уж пусть это случится скорее, и я избавлюсь от мук, что душили меня. Где-то в глубине души я мечтал умереть, надорваться и сдохнуть, как лошадь.

Но у дверей моего дома меня ждали вовсе не кашеварцы, а женщина лет пятидесяти. Она сидела на раскладном стульчике, который принесла с собой.

— Грегор Стюарт! — бросилась она тут же ко мне. Вблизи я увидел, что глаза у нее красные, заплаканные.

Я хотел было сразу сказать, что я вовсе не Грегор Стюарт, но женщина, представившаяся как Валентина Юрьевна, не дала мне вымолвить и слова. Она тут же начала излагать цель своего визита. Оказывается, ее дочь была невестой Стюарта. Она чем-то смертельно заболела и в данный момент лежит в коме в больнице.

Она до сих пор любит его, и не мог бы он (то есть я) в столь тяжелую минуту побыть рядом. Поддержать.

— Я знаю, — скороговоркой шептала Валентина Юрьевна, — это странная просьба и бредовая идея. Вы вроде уже расстались. Но все же — вдруг одно ваше присутствие поможет Тасе справиться с недугом? Ведь вы тоже несете ответственность за ее болезнь. Потому что именно вы были с ней рядом в то утро, когда она заразилась рабиесом.

Глаза Валентины Юрьевны были полны печали и отчаянья, она чуть ли не стояла на коленях, взывая о помощи. Объяснять ей сейчас, что я вовсе не Грегор Стюарт, было бы бесчеловечно.

— Хорошо, если ваша дочь в коме, я посижу с ней рядом.

Мне очень не хотелось в эти часы оставаться одному. Меня сильно угнетали муки совести и любовные страдания. И хотя мозг мой тоже отказывался воспринимать бред окружающего, я очень хорошо понимал ту девочку, брошенную возлюбленным.

Ну и скотина, однако, этот Грегор Стюарт! Но мне за что вернулось причиненное им зло? И почему я должен исправлять его огрехи и платить по его счетам?



3.

Назвался груздем — полезай в кузов, даже если это кузов такси, на котором мы помчались в больницу. Машина, преодолев пробки, встала в тупике, а мы, миновав КПП, оказались в серых бесконечных коридорах серого здания-лабиринта.

Но прежде на меня, словно намордник, нацепили респираторную маску и надели халат. Видимо, чтобы никакая инфекция не попала в палату.

— Вот, — указала Валентина Юрьевна, еле сдерживая слезы, на девочку, покрытую простыней, — видите, в каком она ужасном состоянии?

— Да! — я не понимал, что я здесь делаю и кто эта красавица.

— Прошу вас, возьмите ее за руку! — попросила несчастная мать.

— Хорошо. Как скажете, — взял я Тасю за руку.

— Как долго вы можете побыть с ней рядом?

— А сколько нужно?

— Я бы хотела, чтобы это было как можно дольше.

— Я постараюсь.

— Возможно, это ее последние часы, — не сдержала слез женщина. — И мне бы хотелось, чтобы она в этот момент была в окружении людей, которых она любит и которые любят ее. Скажите, вы ведь любите мою девочку?

— Да, — соврал я, глядя на слезы женщины.

— Тогда не буду мешать вашему общению.

Я сел подле кровати на раскладной стульчик, а Валентина Юрьевна сообщила, что сейчас уйдет к врачу.

— Вы с ней поговорите о чем-нибудь, — остановилась у порога палаты женщина. — Я верю, она все слышит и понимает. Нас в институте учили разговаривать с попавшими в катастрофу, чтобы они не теряли связи с этим миром.

4.

Поговорить, но о чем? Как только Валентина Юрьевна закрыла дверь, я встал и обошел кровать.

— Что они от меня хотят?! — схватился я за голову. Передо мной, как перед Всевышним в момент сотворения, лежала голая, без духа, плоть. И в эту плоть я, по мысли Валентины Юрьевны, должен был каким-то образом вдохнуть жизнь. Но как мне спасти эту девушку, как одухотворить, если я сам ничего из себя не представляю? — Зачем они вообще сюда меня вызвали? Чтобы оживить это бревно? — нервно расхаживал я по комнате.

Единственное, что я могу, — это раздеться и лечь рядом. И лежать таким же голым и беспомощным.

Они же меня совсем не знают. Они не понимают, что я не Грегор Стюарт и что у меня за душой ничего

нет. Ни одной оригинальной мысли, ни одного геройского поступка.

Я ведь ровным счетом ничего из себя не представляю. Одно пустое место. Чтобы что-то из себя представлять, надо столько учиться, столько знать и уметь. Но теперь уже поздно. Единственное, что я еще смогу, — это прожить жизнь, как все. Квартира, машина, семья — к чему еще стремиться? Успеть бы скопировать других.

Мы, люди, как вирусы, снимаем с себя копии и занимаем чужое место. С самого начала, с появления на этот свет у меня было такое чувство, что я занимаюсь постоянным обманом. Дурачу себя и близких мыслью, что у меня получится сделать что-то великое, а сам постепенно, тихой-тихой сапой старею, разрушаюсь и занимаю место своего отца.

Бог создал Адама, чтобы тот жил вечно и счастливо и не имел детей. Но Адам совершил первородный грех и был изгнан из рая, и стал смертным. А после смерти Адама мы, его дети, занимаем не предназначенное ему место.

Какой у меня, одного из миллиона сперматозоидов, был шанс оказаться в яйцеклетке? А в квартире Грегора Стюарта? Но я подсутился и выиграл. Вот такой я подлый и хитрый малый.

Но что теперь? А главное, почему, чего ради я должен вообще коптеть над этим беспомощным телом? Зачем я должен поклониться и упасть в ноги этому несовершенному человеку? Этому куску мяса, который бог отказался есть и пользоваться и вдохнул в него живой дух.

А я-то тут при чем? Я, посланный подражать попугаю и обезьяне? Я всего лишь зверь в наморднике-маске, перед которым, как падаль, лежало брошенное на растерзание белое тело.

Поистине, любить ближнего как самого себя невозможно. С какого перепугу я вдруг должен полюбить этого чужого мне человека, когда у меня есть Катя? Почему я вообще должен испытывать чувства и попытаться спасти девушку Грегора Стюарта, по сути, моего соперника и врага?

Вспомнились слова старухи о том, что из нас двоих жить подлинной жизнью будет лишь тот, чья любовь сохранится и не умрет. Так чего ради я должен коптеть? Пусть умирает любовь Грегора Стюарта и он вместе с ней.

5.

Валентина Юрьевна долго не возвращалась, а когда волна самоуничтожения схлынула с меня, я вдруг поймал себя на мысли, что девушка под простыней, возможно, совсем голая. Ткань охватывала полушария груди, соски рельефно проступали через нее.

Я почувствовал, как похоть от паха подбирается к глотке. Затем я не выдержал и приблизился поближе. Так близко, что ощутил жар своего дыхания и биение своего сердца. Я был наедине с девушкой Грегора Стюарта, я потянул одеяло на себя.

Трясущимися руками я поднял край простыни и взглянул на соблазнительное тело. Ноги слегка раздвинуты и согнуты. На бедрах аппетитная корочка целлюлита. Округлая грудь. Большой рыжий сосок.

Рядом, на столике, крем для массажа, чтобы мышцы не атрофировались. Я потянул простыню вниз, обнажая покрытый волосами пах. Теперь и возлюбленная Леонардо принадлежала мне. Какая-то ненависть ко всем женщинам, в первую очередь к Кэт, охватила меня. Напряжение требовало выхода.

Чему быть, того не миновать. Я взял крем и выдавил большую порцию на палец. Другой рукой я спешно расстегивал штаны.

Так вот что представляет из себя человек без божественный искры сознания и духа! Вот его настоящее лицо. Передо мной, ровно дыша, лежала соблазнительная, сверкающая чистотой плоть, в которой я, как в речном отражении, увидел склонившегося над куском мяса дикого зверя.

Мое падение продолжалось. Я разглядывал Тасию, сам пребывая в некоем помутнении рассудка.

Той рукой, что еще не была измазана кремом, я дотронулся до груди девушки. Обхватил полушарие и крепко сжал. Вторую руку я положил ей на лобок и начал делать массирующие движения. А губами я нежно коснулся сухих треснувших губ.

И тут Тая открыла глаза, словно собиралась поймать меня с поличным.

В ужасе я отпрянул, застуканный за неприличным занятием, накинул на нее простыню, натянул штаны и выбежал в коридор.

— Что случилось?! — испуганно вскочила с кресла седая женщина.

— Ваша дочь, кажется, пришла в себя!

6.

И тут началась такая суеда и беготня! Оказывается, девушку ввели в искусственную кому и поддерживали это состояние с помощью аппаратов. Привести ее в сознание мог только большой стресс, каковым, по мнению Валентины Юрьевны, и явилось одно мое, якобы Грегора Стюарта, пришествие. Или произошло чудо и Бог оживил ничего не понимающее и не чувствующее тело.

— Странно! — заметил доктор — лечащий врач девушки. — Видимо, она испытала сильный шок. Но как бы то ни было, надо взять анализы.

— Ага, знаем мы, чем вызван этот шок, — цинизма мне было не занимать.

Я просидел несколько часов в коридоре больницы и уже ничего толком не соображал. Единственное, что я понял в результате: анализы показали, что организм начал вырабатывать какие-то антитела, и вируса в слюне стало меньше.

— Сейчас проверим, в каком состоянии находится мозг.

— Вы слышите меня? Вы кого-нибудь узнаете? — спросил доктор у девушки.

Но она никак не реагировала и ничего не говорила.

— Снимите маски, — приказал доктор. Все, и я тоже, сняли маски.

Я стоял и смотрел, как бедная девочка переводит глаза с одного на другого. На мне ее взгляд задержался, по крайней мере, мне так на мгновение показалось. Без маски уже я чувствовал себя голым на очной ставке. На опознании, когда вместе с преступником перед жертвой выводят группу подставных лиц. И подставные лица тут же становятся понятными, если жертва указывает на преступника.

7.

— Она вряд ли кого-то узнала, — пояснял после осмотра Валентине Юрьевне врач. — В результате подобного заболевания и комы мозг бывает сильно поврежден. Всего скорее, ей придется заново открывать для себя мир. Заново все узнавать, учиться ходить, говорить, обслуживать себя. Это потребует, — обратился он к нам с Валентиной Юрьевной, — от вас больших душевных и физических сил и терпения. Но другого выхода у вас нет.

— Я согласна снова обучать и растить свою девочку! — ликовала женщина.

— А вы? — повернулся ко мне доктор.

— А я? — я не верил своим ушам. Взрослый человек — и все заново?

Может, оно и к лучшему, по крайней мере, она не будет помнить бросившего ее Грегора Стюарта. Неужели они думают, что их Грегор Стюарт, как принц, способен расколдовать спящую, заколдованную зверем, красавицу? Где он шастает, оставивший ее принц? Нету. Сгинул. А я занял его место и совершил за него подвиг. И по праву все лавры должны принадлежать мне.

Мать была просто счастлива и безмерно благодарна. А у меня в голове крутилось, что я, овладев квартирой, и машиной, и одеждой, и даже попугаем Грегора, чуть было не овладел его невестой.

Так, может, мне и дальше продолжать в том же духе? Начать ухаживать за этой несчастной? Пере-



ехать позже к ней в дом? Она все равно ничего не помнит и полюбит меня, как родного отца. Сразу видно, старая интеллигентная семья коренных петербуржцев. Наверняка у них большая квартира в центре города, полноправным владельцем которой, при полоумных матери и дочери, я могу стать.

— Я готов помогать и заботиться! — произнес я вслух, выдавив еще немного мысленного крема.

Глава 4

Великая нардовая доска

1.

— А ну, расступись, — лязгнул своим грубым языком-засовом дежурный после того, как гайдамаки ударами загнали всех заключенных в пятый угол. — Номер тринадцать — на выход,

Толпа рассеялась, и Саур Хайбула вежливо помог Омару подняться с пола. С жалостью взглянув на сокамерников, Омар переступил порог и чуть было не оказался сбитым снова, на этот раз потоком не спертого, а вольного воздуха. По крайней мере, толчок в нос и грудь был весьма увесистый.

— Куда вы меня ведете? — спросил Омар у охранника, сопровождавшего его по темному длинному коридору.

— К вам гость, — усмехнулся охранник.

«Как, неужели это сам консул? — мелькнула мысль о чудесном спасении, пока его вели через крытый рабицей внутренний дворик, а затем по лабиринту внутренних галерей. — А может, это приехала Гюляр?»

Каково же было удивление Омара, когда он в комнате для свиданий, она же комната для сновидений о воле, увидел, как всегда, ухоженного и опрятного Гураба-ходжу.

— Вы себя хорошо чувствуете? — вежливо поинтересовался министр, будто не видел синяков и кровоподтеков на лице Омара.

— За что меня посадили? — огрызнулся Омар. — Вы ведь знаете, что я ни в чем не виноват.

— Откуда же мне знать? — развел руками Гураб-ходжа. — Вам должно быть виднее. Хотя подождите, вот в вашем личном деле написано, что вас обвиняют в контрабанде национального достояния, в покушении на религиозные святыни: редкие книги и редкие виды фауны и флоры. В общем, целый гербарий преступлений, который очень пахнет розами, тюльпанами, апельсинами и другими цветными революциями.

— В чем меня обвиняют? — не понял Омар. — В собирании гербария?

— А еще, — продолжил Гураб-ходжа зачитывать

личное дело, — в поисках клада без законного разрешения, в чернокопательстве, в некрофилии, за которое вам самое место в зиндане, впрочем, как и всем остальным его обитателям.

— В чернокопательстве?

— А чему вы так удивляетесь? Вспомните, где вас нашли? Люди видели, как вы спали на месте преступления — у могилы Буль-Буля Вали в парке. К тому же попытка спрятать в подушке ценные перья лебедя! А это уже будет посерьезнее некрофилии. Так что вам, дружок, предъявлено обвинение в браконьерстве и убийстве редких пород птиц.

— Да я просто делал себе углубление для ночлега, — оправдывался перед Гурабом-ходжой Омар по инерции, хотя понимал, что это не имеет смысла. — Ковырять, чтобы проверить, нет ли там муравейника.

— А черные перья — зачем они вам? Может быть, для изготовления воланчиков? Ведь вы, европейцы, так любите аристократическо-ориенталистский бадминтон, а нас, азиатов, считаете зверьми, не выработавшими мало-мальски достойных правил честной игры. Потому что вслед за Киплингом и Гауфом оцениваете наш мир по канонам своей европейской культуры.

— Но я так не считаю, — сорвался с места, загремев стулом, Омар, — вы же прекрасно знаете! Мы же говорили об этом на приеме у Дивы.

— Откуда мне знать? — добродушно-лукаво улыбнулся Гураб-ходжа. — Это может доказать только объективное следствие. Ведь вы европеец, что уже бросает на вас тень подозрения.

— Я требую адвоката! — сказал Омар вошедшему на шум охраннику. — И консула!

— Ой-ой-ой. Насмешил. — Улыбки Гураба-ходжи и охранника становились все менее сдержанными. — Обвинения настолько серьезные, а улики столь неопровержимы, что вас не сможет вытащить даже посол.

2.

— Впрочем, — всласть повеселившись, продолжил Гураб-ходжа, — я вас пригласил не для того, чтобы зачитать вам список уже доказанных обвинений, а чтобы договориться с вами, Леонардо Грегор Стюарт.

Здесь Гураб-ходжа сделал многозначительную паузу, чтобы посмотреть, какой эффект произвели его слова.

— Признайтесь, что вы никакой не Омар Чилим, а английский подданный Леонардо Грегор Стюарт. Бывший студент Оксфорда и полиглот. Ценнейший сотрудник экологического фонда, занимающегося якобы проблемами защиты природы. Признайтесь, наконец, что вы приехали в нашу страну не фотогра-

фировать редких птиц, а готовить здесь цветную революцию. Мы доподлинно установили ваше подлинное лицо, шпион и агент Леонардо Грегор Стюарт.

— Что за бред! — еле держал себя в руках Омар. Он помнил, что, по предсказанию, следующим этапом после тюрьмы должно было стать безумие, предвестником которого была потеря памяти, и поэтому старался соблюдать спокойствие. — Посмотрите на меня: ну какой из меня шпион? Я готов признать, что я приехал в страну под другой фамилией, но только после того, как вы признаете, что инспирировали обвинение в убийстве несчастного редкого животного, чтобы скомпрометировать меня как сотрудника фонда.

— Инспирировали или нет? Кому это сейчас интересно? Главное, что вы оказались у нас на крючке. Что вы, наконец, попались! Угодили в расставленные силки!

— Но если вы навели обо мне справки, вы прекрасно знаете, что я действительно прибыл для того, чтобы фотографировать редкие породы птиц и зверей в зоопарке эмира. А приехать по подложным документам в Кашевар мне пришлось, потому что иностранцев накануне выборов в стране вы бы не пустили никогда!

Омар яростно спорил с Гурабом-ходжой, чтобы побольше узнать о своем прошлом. Не бывает худа без добра. Из обвинений визиря он выяснил свое подлинное имя и место учебы.

3.

— Скажите, пожалуйста! — в свою очередь возмутился министр. — Кого это интересует? Вы приехали по подложным документам, то есть уже нарушили закон. К тому же вы совершили святотатство. И стоит мне выдать вас толпе фанатиков, как вас порвут на части, если раньше ваш анус не порвет Саур Хайбула. Но я готов закрыть глаза на все ваши преступления и не дать ход возможным сценариям вашего будущего, если вы напишете чистосердечное признание и скажете, где зарыт клад Буль-Буля Вали.

— И вы туда же! — в отчаянии воскликнул Омар, теперь ему казалось, что он точно сошел с ума. Или с ума сошел весь окружающий его мир. — Какой, к черту, клад?! Откуда мне знать про все эти клады?!

— Ну-ну. Зачем так возмущаться? Положа руку на сердце: разве это не вы по поручению своих хозяев купили набор шахмат, сделанных Буль-Булем Вали во время его геологической экспедиции? Или вы хотите сказать, что очень любите эту восточную интеллектуальную игру?

— Шахмат? — искренне удивился Омар. — Каких шахмат?

И тут, видимо, память начала постепенно возвращаться, и Омар Чилим неожиданно вспомнил, что действительно, будучи в командировке в Москве, купил шахматный набор. Как могло это вылететь из головы? Самый дешевый из имеющихся в специализированном магазине на Тверской, чтобы скоротать путь назад, в Питер, в сидячем вагоне. Но какое они имеют отношение ко всей этой истории и к Гурабу-ходже? Не хочет ли он сказать?..

— Бросьте придуриваться, Леонардо! Ваша карта, точнее, фигура бита. Кстати, о картах. Я уверен, с вашей фотографической памятью никакого фотоаппарата не надо и вы прекрасно воспроизведете карту на шахматной доске со всеми ее координатами. Вот вам бумага, набросайте-ка мне карту. В противном случае придется прибегнуть к пыткам от Саура.

— А-а-а, вы опять про того верзилу-животное в обличье человека? — растягивая слова, вздохнул Омар. Он никогда не корил себя за тугодумство. Сколько себя помнил, он всегда соображал быстро. Но для просчета всех комбинаций даже ему требовалось время. И вот он тянул его, как мог.

4.

— Да, именно. Или вас не пугает перспектива оказаться в роли телки его гарема? Тогда мы придумаем пытки поизощреннее. Не забывайте, мы в восточной деспотии! Думаю, вам хорошо известно, что масло, в отличие от дистиллированной воды, кипит при температуре тысяча градусов. Как вы насчет пытки кипящим маслом? Вам не жалко свой член? Или что вы скажете, когда вам начнут вырывать один за другим ваши прекрасные зубы?

Пока Гураб-ходжа перечислял одну за другой уготованные Чилиму пытки, Омар, изображая все больший испуг, продолжал считать. Он без труда восстановил в голове картинку на шахматной доске. Но вместе с решением этой проблемы в голове вдруг всплыло, что имя Саур можно перевести как «бык». А бык он и есть бык!

Цепочка из пяти дней, проведенных под хлебным небом Кашевара, складывалась в линию домино. Пазлы сходились, и теперь Омар вдруг отчетливо понял, что на самом деле Буль-Буль Вали, и Ревес Максут-паша, и друг юности эмира и мэра были одним и тем же лицом.

Совершенно чудесным образом — вот она, удача! — он купил набор шахмат, которые в последний момент забыл в Петербурге. Захватил он их с собой, ему бы не поздоровилось. Ведь эти шахматы оказались ключом к сокровищам Буль-Буля Вали, а на самом деле геолога, нашедшего какие-то алмазные



копи, сообщившего об этом в телеграмме и убитого бандитами ни за что в квартале красных фонарей.

— Так значит, — радостно воскликнул осененный догадкой Омар, — друг эмира Буль-Буль Вали, он же Балык-Малик, он же агент Ревес Максут-паша, — это всего лишь талантливый ученый-бессребреник, нашедший алмазные залежи. Религиозный геолог-аскет, которого, по высшему настоянию эмира и мэра, возвели в ранг святого и в честь которого на берегу озера разбили комплекс-усыпальницу.

— Для вас, европейцев, он, может быть, просто хороший человек и замечательный ученый, а для нас святой, последний шейх мутаборитов, посланный спасти нашу страну. Даже безбожник эмир и мэр, не верящий никому и ничему, преклоняется перед чистотой и светлой личностью своего друга. Вам и невдомек, что это был за человек...

— Знаю, знаю, — остановил Гураба-ходжу Омар, — всего скорее, он перед смертью проглотил добытый им алмаз, а потом изъеденный рыбами труп освободил камень, и он угодил в руки простому дехканину Хабибу.

— Вы имеете в виду Хабиба-бея? Но вы забыли, что Буль-Буль Вали явился ему во сне и указал на камень, хотя раньше Хабиб-бей не видел этого человека в глаза.

5.

— Ну хорошо! — наконец просчитал все возможные вариации Омар. — Допустим, я нарисую вам карту, а вы купите этот участок по дешевке, организуете концессию, и вся прибыль от добычи с приисков достанется вам? А мне какая в том выгода?

— А что, вы в вашем положении наберетесь храбрости мне возразить и воспрепятствовать? — ехидно спросил министр внутренних дел.

— Нет. Я не возражу, я попрошу, — тоже ехидно заметил Омар, — попрошу двадцать процентов. Как и прописано в законодательстве Кашевара. Все-таки это я нашел клад!

— Двадцать процентов! Да вы себе представляете, о какой сумме идет речь? — взбесился министр. — Вы просто грабитель нашего народа. Хотите стать очередным западным колонизатором-эксплуатором?

— А вы разве не собирались продать всю концессию какой-нибудь западной корпорации-эксплуатору за свои двадцать процентов?

— С чего вы взяли? Я как раз всецело помышляю о нуждах своего многострадального Кашевара, ко-

торый уже довели до кипения. Вы знаете, что творится на улицах! Люди уже не могут терпеть своей бесправной, нищей жизни! — проговорился Гураб-ходжа. — Они ставят палаточный лагерь и протестуют против итогов выборов и скотского существования. Вы со своими поделчиками из фонда добились того, за чем приехали.

— Думаю, вы тоже этого добивались!

— Не будем терять времени на пустую перепалку! Предлагаю вам свободу и сумму, равную двадцати тысячам евро. Заметьте, делаю это только из уважения к вашему мужеству и из-за человеколюбия. Вы прекрасно понимаете, что сейчас я могу вызвать Саура.

— Ну хорошо, я согласен, — вздохнул Омар, — вы перечисляете на мой счет шестьдесят тысяч евро, по десять тысяч за каждый день, проведенный в Кашеваре, — так я оцениваю свои страдания. А еще, еще вы в ближайшее время даете мне возможность встретиться с консулом Англии и доиграть с Ширханом-эфенди партию в нарды. Если вы хорошо осведомились о моей персоне, то должны знать, что я очень люблю интеллектуальные игры и ненавижу недоигранные интересные партии. Иначе стал бы я покупать тот шахматный набор и с вами сейчас торговаться.

— Хорошо, — скрепя сердце согласился Гураб-ходжа, — будут еще какие-нибудь пожелания?

— Да, чуть не забыл. Во время игры в шахматы я люблю пить чай с молоком и фруктами. Так что прошу: принесите в камеру как можно больше еды, лучше прямо сейчас. А я вам обещаю, что после того, как вы выполните все мои требования и отвезете меня в банк, чтобы я мог лично перевести деньги в Лондон и заблокировать свой счет, а затем дадите переговорить с консулом, вспомню для вас карту в мельчайших подробностях.

— Не слишком ли много вы хотите съесть? — ухмыльнулся Гураб-ходжа.

— Не думаю, что это очень много. Вы же понимаете — мне нужны гарантии. Гарантии, чтобы подготовить себе пути к отступлению после того, как я поделюсь с вами секретом, благодаря которому я все еще остаюсь живым.

— Хорошо. Вам принесут еду и чай. И переведут в чистую и светлую комнату гостя.

— Не надо никакой комнаты гостя. Я хочу, чтобы компанию мне составили некоторые мои сокамерники. Как аристократ, я не привык ужинать в одиночестве.

Продолжение следует.



Светлана КАЙДАШ-ЛАКШИНА



20 ШЕЛКОВЫХ ПЛАТЬЕВ

Рассказ подруги

Ее мама была родом из южного города у моря, в 1920-е годы хотела ехать учиться, но сначала пришлось идти работать телефонисткой на телефонный узел. Все проходили медицинский осмотр, и старичок-доктор, тщательно выстукав пальцами и выслушав трубочкой ее грудь, сказал: «У вас слабые легкие. Вы хотите учиться? Вам нельзя ехать в Ленинград — там сразу настигнет чахотка, даже в Москву не стоит. Только в Киев. А вообще запомните: вы можете прожить долгую здоровую жизнь, если всегда будете хорошо питаться. Сливочное масло, яблоки, изюм, сало, яйца, мед, сыр, виноград, какао должны непременно быть каждый день на вашем столе, не меньше трех продуктов». Девушка приняла эти слова как программу, не отмахнувшись от них. Видимо, испугавшись слова «чахотка». На телефонном узле, который обслуживал крупный металлургический завод, приходилось работать и ночами, и она приносила с собой обильные ужины и завтраки. Поэтому ее всегда лишали премий, так как начальник неизменно говорил: «Она самая состоятельная у нас, каждый день виноград ест и дорогой сыр».

Работающая рядом ровесница неизменно питалась хлебом, отварной картошкой и солеными огурцами-помидорами, но часто меняла платье. У матери моей подруги было два платья, в которых она ходила на работу, — одно стирала и гладила, другое надевала.

Вскоре телефонистка-ровесница начала бурно кашлять, ее положили в больницу, откуда она уже не

вышла: чахотка оказалась злой и скоротечной, как бывает в молодости. После нее осталось двадцать шелковых платьев, которые выбросили на помойку, так как никто не хотел их взять, боясь заразиться.

Мать рассказывала и рассказывала эту историю своим детям. Не в назидание, а как случай из своей жизни. От нее уже отмахивались и кричали, едва мать начинала вспоминать молодость: «Только не про телефонистку с шелковыми платьями!»

Прошли десятилетия. Моя подруга давно похоронила маму и осталась вдовой. В 1990-е годы все выживали кто как мог. Она нуждалась, но с изумлением обнаружила, что, приходя на рынок или в магазин, вспоминает мамин рассказ и перечисленные старичком-доктором продукты, которые нужно есть, чтобы выжить. Она взяла себе за правило каждый раз покупать хотя бы что-то из названного доктором.

Как-то к ней приехала приятельница из Польши, которая возмутилась ее транжирством, тратами на еду: «Зачем ты купила столько винограда?! Вот мы с тобой его съели — нет ни денег, ни винограда. А нужно было разделить на порции, положить в холодильник и съедать по кисточке». Так принято было в Польше, и объяснять ей что-то было бесполезно. Она выговаривала: «Тебе занавески пора сменить, а ты виноград ешь без счета!»

А я подумала, как важно рассказывать детям все случившееся с тобой в жизни, пусть они сопротивляются этому, отбрыкиваются, ворчат, но ведь что-то остается в памяти, потом всплывает — и спасает.



НАША ПРОСТИТУЦИЯ

Перестройка была в разгаре, сексуальная революция, которую развязали сверху, шла полным ходом, и в стране началась романтизация проституции — идея рынка рванула в доступном всем обличье: даешь проституцию, все хотят давать и потреблять. Фильм «Интердевочка» по повести Кунина стал бестселлером — не только популярным, но и знакомым. На телевидении все распевали песню: «Путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват?!»

Оказывается, никто не виноват? В XIX веке только и делали, что искали виноватых в том, что девушки становились проститутками: или среда заела, или собственная развращенность, или подлые мужчины... А тут — никто! Рынка все дружно захотели и решили продавать на нем женские тела.

В середине 90-х годов в журнале «Работница» появилась статья «Мужчину вызывали?». Речь шла о юноше-проститутке, который ездил по вызову к богатым дамам. Автора статьи в особый восторг привело то, что регистрацию и запись звонков вела его родная бабушка. Видимо, она была феминистка, так как феминистки дружно защищали не только проституцию женскую, но и право женщин пользоваться платными сексуальными услугами мужчин. Они видели во всеобщем развязывании разврата равноправие полов.

В это время меня пригласили членом редколлегии в просветительско-школьный журнал вести рубрику по «женской» истории. Состоялось расширенное заседание редакционной коллегии, где выступавшие говорили о своих интересах и о том, как они собираются откликаться на «злобу дня». Когда очередь дошла до меня, я упомянула поразившую меня статью в «Работнице» и выразила надежду, что в нашем журнале ничего подобного не случится. Мне никто не возразил. Хотя захмыкали со словами «рынок есть рынок» и перекинулись шутками. Тогда остро стоял вопрос по части агитации за разрешение заниматься проституцией как бизнесом, хотели открывать публичные дома, да они и появились в большом количестве. Запад так Запад. Торговать своим телом — это право каждого в демократическом обществе. Я, таким образом, посягнула на святая святых — оскорбила идею рынка. Результаты не замедлили сказаться: при подготовке следующего номера меня уже не было в редколлегии, мне не звонили, не задавали вопросов, не просили что-то сде-

лать. А ведь среди моих слушателей было немало и дам не самого молодого возраста. Они тоже входили в рынок, как бабушка юноши-проститутки? Началась новая политэкономия, видимо, все хотели получить пятерки у новых учителей. Журналом этим я больше не интересовалась и не знаю, печаталось ли там что-то о путанах, интердевочках и молодых людях по вызову. Но социальные опросы тогда зашкаливали: все школьницы мечтали стать не врачами, не космонавтами, даже не актрисами, а только валютными проститутками.

Ленин писал справедливо, что успех каждой революции зависит от того, какое участие в ней принимают женщины. К сожалению, в сексуальной революции 1990-х годов приняли живое участие как идеологи и многие наши ученые-феминистки, которые должны были бы думать о последствиях. Немудрено, что разразилась демографическая катастрофа. А может быть, это и было для демографии затеяно? Еще в Библии в притчах Соломона сказано: «Они считают жизнь нашу забавою и житие наше прибыльною торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла» (15:12).

Сексуальная революция продолжается, а что же тысячи рабынь секса за границей из нашей страны? Пусть погибают, как хотят: свобода воли и право человека желать себе худшее есть у каждого, его дело распорядиться тем, что он имеет.

Афоризмы историка Василия Осиповича Ключевского о женщинах весьма скептически. Вот они: «Логика жизни: из либеральных девиц выходят дамы вольного поведения», «Крашенные русские куклы западной цивилизации», «Их готовят в мадамы Рекамье, а из них выходят трактирные кариатиды (классицизм дамский)», «Женщина рождается по ошибке, выходит замуж по любви, родит по глупости, умнеет от родов, разводится по капризу на мужа и умирает с горя о детях», «Дамы менее всего понимают право как требование ума и необходимости, а они мыслят сердцем и только сердятся умом», «Эти дамы и девицы годятся только в самки и совершенно негодны как женщины».

Как видим, многое осталось актуальным, как и во времена Ключевского (1841—1911). И это несмотря на прошедшие десятилетия бурной феминистской истории XX века.



Продолжение.
Начало в № 7–12 за 2009 г.,
№ 1–12 за 2010 г., № 1, 2, 3, 4 за 2011 г.

УВИЖУ САМ

ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ, КНИГА 3

Одиночество в Париже

«Нет горше одиночества в Париже» — эта строчка залетела мне в голову из какого-то унылого стихотворения, принадлежавшего перу, конечно же, русского эмигранта Первой волны. Любили они пожаловаться на жизнь, сидя с рюмкой грушевого ликера за маленьким столиком в кафе с видом на решетку Люксембургского сада! Бедность? Но все-таки в окружении довольства, а не среди голодомора и страха. Не хватает на вторую рюмку? А вы улыбнитесь, кто-нибудь да угостит... Тоска по родным березкам? Ступайте в Булонский лес, там их много. Опомнитесь: вы живы! Вы свободны! Чего ж вам надо?

Так я подумал про себя в ответ на сентенцию Юрия Павловича: «Чтобы ощутить Париж, надо оказаться там в совершенном одиночестве».

Да просто оказаться в этом городе было бы ослепительным счастьем для любого мечтателя из моего советского прошлого, будь то семиклассница, держащая под партой растрепанную «Нану» с риском быть исключенной из школы, или лысеющий пусконаладчик в электричке, уткнувшийся в «Праздник, который всегда с тобой» по пути на недостроенный объект с надеждой закрыть процентовку за истекающий месяц.

Я летел в Париж с целью напечатать «Русские терцины» отдельной книгой. В Америке издателя для меня не нашлось, оставалось рассчитывать на парижан. Кублановский взялся свести меня с Никитой Струве, но, как можно предположить, встретил с той стороны неудовольствие и растворился в

сиреневых сумерках достославного города. Но верный Германцев, тоже там оказавшийся, обещал эту встречу устроить. Договорились увидеться в кафе около метро «Одеон». Пока рассаживались, одинокая девица через два столика от нас едва заметно кивнула Германцеву вбок, и он (прости, дорогой Герасим, мне никак нельзя упустить эту деталь ради правдивой мизансцены) пошел за ней вглубь кафе, где обычно помещается узкий сортир, неудобный даже для одного «окупанта».

И тут же Никита оскорбил меня, спросив об Иваске с грязным намеком примерно такое:

— Ну что, со стариком вам, наверное, обходиться нетрудно?

Намек требовал немедленной пощечины, для чего, в свою очередь, необходим был свидетель, а Германцев все не шел. Перекипев, я оставил сцену.

Я брел без какой-либо цели по бульвару Сен-Жермен. На душе было погано. Хотелось есть. Хотелось выпить. Как назло, ноги меня несли мимо каких-то длинных витрин с шикарными, но несъедобными товарами. Миновал роскошный книжный магазин с художественными альбомами на той стороне, но не стал переходить улицу. «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», — вспоминалась строка Гумилева, который, будучи еще юным мэтром, наверняка проходил здесь не раз. Хотелось приключения, но не такого... А — вообще! Небо меж ветвей платанов мрачно хмурилось. Я повернул налево и взял вверх, но и в Пантеон, к величественным мертвецам, тоже не тянуло. Упали первые капли дождя,



и на плечах появились влажные пятна. Я ведь — ни с того ни с сего — приоделся перед встречей с издателем, пропадай теперь лучший костюм. Пришлось прибавить шагу по рю Сен-Жак в сторону моей гостиницы, но скоро я сообразил, что дойти туда сухим не успею. Надо срочно искать убежище. Действительно, хлынул ливень, и я, углядев открытую дверь через улицу, перебежал туда сквозь водяную стену и впрыгнул внутрь, оказавшись в каком-то неказистом помещении со столиками. Там никого не было.

Я сел за столик, покрытый клеенкой, и взял меню. Там было написано что-то червячками и точками ориентальной вязи и проставлены цены в франках. Ко мне приблизился некто, повязанный кушаком, в кальсонах с низкой мотней, при бороде и в войлочной шапке. Я ткнул три раза пальцем в меню — вверх, в середине и вниз — и добавил:

— Фин, вин, вайн, вино, силь ву пле...

Он неодобрительно посмотрел на меня, покачав ключьями бороды, но помету в блокнотике сделал.

Я сидел лицом к открытой двери. Там свирепствовали заряды ливня, а в мокрой голове прояснялось мое местоположение в мировом раскладе: «Боже ж ты мой, я ведь попал не куда-нибудь, а прицельно — точно в афганскую столовку. Советские сейчас бомбят Герат, моджахеды в таких шапках устраивают завалы перед бронетехникой, сбивают десантные вертолеты стингерами из США... А я, бывший лейтенант Вооруженных Сил СССР (в запасе), сижу тут, в Париже, на Сен-Жак с подмокшим американским паспортом в кармане, и никуда мне не деться...»

Наконец, моджахед-официант принес еду, и я мог убедиться, насколько грамотен оказался мой выбор, сделанный вслепую: это был полный обед. На закуску предполагался холодный пирожок с саго, который я брезгливо отодвинул. Потом прибыла миска тюремного деликатеса — «баланды со шрапнелью», ее пришлось похлебать. Основным блюдом был пережаренный до сухости кебаб с ячневой кашей. Кашу я не тронул, а кебаб погрыз. Липкий квадратик пахлавыв тоже отверг, не заказал даже кофе. Дело в том, что у меня недопитым оставалось еще вино, и опять же, как на грех, розовое, которого я терпеть не могу. Оставив половину бутылки, я шагнул на улицу, где в разрывах туч заблестало вечернее солнце. Но день уже пропал, и вечер заведомо был испорчен чувством неудачи и пустоты. Париж оказался не лучше других городов, Юрий Павлович знал, что говорил... Я добрал до «экономической» гостиницы и завалился в свой номер. Из удобств там наличествовали только койка, тумбочка и биде, дразнящее меня невосребованностью. Душевая и уборная находились на этаже, в конце коридора. При этом острый галльский ум

придумал устройство, которое по истечении минуты выключало свет, и «оккупант» оказывался в самый неподходящий момент и в не подлежащей описанию позиции при полной тьме.

Фея с метлой

Когда я заговорил о книжке с Горбаневской, она ответила, что собственные стихи она публикует через самиздат в наибокувальнейшем смысле этого слова. Самиздат — в Париже, при том что она подвизается при печатных изданиях далеко не последним чело-веком? Она тут же подарила мне в доказательство пару-другую изящных несброшюрованных папочек карманного формата, в самый раз подходящих для ее миниатюр — острых, шершавых, отрывистых... Нет, это не для меня: стоило ли иммигрировать в свободный мир, чтобы вновь оказаться в догутенберговской эпохе? Впрочем, у Натальи возник один вариант, и она обещала обсудить его с Ариной Гинзбург. На следующий день, когда я вновь был на рю Гей-Люссак, раздался звонок.

— Это тебя, — уверенно сказала Наталья.

К моему изумлению, звонила Марья Васильевна Розанова и, словно фея из волшебной сказки, без обиняков предложила мне:

— Бобышев! Давайте издадим у меня в «Синтаксисе» книгу ваших стихов!

— За чей счет? — не упустил я случая задать самый главный вопрос.

— Об этом не беспокойтесь... Приезжайте к нам завтра на Фонтене-о-Роз и не забудьте взять с собой рукопись.

Неужели так бывает в жизни? Или это жизнь сама достигла того идеала, когда лев братски обнимается с агнцем, а книгопродавец — с поэтом? Да та ли это Розанова, которой так восхищался мой ленинградский друг Вени Иофе, сиделец и «колокольчик», за ее хитроумный цинизм, помогший переиграть КГБ и вызволить мужа из лагеря на два года раньше? Или с помощью ловко брошенной на подслушку фразы по телефону получить визу из Парижа в Москву, дабы повлиять на Алика Гинзбурга и уговорить его эмигрировать... От Вени я слышал впервые и знаменитый анекдот про Марью Васильевну, покупающую метлу в Париже: «Вам завернуть или так полетите?»

Этой метлой она напылила настолько, что перессорила всю эмиграцию, а точнее — своего Синявского с нью-йоркским Гулем и его «Новым журналом», с Солженицыным и «ИМКой-пресс», с Максимовым и «Континентом», а заодно и с «Русской мыслью». И вот непримиримые Наталья и Ирина, оказывается, общаются запросто, по старой московской памяти, со своей врагинею Марьей!

На скоростном метро RER я мчусь по указанному направлению. У меня на плече дорожная сумка с рукописью, в руках абонементная книжица на все виды транспорта. К ней прикреплена свежая фотография. Пока я еду, она перестает липнуть к пальцам, я складываю книжицу и прячу ее в карман джинсовой куртки. Вот и станция со столь цветистым названием. Прямо по движению поезда и — налево: улица Бориса Вильде, 8. Это имя русского поэта, мученика и героя французского Резистанса. Передо мной — особнячок изящных пропорций; в фонтанной вазе перед входом плавают плоские сердца водяных лилий. Пожалуй, слишком шикарно для эмигрантского жилья, но это чувство скрадывается общей запущенностью дома. Похоже, однако, что там никого нет, а я ведь приехал к условленному часу! Ну что ж, погуляю пока, осмотрю симпатичный городок. Может быть, зайти посидеть в ресторане? А, вот и они: за витринным окном я вижу чету Синявских, занятых обедом. Я стучу в стекло, на меня оглядывается недовольное лицо Розановой. Но я вхожу, пытаюсь заказать что-нибудь и себе. Она останавливает:

— Мы уже заканчиваем.

Я жду, кладу суму рядом на стул. От перемены положения в ней что-то перекатывается. Розанова настораживается, подозрительно вслушиваясь в мелкие звуки:

— Что это там у вас?

— Да ничего, смотрите...

Демонстративно раскрываю все отделения, там только рукопись — ни бомбы с часовым механизмом, ни магнитофона для подслушивания нет, только вот эта коробочка с монпансье, заглушающим голод, она и вызвала тикающие-такающие звуки. Трясу ею для доказательства. Мое оправдание принято, и мы переходим в их особнячок. Андрей Донатович идет впереди.

— Знаете ли вы, что Синявский действовал по заданию КГБ? — по дороге вдруг спрашивает Розанова.

— Как так? Ничего не знаю...

— А вы почитайте его роман «Спокойной ночи».

Зачем она это мне говорила: сбивала с толку, смущала? И про близость ее мужа с дочкой Сталина тогда же упоминала. Или не тогда? Или не она, а он сам? Не знаю уже, что правда, что легенда или, как говорят теперь, «деза»... Во всяком случае, Андрей Донатович преподнес эту книгу собственноручно: сначала спросил имя моей жены, я ответил «Ольга», и как раз над титулом «Спокойной ночи» он надписал чуть интимно: «Оле и Диме Бобышевым — с пожеланием доброго утра. 14.VII.85. А. Синявский»

Это — автобиографический роман, написанный от первого лица, но в нем трудно отличить факты от вымысла. Сюжет вьется вокруг ареста, разобла-



Наталья Горбаневская

чений, допросов и прочего, а под конец преобразуется в шпионско-любовную историю, намеченную стремительным пунктиром. Попутно объясняется, почему Синявский взял такой псевдоним. Абрашка Терц — персонаж блатной песни, опасный малый, человек с пером, а перо — это значит нож. И вот герой, ведомый КГБ, засылается в Вену, где «случайно» встречается с француженкой, которую надо спровоцировать и разоблачить, а вместо этого наш перевертыш дает ей предупредительный знак об опасности.

Странное, мутное впечатление оставалось от в общем-то стильно написанной книги.

Сам Андрей Донатович с бородой лопатой и косящими в разные стороны глазами держался благодушно.

— Смотреть нужно сюда, — помог он мне за разговором, указав на «правильный» глаз.

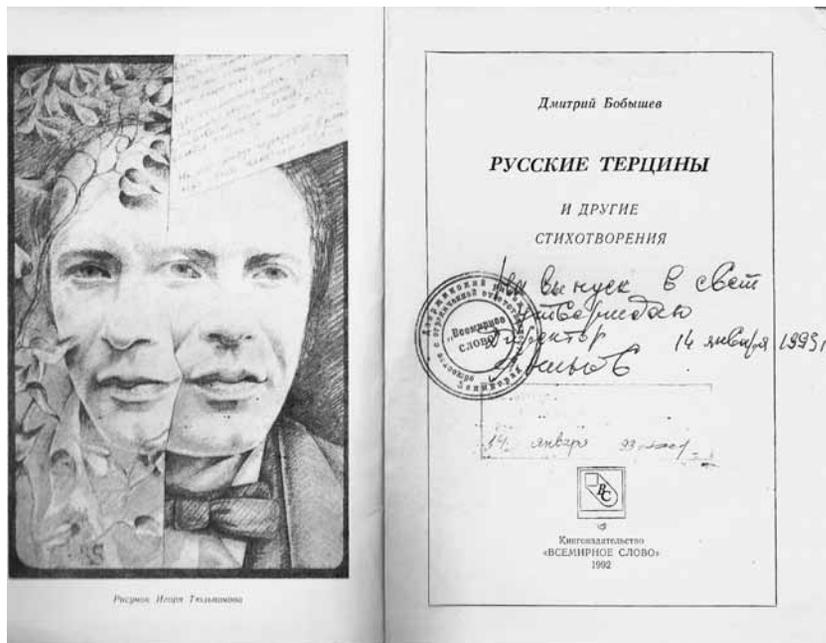
За чаем выступил как мой ходатай:

— Слушай, да напечатай ты его, — обратился он к своей Марье.

— Ладно, ладно тебе, — авторитарно подавила его хозяйка. — Сама разберусь.

Их диалог опять смутил меня: так будет она издавать книгу или еще колеблется? Ее вчерашнее, такое ясное предложение расплылось в тумане. Между тем разговор перешел на «Синтаксис», журнал задорный и либеральный. Почему бы в нем не поучаствовать? (Как почему? Если напечататься там — прощайте, «Конт» и «РМ»!) Но я исхитрюсь и делаю ход на сближение: даю для журнала статью «Большая и малая поэзия Натальи Горбаневской»; Розанова это оценивает и принимает. Таким образом, она формально переманивает меня в свой стан, в то время как статья — в общем-то апологетическая по отношению к «враждебному» лагерю.

То ли двурушником, то ли миротворцем укатил я в свою, ставшую уже обжитой, Урбану. Домой! —



Книга все-таки вышла

так я искренне чувствовал, летя в очередной раз над Атлантикой, понавидавшись уже за жизнь, зрительно понаглотавшись великих городов Европы и, конечно, Парижа, Парижа, где даже сподобился и испытал игрушечное одиночество. К счастью, оно исчерпалось суровой трапезой у афганца и сменилось дружескими общениями, которые завершились пирушкой — не чета той...

Приехал Владимир Буковский из Кембриджа и пригласил Наталью, а она взяла с собой Славинского и меня в «настоящий французский ресторан» на месте так называемого Чрева Парижа, которое уже начали тогда сокрушать под будущий Бобур, или безобразно-прекрасно-наглый художественный Центр Помпиду. Часть уже раздолбанных закоулков рынка была глухо закрыта, но знаменитая обедаловка «Поросычья нога» все еще действовала. Я понял выбор Буковского по аналогии с собственным чутьем: вкусные и недорогие харчевни обычно располагаются вокруг рынков, будь то Париж или Петроградская сторона. Несмотря на жирный намек, содержащийся в названии ресторана, мы решили заказать общий на всех поднос с морской едой.

Буковский был хорош, я им любовался: глаза с блеском, солидность и радушие в лице — он по внешности да и по опыту годился бы в президенты еще небывалой, неведомой страны — свободной России. Но не забывая, по всей вероятности, своего диссидентского прошлого, этот бывший узник Владимирской тюрьмы наслаждался ролью хозяина застолья. Поскольку он всех дружески называл на ты, я спросил его:

— Володя! Ты, наверное, читал уже мои «Русские терцины»? Как они тебе понравились?

— Ты знаешь, старик — ничего! Но как-то не ах.

Я обомлел. Уж кто-кто, а он-то мог их оценить.

— Что же все-таки не понравилось?

— Можно было бы обо всем покороче.

Я вновь изумился. Десять — это ж минимальное число строк для терцинной формы, короче нельзя. Такая емкая строфа — моя гордость, я сам ее изобрел (правда, Михаил Кузмин изобрел раньше, но поиграл и бросил). И тут за меня вступился Славинский:

— Это как же покороче? Вроде — «Пролетарии всех стран, извините»?

В общем смехе утонуло мое задетое самолюбие — тем более что к нашему столу приближался колоссальный поднос, источавший восхитительные запахи. На нем была артистически уложена гора снеди с омарами на вершине, раками и креветками на склонах и устрицами в основании.

Прочь из памяти, скудный советский общепит, забудьтесь, черствые пайки моих сотрапезников, прошедших огонь, воду и медные трубы! А унылые общесоюзные завтраки с овсяной или манной кашей? А комплексные обеды в рабочих столовках?

Да здравствуют устрицы, sprysnutyе лимоном и сопровождаемые золотистым вином!

— Попробуй лангустин, — подсказала Наталья.

О, о лангустины! Ничего вкусней, чем эти морские твари, я не едал, а больше, увы, нигде и не приходилось.

Продолжение следует.

Анна БРИКМАН



Я из Москвы, студентка, учусь в ГУУ, в Институте информационных систем управления на кафедре экономической кибернетики. Помимо литературы увлекаюсь музыкой, кино, математикой, экономической теорией.

Я пишу рассказы уже достаточно давно и пишу потому, что пишется, потому, что хочется как-то выразить то, что происходит вокруг, выразить себя, сделать что-то действительно стоящее и осмысленное в этой жизни. Если говорить про литературные предпочтения, то из русских писателей наибольшее влияние на меня оказал прежде всего Набоков, зачитываюсь Булгаковым, Маяковским, Хармсом, Дмитрием Быковым (журналистом) и Пелевиным; из зарубежной литературы огромное впечатление на меня произвели Ремарк и Сароян.

Я бы искренне хотела, чтобы каждый, кто читает журнал «Юность», нашел бы себя, нашел свою нишу, в который он мог бы достичь наибольших успехов, и тем самым внес бы в нашу удивительную и интересную жизнь свой вклад.

РАЗБИТЫЕ ОЧКИ

Они избили его за гаражами; на-последок Старшой пару раз пнул его в живот и под общий гогот одноклассников плюнул ему в лицо. Дима лежал не шевелясь, будто окаменев и крепко зажмурил глаза: он знал, что чем меньше подаешь каких-либо признаков движения, тем быстрее они отстанут. И действительно: после плевка изобретательность ребят куда-то исчезла, один из них (Витек-Витек, грубенький такой голос, лучший друг Старшого) предложил купить сигарет, остальные продолжали ржать, и, наконец, Старшой после небольшой паузы предложил «пойти на хрен отсюда, сегодня с этим мудаком больше делать нечего». Зашуршал гравий под кроссовками, голоса ребят стали удаляться, и прошло где-то минут пять-семь, прежде чем их окончательно стало неслышно.

Дима не двигался, боялся открыть глаза: ему хотелось так и остаться лежать на этом прохладном, хоть немного и колючем гравии, чувство-

вать, как солнце любит его и ласкает своим теплом его лицо, как слабый ветерок поддувает синяки и ссадины, смягчая пружинистую боль, но больше всего ему не хотелось терять ощущения того, что сегодня все кончено, что больше сегодня к нему не пристанут и он может жить спокойно (если им, конечно, не попадется на глаза). Это чувство покоя, которое ему так хотелось сохранить в своей душе, он терял с каждым произнесенным словом, с каждым совершенным действием, с каждой прожитой минутой. И вот наступал следующий день, начинала расти тревога, а после школы он уже снова бежал под общее улюлюканье от одноклассников, потом его, конечно же, догнали, сбивали с ног, и на некоторое время он превращался в безмолвную тряпичную куклу, которую шпыняли, ругали и пинали со всех сторон.

Он заставил себя открыть глаза и тут же зажмурился от яркого весеннего солнца. Помотал головой в разные стороны: в метре от

себя Дима разглядел что-то коричневое, неправильной формы, вокруг него валялось разбросанное белое, иногда цветное: это была его сумка с тетрадками и учебниками. Чуть дальше, цветной и более четкий, был заборчик детской площадки. Он практически без труда смог разгадать в не сильно расплывшихся из-за своей крупности предметах лавочку, горку и качели, которые сейчас почему-то пустовали. Дальше были дома-дома-дома, где-то гудела автомобильная дорога... В другой стороне, после вереницы серых гаражей, которые соединялись в одну сплошную линию с редкими вставками черных и коричневых цветов и с небольшими выступами на них («бутылки, которые вешают на замки»), шли опять все те же дома, которые тоже угрожающе хотели соединиться в одно большое пятно. Дима начал проводить руками по земле в поисках своих очков и, ничего не нащупав, кроме гравия, с заметным беспокойством вскочил на



четвереньки и пополз к сумке: может быть, они там? Тело отдавало привычной ломотой и болью, но сейчас он на это практически не обращал внимания: все, что ему сейчас хотелось, — это надеть свои очки, собрать побыстрее ранец и вернуться домой, к маме, где он сможет в безопасности провести целый остаток дня, а это очень много...

Их оставили за заборчиком, недалеко от сумки: линзы были разбиты, оправка безнадежно сломана: такое ощущение, что на его очках чьи-то ноги отбивали такт, отбивали так хорошо, что от линз не осталось ни одного хоть самого небольшого кусочка стекла. Дима осторожно дотронулся до них и неожиданно расплакался: это были его очки, они заказали их с мамой несколько дней назад, он сам их выбирал, выбрал самую лучшую, самую красивую черную оправу с более сильными линзами, и сегодня, когда он в первый раз шел в них в школу, он радовался всему окружающему его пространству, ставшему еще более четким, доступным и понятным: реклама звала его покупать и тратить, и он был рад, что может услышать этот зов. Все магазины обрели свои незабываемые названия, а витрины — неповторимый смысл, все люди обрели свои лица со всеми своими самыми различными выражениями, казалось, весь город преобразился и наполнился смыслом... И сегодня же он этот смысл потерял.

Дима, продолжая смотреть на свои разбитые очки, начал укладывать в сумку тетрадки и книжки, изредка стирая слезы с лица. Он знал, что плакать — удел слабых, но обида была такой сильной, за несколько часов он так привык к своим новым стеклышкам, что эта утрата казалась ему несправедливой, нечестной, незаслуженной. Что такого в том, что он хочет видеть этот мир так же, как и другие? А те, другие, просто не понимают, что у них есть, каким они даром обладают — даром видеть, видеть своих родных и близких, видеть

мир, видеть любящие глаза, видеть все самое прекрасное, что может дать жизнь! Ну зачем, зачем они их разбили? До этого ему никогда не разбивали очков, и что-то злое и неприятное стало зарождаться в его душе. А вот сам виноват, надо было уберечь их, спрятать в сумку, умолять их не трогать — а он зажмурился и даже не видел, что с ними произошло, он даже не мог вспомнить, как ни пытался, звук разбитого стекла.

«Надо идти, надо идти...» Сумка была собрана, он поднялся, кое-как отряхнулся, зашмыгал носом и пошел через гаражи навстречу расплывающимся домам.

Он никогда не был в этом дворе и смутно помнил, как забежал сюда; но то, что он находится недалеко от школы, — это факт. Надо всего лишь дойти до школы, а там он уже без труда найдет дорогу домой, он ходил по ней столько раз, что сможет разгадать ее даже по размытым очертаниям. Так... Если кто-нибудь попадет на дороге, надо будет остановить и спросить, как выйти отсюда... Но пока никого не было, а Дима продолжал идти, и скользкий страх вместе с ощущением полной беспомощности охлаждал его, парализовывал его мысли, мешал ясно думать. Лучше бы его избили до потери сознания, как это было пару месяцев назад, или придумали какую-нибудь новую извращенную пытку, но только бы не тронули очки... Зачем, зачем надо было их трогать?

Дима уже давно перестал думать, зачем трогают его самого. Его били давно, и он успел к этому привыкнуть. Старшого (по фамилии — Старшов, а по имени его никто не называл, разве что учителя) в классе боялись все и все ему прислуживали; он же, доказывая, что он самый сильный, крутой лидер, выбрал для своих издевательств хлюпика Диму, который практически ни с кем не общался и был слишком слаб, чтобы за себя постоять. После уроков со своей командой из четырех настоя-

щих бойцов Старшой загонял свою жертву в тупик и забавлялся; особенно ему нравилось делать вид, что сейчас он избьет-таки его, но вдруг он говорил: «Ладно, давай, иди, не хочу с тобой возиться сегодня», Дима, спотыкаясь, проворно убежал, а минуты через три (нет, вы почувствуйте всю прелесть задумки!), они его нагоняли и избивали за то, что посмел уйти, и Дима еще нескоро приходил в себя после побоев.

Мама ничего не знала про то, что ее сына систематически избивают, а ссадинам и синякам Дима умел находить ловкие оправдания. Еще Дима прекрасно знал, что если он что-то и скажет ей или учителям, то от этого станет только хуже: пойдут жалобы, Старшого наверняка накажут, наступит формальное перемирие, совесть взрослых будет чиста, а через несколько дней Диму опять поймут и вломят уже не просто так, а «за стукачество», что было хуже во сто крат. Нет, взрослым лучше не лезть в детские перипетии, ничем они не могут там помочь, только все испортят...

Дима уже прошел гаражи и уверенно шел мимо подъездов, не зная, куда ему идти и верно ли он идет, а спасительного прохожего все не было... Наконец он увидел, как кто-то приближается к нему, и Дима вздохнул с облегчением: это был, скорее всего, мужчина, в голубых джинсах, в чем-то ослепительно белом на ногах (кроссовки?), в куртке, джинсовке, нет, наверное, не в пиджаке, в общем, непонятно в чем. По мере приближения лицо стало принимать очертания, а когда Дима подошел к нему совсем близко, он понял, что перед ним стоит совсем не мужчина, а молодой человек с ослепительно голубыми глазами, с той щетиной, которая появляется, если не успеваешь побриться, и приветливой улыбкой; как ни странно, он действительно был в черном пиджаке, из-под которого выглядывала черная футболка.

— Простите, не подскажете, как мне пройти к школе № 179? — спросил Дима.

— Да, конечно. — И парень показал, где надо повернуть и после какого светофора свернуть направо.

— Спасибо вам большое, — Дима улыбнулся в ответ.

За ту минуту, в течение которой он разглядывал прохожего, он успел по-своему полюбить его. Он даже был готов снова встретиться с ним и на этот раз помочь уже ему, как-то отблагодарить его за помощь, но Дима знал, что, скорее всего, они больше никогда не увидятся, и поэтому просто двинулся вперед.

Когда он проходил через большую арку, в него оглушительно ударили звуки машин, голоса людей и еще какие-то звуки помельче, и ему стало намного легче. Когда же он окончательно вышел на улицу, то увидел очертания магазинов (магазинов ли?), остановок, людей самых разных, но сейчас практически всех одинаково размазанных, с небольшими отличиями. Он пообещал себе, что больше не будет бояться, что, если надо будет, он остановит еще кого-нибудь и спросит, и ему помогут, и все будет хорошо. А почему ему не должны помочь? Откуда берется эта злость, агрессия, почему люди отравляют друг другу жизнь, почему нельзя жить мирно, ведь всем от этого стало бы так хорошо!

Дима шел, а навстречу ему шли размазанные очертания, которые на долю секунды, когда равнялись с ним, превращались в одушевленную женщину, девушку, мужчину, парня и тут же исчезали, так и не рассмотренные до конца, так и не разгаданные. Дима вдруг остро почувствовал, как же он хочет видеть жизнь, как же он любит ее, чувствует ее посредством образов, которые сейчас скрыты от него, которые недоступны ему; он понял, что этот мир существует для него только в том случае, если он может пощупать его глазами, в противном случае — это ложь, обман, фантазия,

недосказанность, все что угодно, но только не настоящая действительность.

Через несколько минут Дима нашел светофор и повернул направо: он стал узнавать знакомую улицу, магазины, которые были сейчас так же размыты, как и все остальное, трамвайную остановку, промоутеров в ярких спецодеждах, фонарные столбы, обклеенные рекламой, палатку союзпечати, и вот вдалеке... Да, это черный забор, забор, которым окружена его школа; Дима сначала ускорил шаг, а потом побежал — да, скоро он снова будет дома и наденет ну хотя бы старые очки, и эта попытка закончится, он снова будет видеть, как все!

Он уже ни на что не обращал внимания, ни во что не вглядывался, он просто бежал и чувствовал себя счастливым от того, что все так быстро кончилось. Резко затормозив у ворот школы, он с широкой улыбкой на лице посмотрел на фасад здания и только потом обернулся.

На бордюре расположились Старшой, Витек и еще трое парей. Он скорее догадывался, чем видел, что они смотрят на него с удивлением, но и с радостью, что он снова к ним попался. Внутри у Димы все похолодело: никогда не попадайся второй раз за день — это закон. Если попадешься — будет повторение уже пройденного.

Старшой поднялся и нагло ухмыльнулся.

— Ну что, я вижу, у тебя уже настроение поднялось, такой счастливый прибежал сюда.

Парни сзади Старшого заржали. Дима молчал; на смену радости и счастья снова стал подступать страх.

— А где твои очки, ботаник? — продолжал Старшой.

Дима вспомнил, что осталось от очков, и почувствовал вспышку злости и обиды.

— Вы их разбили, — тихо ответил он.

— Что? — и Старшой обернулся на своих ребят. — Он обвиняет нас в том, что мы их разбили!

— А кто же их разбил? Я? — вдруг вырвалось у Димы. Он сам не ожидал, что так скажет, и испугался своих слов; но вспышка злости, как искра, как последняя капля, неожиданно начала распалать его, и он остался невозмутимо стоять.

Старшой сам удивился такому ответу, но быстро взял себя в руки и ответил:

— Пошел бы ты отсюда, пока еще чего-нибудь не сказал такого...

Сценарий дальнейших событий мгновенно развернулся у Димы в голове: он убегает, они нагоняют его и снова бьют, бьют... Они разбили его очки, теперь они снова разобьют его самого... Они снова, снова будут делать это... Невыносимо! Его обуяла дикая злоба за все свое существо, за все свое жалкое существование, на которое они его обрекали, он ненавидел их, в эту минуту он понял, как же он ненавидел их всех, все эти безобразные черточки, кружочки, которые никогда не будут похожи на лица, скорее, на звериные морды, которые только и способны, что жрать и разрушать все вокруг.

— Да пошел ты сам, урод! — и с этими словами он набросился на Старшого.

Он никогда не думал, что способен на такое; он бил и бил Старшого по лицу, он разбил ему нос, он бил его головой об асфальт; обалдевшие ребята пытались оттащить его, но он набросился и на них: двое убежали сразу, а Витек и еще один остались. Витькино лицо он отправил знакомиться со школьным забором, а второй после нескольких ударов в пах подкосился, рухнул и закорчился от боли. «Слабак», — пронеслось у Димы в голове: он от таких ударов еще вполне мог стоять на ногах.

Дима снова подбежал к Старшому, встал на него и начал отбивать на нем какой-то такт: раз, два, раз-два-три, раз, два, раз-два-три...

— Не надо... — пробормотал Старшой.



Дима остановился, соскочил с него и с интересом наклонился к нему.

— Не надо, ты говоришь? Не надо? А сколько я тебя просил, козлиная? — и с этим словами он выпрямился и, уже не слушая его, стал пинать его ногами. — Сколько я просил тебя оставить меня в покое, а?

В это время в школе раздался звонок, и через минуту в школьный двор высыпались старшеклассники; увидев драку, некоторые с любопытством встали поодаль, чтобы посмотреть, другие побежали за завучем, третьи — разнимать.

Когда Дима почувствовал, как сзади за руки его крепко схватили двое парней, он сначала сильно

удивился, но потом почувствовал злость с утроенной силой.

— Давай-давай, успокаивайся, разбушевался тоже, — говорил ему один. — Остынь.

«Да кто они такие, чтобы так говорить? Кто они вообще такие?!» — и с этими мыслями он резко дернулся, сбросил парней и закричал:

— Не трогайте меня больше, суки! Никогда не трогайте! Кто вы такие, чтобы трогать меня?!

Он еще хотел что-то сказать, но мысли путались, он видел, что его хотят схватить снова, где-то мелькнула мысль, что сейчас прибежит кто-то из учителей... Поэтому он схватил свою сумку, пнул напоследок Старшого, плюнул ему в лицо

и, хотя дико подмывало убежать, улететь, унести, просто ушел. Никто не последовал за ним; кто-то кинулся помогать Старшому и его друзьям, кто-то не спеша пошел домой, обдумывая и обсуждая случившееся.

На следующий день Дима пришел в школу как ни в чем не бывало, такой же спокойный и тихий, как всегда, разве что в прежних старых очках. На перемене к нему подошел Старшой и извинился. Дима ответил, что он может засунуть свои извинения в задницу. Больше к нему никто из одноклассников не подходил, никто его больше не трогал. Через месяц Дима перевелся в другую школу, где начал жизнь с чистого листа.

г. Москва

Ольга ТОЛМАЧЕВА



Я родилась на Южном Урале (Оренбургская обл.). В 1987 году окончила Московский государственный педагогический институт им. Ленина (отделение психологии), в 1990-м — аспирантуру. Первую заметку опубликовала в возрасте 11 лет в газете «Пионерская правда», а в студенческие годы я печаталась в журнале «Вожатый». Работала на телевидении и радио корреспондентом, редактором, автором и ведущей программ, сотрудничала со многими журналами. В 2010 году вышла моя первая книга — сборник рассказов «Чудо». Живу и работаю в Москве.

Я счастлива, что могу делиться увиденным. Это чудо, когда слова выстраиваются в ряд, берутся за руки, подхватывают воображение, летят, оставляя на бумаге ажурную вязь образов. Чудо, радость и большое удовольствие.

Чудо

Смеркалось... Незаметно, в трудах, прошел день. Коровы вернулись с пастбища, улица вкусно, тепло запахла парным молоком, на деревню спустились сумерки. Пришло время развлечься.

Выглянув во двор, Раечка стала привычно наряжаться. Вечерние прогулки уже давно стали частью Раиной жизни. Она любила это

время и с нетерпением ждала, когда в хлеве затихнет корова, двор погружится во мрак, а из-за леса пахнёт свежестью.

Раечка сняла с вешалки новое пальто с воротником, достала сверкающие калоши. Долго крутила в руках шляпку, не решаясь надеть. Эту шляпку подарила племянница, которая жила в районном центре и была

известной модницей. Племянница объяснила, что такие шляпки сейчас ужасно популярны и в городе ими повально увлекаются.

Племянница мыслила широко, жила в ногу со временем и считала, что современный человек обязательно должен быть модным. Потому как мода определяет сознание. Если ходит человек с утра до вече-

ра в одном и том же неприглядном пальтишке, то и сознание у него первобытное, темное. Иное дело, если шляпками или чем подобным интересуется.

Надо бы и Рае приобщить к культуре, а заодно своим примером просветить население. Потому как с заходом солнца в деревне и так тень неприглядная, электричество включается с переборами, а осенняя ночь наводит тоску. Пора вносить в жизнь сочные краски! Шляпка — первый шаг к прогрессу.

Рая задумалась. Получалось, что на голову она водружает не просто модную штучку — передовой символ. И от такой ответственности у нее вдруг разболелась голова и засосало под ложечкой.

Племяннице Раечка доверяла, и шляпка ей очень нравилась — маленькая, аккуратная, «пирожком», но уж как-то было не по себе с «пирожком» на голове выходить во двор — в платке-то привычней.

Да и кому уж больно диктовать моду: молодежь из деревни поразъехалась, хозяйство захудалое, бабы огородами да бытом замучены, а трезвых мужиков по пальцам сосчитать можно. Летом, правда, детворы полно: к бабкам на каникулы приезжают.

Шляпка и правда была премиленькая. Раечка видела такую в журнале у известной артистки. Красивыми глазами та томно смотрела с обложки из яркой — настоящей! — столичной жизни и чуть-чуть, легонько, уголками губ, ей улыбалась.

У Раи никогда не было шляпок. Все больше косынки, платки. А то и вовсе ходила с неприкрытой головой. Какая шляпка на сенокос или в свинарник? Теперь же она с любопытством рассматривала эту дивную штучку, не понимая, как втиснуть в нее, такую маленькую, свою голову в мелких кудряшках, чтобы и уши поместились, и глаза получились, как у артистки, — томно...

Она примеряла шляпку и узнавала себя в зеркале только наполовину: крепкое ладное тело в пальто и калошах было ее, а круглое лицо и голова в мелких кудряшках, под шляпой, ей совсем незнакомы.

— Таинственная незнакомка! — окликнул ее через забор сосед Степан, когда Раечка вышла покормить кур. — Ишь ты! Чего надумала! Вырядилась! — Он лихо присвистнул и хохотнул. — Ну ты, Раиса, даешь! Прямо как... — сообразил. — Прямо... Мати Хари! — Степан вспомнил звучное имя.

— Чего? — фыркнула Рая. Но, одумавшись, сказала спокойно: — Что, Степа, опять выпил? — снисходительно посмотрела на соседа, как на дитя неразумное, и сокрушенно покачала частью, для себя незнакомой. — Что, шляпу никогда не видел?

Вот оно — воспитание! Раечка прочувствовала ответственность момента.

— Так видеть-то видел, но ты... Чудеса!

— А что чудесного-то? Это мода такая. В городе все так носят, темнота дремучая! В городе-то когда в последний раз был?

— Сегодня и был. За батюшкой ездил.

— За кем ездил? — не поняла Рая.

— А ты что, не знаешь? Тетка Нюра совсем плохая. Вот Васька, сын ее, и говорит: «Давай, Степан, поезжай в город. Не иначе как преставится маманя-то, вези священника — причастить надо».

— Тетка Нюра? Так я ее два дня назад в сельпо видела. Говорила, новую баню строит. И внуков на каникулы ждала. Не жаловалась вроде.

— Так не жаловалась, а потом — раз! И встать не может. Лежит, молится. Говорит, помираю. Ты — и не знала? Я и говорю: чудеса!

Раиса поспешно загнала кур и бросилась за калитку. Надо же! Горячая новость, а она пропустила. Все из-за этой шляпки!

На бегу Раиса подвинула с затылка поближе к макушке съехавший

«пирожок» и прибавила шаг. Она спешила к колодцу — там всегда можно было с кем-нибудь встретиться и узнать последние новости.

Уже совсем стемнело. Луны не было. Небо в тучах сливалось с дождем, вдали мрачно чернели дома. Кое-где улица освещалась фонарями да тусклым разбавленным светом от окон. К этим огням и устремилась Раиса.

Накануне прошел дождь, было сыро, и ноги Раи в сверкающих калошах сразу увязли в жиже. Она шла по улице, и ее причмокивающие шаги будили собак. Проснувшись, те недовольно ворчали, стучали цепью, разносили лаем весть о том, что их так потревожило. Весть подхватывалась, летела, и вскоре вся улица, а затем и деревня мелодично заушали — собаки встрепенулись и на краю поселка, где торопливых шагов не было слышно. Калоши всхлипывали. Рая спешила за новостями, а живая собачья музыка нестройно лилась следом. Конечно же, собакам не было дела до шагов по лужам — они рассказывали миру о своих печалях. Ей же в тоскливом завывании чудились зал со сверкающей сценой и томные дамочки в маленьких шляпках, восторженно аплодирующие оркестру. Раечка была очень впечатлительная.

На пригорке дорога поворачивала. У палисадника Рая услышала гогот. Она перешла на другую сторону улицы — на всякий случай. Кто знает, что на уме у современной молодежи, а она в шляпке.

Осветив дорогу мутными фарами, навстречу проехала «копейка». Салон был по горло набит пассажирами — того гляди лопнет. Наружу надрывно рвалась песня о загубленной жизни.

«Опять Петька-оболтус с друзьями развлекается! И когда только в армию-то заберут! — подумала Раиса. — Может, хоть человеком станет! И матери все спокойней...»

Еще издали она увидела у колодца чьи-то фигуры. Замедлила шаг, чтоб



отдышаться. Волосы выбились из-под шляпки, и голова имела неприбранный вид. Раиса остановилась, поправила прическу, подсунула под «пирожок» кудряшки.

Одиноким свет фонаря осветил бабку Марью и Валентину — дочку, бывшую одноклассницу. Они обрадовались, увидев Раису. Может, чего знает.

— Рай, не слыхала? Что с теткой Нюрой-то? — спросила Валентина.

— Помирает Нюра! — переведя дыхание, ответила Рая. — Батюшка причащать приехал.

Она, как всегда, была осведомлена лучше.

— Свят-свят! — перекрестилась бабка Мария и затянула платок потуже. — Вроде не старая еще.

— Степан за ним в город ездил.

— Вот жисть-то! Одно мгновение! — философски заметила Валентина. — Горбишься, суетишься, а все одно — помирать! Вот и Нюра... Баню справить хотела... — Она поставила наполненное ведро на землю. — И я загнусь, а мой ирод как пил, так и дальше пить будет! Не заметит, как вынесут, не очухается!

— Все — суета. Расчет судьбы, промысел божий, — посочувствовала бабка Мария.

— Ой, Рая, да у тебя на голове... — вдруг увидела Валентина шляпку и потянула вверх руки. — Красота! Это что же, мода такая?

— Племянница привезла, — важно процедила Раиса. И снова оторопела взяла от общественной миссии.

— Тебе идет. Только чудно как-то, непривычно. Вроде и не ты это вовсе.

— Привыкать надо... к передовым тенденциям. Преодолеть лень души и мыслить по-новому. — Рая строго, из-под шляпки, взглянула.

Валентина окинула взглядом статную фигуру подружки, и ее взгляд уткнулся в Раечкины калоши, заляпанные грязью:

— А по мне, лучше к калошам платок. А то как-то... не совпадает...

Бабка Мария, как считаешь?

Раечке стало досадно. Про шляпку племянница рассказала, а про калоши?

— Про Петьку что слышно? — перевела разговор. — Когда в армию?

— Через неделю в военкомат с вещами. Повестка пришла, сказывали, — ответила бабка Мария.

— Ну, слава богу. Может, в армии дурь всю повыбивают. Видали, на «мерседесе» ночью гоняет, коровам спать не дает.

— Недолго осталось. Хоть мать поживет... — согласилась подруга.

Попрощавшись, Раечка направилась дальше.

Дом тетки Нюры был неподалеку. Чтобы не пропустить самое важное, решила сократить путь и пройти оврагом. Проворно взбежала на хлипкий мостик — сдобная, в шляпке. Боясь провалиться, цепко схватилась за ограждение. С опаской ступая, двигалась в темноте, нащупывала ногами целые доски. Она шла наугад, ничего перед собой не видя, лишь калоши скреблись о шершавый деревянный настил.

У дома болящей было многолюдно. Из окон встревоженно лился свет. Во дворе стояли соседи. Старушки в платочках печально застыли у ворот. Собрались родные. Говорили вполголоса, перешептывались и всхлипывали.

Когда к дому на мотоцикле подъехал Василий — Нюркин сын, бабки заголосили.

— Да перестаньте вы! — буркнул Василий, слезая с железного коня. — Чего раньше времени-то хороните! — Он скрылся в избе.

Раечка вошла в калитку и тихонько перекрестилась. Незаметно сняла шляпку и спрятала в карман. Тряхнула кудряшками.

В комнате пахло ладаном. Нюра лежала в передней на пуховой перице под образами. Ее иссохшие руки, как две сухие ветки, печально покоились на груди на цветном лоскутном одеяле. Неприкрытая голова — на

высокой подушке. Она тяжело дышала. В соседней комнате приглушенно разговаривали. Горестно ожидали. К больной вошел молодой седовласый священник. Лицом он был худощав, бледен. На груди поверх черной рясы висел большой серебряный крест. Впалые щеки, глубокие морщины по лбу, тихий взгляд ясных, глубоко посаженных глаз, размеренные движения настраивали скорбеть. Думать о вечном.

Войдя в комнату, батюшка перекрестился. Неторопливо достал евангелие, зажег свечи. Подошел к больной и взял за руку.

Нюра с трудом раскрыла глаза и увидела теплый взгляд.

— Как величать-то? — спросил он ласково.

— Нюра я, — прошептала больная.

— Стало быть, Анна.

— Записана Анной, а так все Нюрой кличут.

— А я отец Никодим. Пришел, Анна, исповедать и причастить тебя. Крещеная ли ты, Анна?

— Как не крещеная, конечно. Как без веры? — Нюра закрыла глаза.

— В церковь-то давно ходила?

— Да как давно, батюшка, на Пасху, Троицу. Считаю, на все праздники. — Она с трудом говорила. — А так... уж больно далеко от нас церковь, в город не наездишься. — Нюра посмотрела на священника. — А ты, батюшка, городской? — Больная всматривалась. — Лицо твоё мне будто знакомо...

— Понимаешь ли, Анна, для чего следует исповедаться?

— Как не понимать! Грешна я, батюшка. — В глаза просочились слезы.

— Скажи, Анна, перед лицом Бога, в чем ты хочешь покаяться?

Нюра задумалась.

— Ох, батюшка, грехов много, а называть их слов не хватает, — тихо сказала.

— А ты не торопись да хорошенько подумай. Вот сейчас, чадо, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Не бойся, не стыдись и ничего не скрывай от меня. Припомни

грехи свои да покайся в них искренне. Говори прямо все, что сотворила. Господь услышит твои слова и простит. — Отец Никодим снова посмотрел на Нюру лучистым взглядом.

— Да вот, батюшка, какое дело... — Нюра шевельнулась и поднялась на кровати повыше. — Лежу я уж почитай сутки и думаю, все никак не могу понять, почему, батюшка, еще вчера я на заливке бревна для бани таскала, а сегодня лежу трупом. Знаю, нагрешила. Потому как Колька — плотник — крепкие-то балясины припрятал, схитрил то есть. А мне как же без балясин баню строить? Вот я и решила, батюшка, его на чистую воду вывести. — Она замолчала, тяжело дыша. Лицо покрылось испариной. — Не со зла, батюшка, от обиды.

Нюра вытерла ладонями влагу.

— Я эти балясины год назад на пилзаводе выписала, полгода пенсию складывала. В город на базар ездила: то сливочки продам, то молочко. Очень уж мне баню новую охота, батюшка. Старая-то заваливается, печка коптит — по черному топит. А он взял и... Эх! Вот я его — Кольку — и матюкнула. Да не просто, батюшка, куда послала, а в сердцах. — Она откинулась на подушке и закрыла лицо руками. — Каюсь, батюшка! Только как назвать этот грех? Слово не подберу...

— Вспыльчивость это, Анна, гнев, раздражительность.

— Ох, батюшка, так вспылела! — Анна мотнула головой и стукнула себя в грудь кулаком. — Аж в глазах черным-черно стало. Думала, убью Кольку-заразу!

— Вижу, Анна, покаяние твое не лицемерно, а действительно выстрадано.

— И на Польку гневалась. Ее коза у себя в огороде всю траву пощипала, так она ее, как не проследишь, все к моему забору привяжет. А моей козочке что? Голодной ходить? Вот опять вспылела, ругалась с Полькой на чем свет стоит, батюшка. Даже сердце поджало.

Выходит, опять грешна... — Нюра тяжело вздохнула.

— Вижу, Анна, твое непритворство. Свидетельствую искренность твою и полное покаяние в содеянном.

— И злословила я, и завидовала. Катьке завидовала. А как же не завидовать-то, батюшка. — Нюра села на перине повыше. — Почитай одного года мы с Катькой-то. А она целую жизнь за мужиком своим присидела. Не работала, как я, от нужды, только по дому. А мой мужик рано помер. Простудился в колхозе на заготовках, скрутило его, сердечного, мигом преставился. Я с тех пор все одна — и дома, и на хозяйстве. Так вот, в прошлый месяц почтальонша принесла пенсию. Мне три тысячи рублей, Катьке — три треста. Потому как ей полагается компенсация. Значит, ей правители наши придумали, чем компенсировать, а мне, батюшка, нет! Как же я ей позавидовала! Вот думаю, почему так? Почему все блага жизни мимо меня идут? Опять, выходит, недостойная я, грешила! — Нюра откинулась на подушку и горько заплакала, вытирая узловатыми кулаками с лица слезы.

— Слезы твои благодатные, Анна! Идут из самого сердца. Господь услышит тебя! Я буду молиться. — Глаза отца Никодима влажно блеснули.

— Ох, батюшка, говорите вы складно, сладко. Уху приятно слушать. Словно и не с вами я разговариваю — с самим Создателем. И на душе легко, приятно. И все-таки сдается мне, я вас где-то встречала. Вы давно в городе-то?

— Недавно.

— А сами откуда родом?

— Из Курманаевки — здесь, неподалеку.

— Я и говорю, лицо знакомо: светлое, благородное. И я до замужества там жила. И брат мой там, и племянник. Кустова я в девичестве. Может, слыхали?

— Кустова?

— Дом наш на пригорке стоял, в ряду первый. Около мельницы.

Отец Никодим задумался, потом радостно вскрикнул:

— Так ты — Нюрка?

— Так говорю же, Нюрка я! А вы все — Анна, Анна! — Больная поднялась на локте, подsunула под спину подушку и присела в кровати.

Спокойное, невозмутимое лицо священника вдруг озарилось волнением.

— Нюра! А меня-то помнишь? Я Ваня. Ваня Молоносов!

Он присел рядом. Схватился руками за серебряный крест.

— Ванечка? — охнула Нюра. Жалобно посмотрела в лицо, отыскивая знакомые черты. — Я и чую, где-то встречались...

Она потянула на себя одеяло, стыдливо прикрываясь. Суетливо подрала пятерней волосы. Скрутила на затылке пучок.

— Что же ты, Нюра, болеть-то вздумала! Помирать собралась!

Отец Никодим рукой хлопнул себя о колено, вскочил. Возбужденно прошелся по комнате. Схватился за голову...

— Сама не понимаю, — прошептала Нюра. Ее щеки запылали.

Они взволнованно замолчали.

В тишине комнаты было слышно, как потрескивает фитилек оплавленной свечки, освещающей отрешенный лик Богородицы.

— Стало быть, ты, Ваня, священником стал, — наконец сдавленным голосом вымолвила Нюра.

— Да, Нюра, священником... А ты, стало быть...

Свечка погасла.

— А помнишь, — батюшка присел на кровати, взял больную за руку, — как сено ворошили, в телегу складывали. Ты сверху на возу, я снизу вилами подаю...

— Как не помнить, Ванечка. Душистое сено, сухое... — Нюра перевела дыхание.

— Колючее, за воротником скребло... — отец Никодим повел плечами. — Звезды помнишь? Острые, огромные, как блюдца... Летали...



— А ягоды в траве? На солнце запеклись... я слаще не пробовала...

Они снова замолчали.

— Ты, Нюра, поправляйся, — справившись с чувствами, спокойно сказал батюшка. — А я буду просить Господа, чтобы он принес исцеление. Сдается мне, еще не все земные дела ты разрешила. Веруй и надейся. И Господа не забывай.

Отец Никодим подошел к иконе и прочитал молитву.

Дверь приоткрылась. В комнату встревоженно заглянула сноха:

— Батюшка, не надо ли чего? —

Плаксиво спросила: — Как вы, маманя?

— Собирай, Вера, стол, — распорядилась Нюра и опустила ноги с кровати. — Самовар заводи, неси пироги. Будем батюшку угощать.

Скрипнув, дверь мгновенно закрылась. И сразу же за стеной раздался оживленные возгласы и топот шагов.

— Не побрезгуйте, батюшка. Пойдемте к столу.

Нюра ногами нащупала тапки. Медленно, опираясь о стену, встала. Отец Никодим протянул руку.

Забыв про страх провалиться, Раечка бесстрашно неслась по мосту. Ветки ивы хлестали лицо, мостик возбужденно раскачивался, скрипел, угрожал опрокинуть, но Раечка это-

го не замечала. Она со всех ног мчалась к подружке. Подбежав к дому Валентины, заколотила в окно. Из будки возмущенно заголосил пес.

В избе спали. Вскоре в задней половине загорелся свет, метнулись тени по потолку, стукнула щеколда. На крыльце появилась Валя. Она была заспанна и встревожена.

— Фу! Молчи! — приказала псу. Он яростно служил хозяйке. — Раиса? Ты ли? Случилось что? — Невидящими глазами подруга всматривалась в темноту.

— Ой, Валя! Чудо! Настоящее чудо! — воскликнула та, задыхаясь. — Нюра-то... — Она перекрестилась.

— Что? Померла? — охнула Валентина и тоже перекрестилась.

— Тьфу ты! Не померла — ожила! — Глаза Раисы округлились от восторга. — Чудесным образом исцелилась. Батюшка причащал, к смерти готовил, а она встала с постели и пошла.

— Да ну?! — подруга всплеснула руками.

— Пошла — с Божьей помощью! На дворе уж все собрались, часы считали... — Раечка тряхнула кудряшками. — А она — глядь — к народу выходит. Пирог, говорит снохе, на стол ставь. Что-то я проголодалась...

— Так и сказала? Проголодалась?

— Вот те крест! Вся деревня в сви-

детелях! — Рая размашисто перекрестилась.

— Да замолчи ты! — Валентина швырнула в не понимающего пса чем-то тяжелым. — Как? И пошла? Своими ногами?

— Своими — чьим же? Чудесным образом пошла! Я и говорю — чудо! Неподдельное чудо!

— Вот оно — слово Божье, молитва благодатная!

— Лежу, говорит, уж почитай два дня не кормлена. А еще баню строить.

— Так и сказала? Баню строить? Ну, чудеса!

— Вот что значит истинно веровать!

— Вот бы и моего ирода от зелья отвадить... — размечталась Валентина.

— А ты верь да молись. И к батюшке сходи. На все воля Божья. Чудо! Истинное чудо! — запричитала Рая. — Ладно, я побегу, скажу бабке Марье, — засобиравшись она, спохватившись. — Завтра в город поеду, в храм, вставать рано. И ты иди, застудишься, — увидела у подруги босые ноги.

— А шляпка? Где твоя шляпка? — вдруг заметила Валентина.

— Да ну ее, шляпку! — Рая вынула из кармана свернутый «пирожок». — Платок лучше — к калошам!

г. Москва

Антонина ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА



Я филолог. Без малого полвека проработала в школах Алтая. Сочиняла в люльке, а когда выросла, надо было зарабатывать. Сейчас я опять в детском возрасте...

Дважды номинировалась на Бунинскую премию — в 2008 и 2009 годах. Теперь просто пишу... Но наглость прет. А куда ее девать, коль она врожденная?..

Овладела компьютерной мышкой и — повисла в Интернете: «Русский переплет», Die Geschichte der Wolgadeutschen, «Литературная губерния — международный альманах». Пишу на русском. Живу в Берлине.

ОТВОЕВАЛСЯ

РАССКАЗ

1.

— Здравствуй, Фрося!

Поздоровались голосом мужа...

Она лезвием скосила на люльку, поднесла к щеке руку и, будто взбаламутила илистое дно светлой реки, выдохнула:

— Фе-е-дя?!

— Я, Фрося.

— Ты-ы?.. Живо-ой?

— Живой, как видишь!

Подпоясанный ремнем, давно не бритый, в галифе и защитной, невыпуск, гимнастерке, опираясь на выстроганную под трость палку, он прохромал к ней, своей Фросе, что ничуть не изменилась: лицо все такое же гладкое и чистое, даже вроде помолодевшее и посвежевшее, а роскошную грудь и широкие бедра никакой одеждой было не прикрыть. Он любил играть с этой грудью — сейчас хотелось припасть к ней, понежиться, вспомнить забытый ее запах. Обнял теплое, пышное, ставшее почему-то ватным тело и захмелел от вольностей, позволительных мужьям да любовникам...

— Федя?.. Ты? Откуда? Мы похоронили тебя! — плетью висевшие руки коснулись заросшего лица, податливое тело обрело упругость.

— Потом, Фрося, потом. Фрося... Фрося... — жарко дышал он ей в шею, увлекая к знакомой с детства старой родительской кровати, символу тепла и покоя.

Между боями, когда удавалось выспаться и выдавался относительно легкий и сытный день, все мечталось о такой вот минуте; о том же думалось и в концлагерях, немецком и уже своем, советском.

— Как дети? Где они? — умиротворенный, приподнялся он на локте.

— Настя дома, а...

— Как так Настя и — дома?!

— Она, Федя, два года как замужем, а Никольша в школе еще.

— Настя — и замужем? А не рано? Постой, ей сколько лет-то?

— Двадцать, Федя, так что не рано. Забыл, во сколько я ее родила?

— В семнадцать и родила. Так это внук наш?

— Нет, Федя, не внук.

Слова отозвались тишиной, а по сердцу будто отпустили тугу натянутую резинку. Настраивался на худшее, но что будет так больно, не думал, хоть и перестрадал столько, что другому и за жизнь не перестрадать. Слово угадав его чувства, она поднялась, поправилась, задержалась у люльки, молча поиграла с пальчиками ребенка, прошла к столу и села на длинную скамью.

Федор зачерпнул ногой портянку, и Фрося только теперь заметила обрубок правой ступни — без пальцев. Увечье было небольшим, но душа заныла, глаза мокро затуманились — вскочила помочь. Он полоснул взглядом, злобно выдернул портянки, ожесточенно принялся наматывать их на ступни и с яростью натягивать кирзачи.

— Скурвилась? — разорвал он нависшую тишину.

— Федя!

— Что — Федя?!

— Десять лет прошло, а от тебя — ни слуху ни духу!

— Кто?!

— Петруша Ворок.

— Целехонек, значит, вернулся.

Своего добился!

— Год всего, как поженились. Я ждала тебя.

Запустив пятерни в шевелюру, богато-черную когда-то — теперь

полосато-поредевшую, Федор зарычал и прохромал в угол, к обитому железом сундуку. Сдавливая большими пальцами виски возле ушных раковин и четырьмя другими прикрывая лицо, покачивался, точно дубовая ветка от сильного ветра. Будто стряхивая что-то, дернулся, зарычал, открыл лицо, и угрюмо-тяжелый взгляд столкнулся с темным, страдающе-настороженным.

— Ты голодный?

Он не ответил. Она прошла к русской печи, вытащила ухватом чугунок с борщом и оставила его на шестке. Федор приглядывался. Родительский дом, в памяти яркий и с детства знакомый, казался теперь чужим. Заметил то, чего сразу не заметил: тюлевые занавески, платяной шкаф и четыре новые табуретки. «Петька смастерил», — неприятно отметил он.

От круглого серого домашнего хлеба Фрося отрезала несколько кусков, налила в алюминиевую чашку наваристого борща и, придерживая полотенцем, понесла к столу. Он уловил густой аромат и почувствовал голод.

— Иди поешь, — негромко велела она.

Туманно постреливая на суетившуюся жену, он не отреагировал — размышлял, куда податься. Кроме дочери Настены, никого не оставалось. Отец и мать померли, а его самого война изметелила так, что удивлялся, как еще жив: три тяжелых ранения, немецкий плен, побег из него и опять плен, но уже свой — на Колыме. И что было легче, а что тяжелее, сказать не мог. Выживал ради нее, своей Фроси, верил: любит, ждет, думает.



— Пойду, — поднялся он, натягивая пилотку.

— Это твой дом, Федя, уж лучше мы уйдем, но сначала садись, поешь.

Федор вопросительно глянул и молча закандылял к знакомому столу. Ел жадно. По мере того, как насыщалось тело, уходило ощущение беды.

— Вкусный борщ, так бы ел и ел, и только на первый день Пасхи вылез, — светло улыбнулся он, перестав жевать, опустил глаза и опять принялся орудовать ложкой.

— Ешь, пока рот свеж, завянет — ни на что не глянет, — в ответ пошутила она привычной в семье и знакомой еще до войны присказкой. — Давай подолью.

— Можно, — согласно кивнул он.

Пока наполняла чашку, рассматривал ее со спины. Черные косы аккуратно уложены вокруг головы, светло-розовая кофточка с большой оборкой в талии и длинными рукавами подчеркивала статную фигуру, широкая юбка скрывала мощный низ. «Как у справной лошади круп», — удовлетворенно отметил он. Она была из тех аппетитных 40-летних женщин, что так нравятся мужчинам, и он не сдержался, сказал просто, как говорят близкому человеку:

— Фрося, останься со мной, я не обижу.

Она закрыла чугунок, задвинула его в печку, поставила чашку на полотенце и, поднося к столу, спросила:

— А как же Петя?

— А как же я, Фрося?

— У нас уже ребеночек родился.

— Так и у нас ребеночки!

— Они уже взрослые.

— И что? Я в семью рвался! Может, потому только и выжил! А семьи, выходит, нет? Фрося! Ты не знаешь, что я пережил!

То ли от крика, то ли что пора было есть, подал голос ребенок. Фрося поспешила к люльке и, воркуя, перепеленала. Не стесняясь,

достала грудь и приложила к ней сосунка.

— Федя, это война все скосоворотила — не могу я разорваться. На деревне полно одиноких, безмужних баб.

— Зачем мне бабы, когда у меня своя есть? — закричал он, и ребенок оторвался от груди.

— Не кричи, дитя пугается. Ешь, пока не остыло.

Он покрутил деревянной ложкой в чашке и опять принялся за борщ.

— Скоро наш папка придет и Никольша из школы, — ворковала Фрося.

— Да лучше б я помер! — бросил он ложку. Ее спокойный тон, будто испытывая терпение, раздражал... Помолчал и с паузами озвучил то, что мучило: — На войне с германцем выжил. А после? За что, скажи, наказали? Домой, в семью, вернулся — и опять, выходит, не нужен. Кому тогда на этом свете я нужен? За что мне такая кара?

— Федя, не мучай меня, — попросила она тихо. — Я, что ли, в войне виновата? Тебе тяжело, а кому легче? Мне волноваться нельзя: молоко может пропасть.

— Выходит, война для меня не закончилась.

— А для кого она закончилась? Для него вот? — показала она на ребенка.

Со двора донесся рык трактора. Он заглох рядом с окошком. Хлопнула сенная дверь, и на пороге появилась высокая, стройная, в мазуте фигура. Комбинезон, лицо и руки лоснились от солярки и грязи, непослушные темные кудри торчали в разные стороны, но обаяния сильного и уверенного в себе мужчины это не убавляло.

— О! Гости!.. Здравствуйте! — живо отреагировал он, но, присмотревшись, потух. — Фе-едор?! Ты-ы?..

— Как видишь, — мрачно отозвался Федор.

Комната пропитывалась запахом солярки и мазута. Большим алюминиевым ковшом Петр зачерпнул

воды из бака — налить в круглый рукомойник из толстого алюминия.

— Я уже налила, приготовила, — остановила его Фрося.

Петр принялся греметь клювиком. Смыл главную грязь, закатал рукава, еще раз намылил руки и принялся за лицо, вытерся тонким серым полотенцем и прошел к столу. Фрося поднесла борща. Тягостную тишину нарушало пожевывание Петра, и он не выдержал:

— Что, Федор, делать будем? Как делить то, что не делится?

— Я в семью вернулся. Она моя жена, законная, а ты только место занял.

— Вон ты как! И у нас малец вон тоже, но меня ты, выходит, в счет не берешь?.. Вычеркиваешь?

— Я твоего не брал, не занимал! — твердым, ровным голосом отреагировал Федор.

— Дом я и освободить могу.

— Будь добр, освободи.

— А сын?

— Пусть живет. Вырастет, никуда не денется.

— Вы что препираетесь — меня не спросили? — звонким ручьем врезалась в разговор Фрося.

— Не встревай — у нас тоже сын! — листами падающей жести прокатился Федор.

Дверь открылась, и на порог с левой сумкой, что болталась у бедра, ступил рослый подросток со светлоголубыми, как у Федора, глазами, небольшим, как у Фроси, ртом, припухлыми губами и проклюнувшимся пушком над верхней губой. Он только раскрыл было аккуратный рот, чтобы поздороваться, как Федор, громко прохрипев: «Никольша, сынок!» — потянулся к нему начиненным самоваром. Повис на нем, оторвался и начал тискать-обнимать. Подросток растерянно из-за плеча глядел на мать, на дядю Петю, и, чтобы снять недоумение, тот кивнул:

— Да, Коля, это твой отец.

— Я таким тебя помню, шести лет... А ты вон какой вымахал — совсем парень! — и Федор брезгливо

смахнул обозначившиеся у глаз капли.

Отца Коля помнил смутно. На того, что виделся иногда во сне, этот походил мало. Неподдельная радость трогала и волновала, но, испытывая неловкость, он молча выглядывал из-за взрослого плеча, переводя взгляд то на мать, то на дядю Петю.

— Ну вот и свиделись, давайте за стол, да и я с вами, — не переставала суетиться Фрося, пряча влажные глаза.

— Не мешало б и чарочки, — сушил Федор неуклюже ладошками свои.

— За нею в ларек надо, — поднялся Петр.

— Петя, не надо! — на высокой ноте попыталась остановить его Фрося, но закончила тихо. — Ты чай с пирожками еще не попробовал.

— Не до пирожков. Если что, я у родителей.

И ушел. Гул трактора за окном удалялся и вскоре совсем затих. Не ощущая вкуса хваленного борща, Фрося хлебала по инерции — понимала, что попала в западню. Не слышала слов оживленного Федора, не отреагировала на благодарность сына, и только когда голос подал сонунок, поспешила отозваться:

— Сейчас, Мишенька, сейчас.

Хлопотала по дому, заставляла себя ровно реагировать на голоса, а под ложечкой нарастала тревога, что сменялась тоскливой болью. Прислушиваясь к журчащему юношескому голосу, Фрося схватила полотенце и, скручивая его жгутом, присела на табурет рядом. «Надо что-то делать!.. Что-то делать», — отстукивало в висках. Поднялась, подошла к порогу, вернулась, раскрутила полотенце, повесила на гвоздь и сипло сообщила:

— Я выйду с Мишенькой.

— Ты чо, мам? Простыла? Голос какой-то...

— Не знаю. Плохо мне.

Завернула ребенка, приложила его рулоном к плечу и вышла. Постояла на крыльце, всматриваясь, — ни пешего Петра, ни его трактора...

Фрося направилась в низину за домом, в шелковистую прохладу рощи, где лежало много валежника. Им отапливали в годы войны дом. Внизу, слева, скучковались молодые осинки. Чуть поодаль вытянулись акселератки-березки. Одни переплелись, обнявшись, другие склонились к более крепким — от неуверенности, должно быть, и слабости. Старые, могучие раскидистые красавцы возвышались в стороне и, точно солдаты на вахте, оберегали неуверенный молодняк. Фрося спустила с плеч полугодовалое дитя и, держа его перед собой, спросила, словно тот понимал: «Как быть, Мишенька? К кому приклониться? Кто уберезет?» Ребенок беззубо улыбнулся. Она прислонилась к его головке, вновь определила к плечу, чтоб легче было, и повернулась к дому. Шемящая тоска и тревога немного улеглись.

Из банной трубы валил дым — Федор затопил баню. Когда открыла дверь избы, у порога ее встретил растерянный Никольша.

— Мам, как мы теперь будем?

— Не знаю, сынок, не знаю.

— Отец баню затопил.

— Я видела.

— А дядя Петя не идет.

— Не идет. И, наверное, не придет.

— Как так?

Фрося ничего не ответила, положила уснувшего ребенка в люльку и тихо заплакала. Подошел Никольша. Клейко, будто прошалась, она бросилась к нему на шею. Никольша впервые почувствовал в ней женщину и покраснел. Она подняла голову — признаться, что забыла отца и хочет остаться с дядей Петей, увидела пунцовое лицо и поняла, что ее мальчик становится мужчиной. Отстранилась и в голос запричитала: «Ой, мама, за что на меня все разом? За что?»

— Мам, не надо, тебе нельзя.

Косясь на люльку, глушила рыдания, думая, что надо сообщить Настене про отца, но сказала совсем другое:

— Там, в сундуке, в левом углу, под штанишки и рубашку достань, отцу отнеси.

Петр ночевать не пришел.

Начинались сумерки. Разморенный после бани Федор прилег на кровать и сразу уснул. Фрося достала с полочки лампу-десятилинейку, сняла закопченное стекло, дунула внутрь. Глядя мимо, долго протирала его газетой. Зажгла фитиль, убавила язычок огня, в кружево желобка вставила стекло. Понаблюдала, пока оно не отпотело, и добавила света. Никольша сел за уроки, а она вместо Петра вышла управляться.

Поросенок визжал в закутке. Вернулась, вынула из печи чугунок с картошкой, вывалила содержимое в ведро, в углу сеней наскребла в деревянной бочке ковш дробленки, высыпала и начала помешивать, все уминая специальной колотушкой. «Блюдо» пришлось поросенку по вкусу, он набросился, шумно хрюкая, суетливо и жадно толкая пяточком. Она ударила его: «Да подожди ты, нетерпеливый! Дай вывалить!»

Из-под навеса раздалась тяжелые вздохи, и Фрося вспомнила, что пора доить. Машинально смахнула с прясел опрокинутое и прожаренное на солнце алюминиевое ведро, у сенной двери сдернула с гвоздика тряпку протереть ведро и примостилась на маленькой низкой скамеечке под корову. Смачная струя из тугого вымени звонко брызнула о дно. Фрося любила эту веселую музыку первых струй, что, символизируя покой и достаток, становились все глуше. Сейчас, занятая тревожными мыслями, она ничего не слышала — думала, как бы не оскорбить чувства взрослых детей, не обидеть измученного Федора, пережившего если не ад, то что-то на него похожее, а еще сохранить свежую любовь к Петру и не обидеть Мишеньку, в силу малолетства не понимавшего трагедию матери.

Петр уже неделю жил у своих стариков. Федор спал на родитель-



ской кровати, Фрося мостилась на сундуке в углу. Ночами, когда вставала к плачущему ребенку, Федор, будто домовый, молчаливо-грубо лапал и пользовал ее. Она подчинялась — тоже молча: в другой половине не спал сын-подросток.

В семье висела предгрозовая духота, а в ее душе назревал ураган, хотя все было тихо и мирно. Днем, когда Никольша был в школе, она не вытерпела и попыталась объяснить Федору свое состояние.

— Думаешь, не вижу, как сохнешь? — загремел он. — Чем он тебя взял? Размером?

— Федор! Ты что — совсем оскотинился?

— Замолчи! — от удара, неожиданного и сильного, Фрося будто в аварию попала.

Очнулась у ножки стола, приложила к больному месту руку — по пальцам потекло липко и тепло. Поднялась, намочила под рукомойником полотенце и крепко прижала к ранке. Федор наблюдал. Ни слова не сказав, хлопнул дверью и вышел. На сундуке, тупо уставясь в угол, Фрося давила на рану с ощущением безнадежности: выход из неожиданного тупика ей не виделся. Начиналась война, более страшная, чем та, в которой убивали тело, — в ее войне погибала душа. В доме, напоминавшем бочку с порохом, сделалось тягостно.

Федор пришел вместе с сыном — поздно. Стал задерживаться после школы и Никольша — тоже, видно, неладное чуял.

У нее пропало молоко, и Мишеньку пришлось подкармливать манной кашей. С ним на руках отправилась в магазин за крупой. Прикупила еще сахару, мыла, пошла к выходу и в дверях, как споткнулась, — с Петром столкнулась.

— Петруша, — простонала она, обронила голову к нему на плечо и тихо завывала.

Он прижал ее вместе с грузом, незаметно перенял ребенка, а она никак не могла успокоиться.

— Думал — тебе хорошо.

— Плохо. Очень. Помираю. Тошно, хоть вешайся, — выдавила она и опять затянула мокрую шарманку.

— Все. Пойдешь со мной, больше тебя не отдам.

— А Никольша?

— Будет с нами.

— А твои родители?

— Сыну и внуку они не враги.

— А если Никольша не пойдет?

— Рядом живем — будем навещаться.

— И Федора жалко, — грустно сказала Фрося. — Ему столько пришлось в плену пережить! Да еще наш потом лагерь, тоже плен, но уже свой... Чудом выжил. Обидно ему, только не могу я с ним — разлюбила.

Из магазина шли, ощущая тепло и свет дня. Потускневший было Петр открыл с сыном на руках родительскую избу, за ним показалась Фрося, сияющая, счастливая, защищенная, и родители радостно засуетились, переняли ребенка. Воркуя, распаковали его — горницу предоставили молодым.

Вечером Фрося и Петр пошли управляться вдвоем. Федора не было, Никольша сидел за уроками. Пока Петр возился с живностью, она вынула из печи чугунок с тушеной картошкой, чайник с заварной травой, поставила принесенные блины и пригласила к столу сына.

— А отец? — спросил он.

— А куда он ушел?

— К Настене, наверное. Куда ж ему еще ходить?

— Иди поешь, — утонула она его голову.

— Ну пойдем, — по-детски улыбнулся он.

Никольша ел, как и подобает подросткам, аппетитно. Она любовалась.

— А ты что?

— Я наелась.

Он голубоглазое стрельнул на нее, на луюлку и, сопоставляя, сказал:

— Не понял...

— Я, сынок, к дяде Пете ухожу, не получается у нас с отцом.

— А я?

— Вот и хочу спросить, ты пойдешь с нами?

Отдаляясь от матери, Настена жила самостоятельной жизнью, а для Никольши Фрося все еще оставалась миром, в котором он укрывался и защищался. Желание соответствовать этому миру поддерживало ее в одиночестве военных и послевоенных лет. Сейчас ей казалось, что она предает своего любимца. Он долго молчал, поднял голову, тягуче посмотрел и как отрезал:

— Нет, не пойду.

— Я любила вашего отца, сынок, теперь Петра люблю. Не могу я меж ними разорваться. Как ты будешь заканчивать школу — без меня?

— Я чувствовал, что вы не уживетесь, но отца не оставляю. Он один, понимаешь? Война больше всего на нем и отыгралась.

— Я буду еду вам готовить, корову доить, за огородом смотреть, но печку по утрам топить не буду. Прости, сынок.

— Печку мы и сами протопим, вот только хлеб стряпать не умеем.

— Хлеб — не проблема, испеку. Скорее бы его на работу определили — может, и бабу б какую привел...

— Не-е, не приведет. У него только и разговору про тебя. Не приведет.

И она заскулила в ладошки, как в магазине на плече Петра. Никольша подошел и, сидя перед нею на корточках, молча отнял руки. Мутно глядя в светлую голубизну, она медленно успокаивалась. Вытирая глаза, сказала совсем не то, что хотела:

— Боюсь, с отцом к стопочке приладишься.

— Не боись, не прилажусь. И отец не приладится, на стопочку деньги нужны. К дяде Пете я как к родному привык, но отец дороже, с ним останусь. Мне шестнадцать скоро, в эти годы многие уже воевали.

— Мы рядом — поможем, а ты и к...

Она не договорила: в сенях подозрительно зашумели. Дверь рвану-

ли, и окровавленный Петр затолкал, направляя к кровати, битюгом упирающегося пьяного Федора. Тот барабанил матом и заплетался в искалеченных ногах, но на постели как-то сразу присмирел и притих.

— Сними с него сапоги, Никольша, — велел Петр и, ни слова больше не говоря, пошел к рукомоюнику.

— Ты-ы? В крови-и? — чуть слышно спросила бледная Фрося, когда он вытерся.

— Понимаешь, я с поросенком возился, он возьми да поленом и огрей. Хорошо — сила у пьяного не та, что у трезвого.

— Спьяну он и от обиды. Вы зла, дядя Петя, на него не держите.

— Да я и не держу — понимаю.

Из верхнего пенала на внутренней стенке сундука Никольша достал флакончик с йодом, Фрося рылась в кудрях Петра — прижечь ранку, что еще кровоточила.

— Коля, пойдем с нами, тебе в школу утром. А если проснется и начнет бузить? — Петр не столько приказывал, сколько думал вслух.

— Нет, я останусь, а в школу меня мама разбудит, — его красивый, чистый голос мягко стелился по душе Фроси.

— Петруша, может, все же мне остаться? Только Мишеньку взять надо.

— Мишеньку я тебе сегодня не отдам.

— Мам, отец не виноват, что все так сложилось. Иди с дядей Петей. Пойдемте, провожу. — Он вышел с ними в темень двора и здесь, то ли потому, что не видно было лица, то ли потому, что хотелось поделиться, признался: — А я стихи писать начал.

— Стихи?.. Ты?.. Почитай, если помнишь.

— А смеяться не будете?

— Ты что, Коля? Над этим не смеются, этому радуются, — Петр хлопнул его по плечу и притянул к себе. — Нам послушать хочется.

— Ну слушайте.

*Вы, дети мрачных лет страны,
Испили вдоволь до войны,
Но в честность верили всегда,
В добро и значимость труда.*

*А «враг народа» вновь и вновь
Клеймил, травил вас, как зверьков.
Но глас свободы, новый глас,
К другой уж жизни звал всех нас.*

*Недолюбив и недожив,
Но гордость в сердце сохранив,
Вы, веря будущим годам,
Благословенье дали нам.*

Лицо Никольши при лунном свете было бледнее обычного. Читал он с чувством — душой, видать, проникся. Петр с Фросей слушали, будто окаменевшие.

— Сы-но-ок, — протянула она, когда он замолчал и улыбнулся, — и давно ты?

— Нет, как отец вернулся.

Обняла, приложила к его щеке:

— Хорошо. Очень. Правда, Петя?

— Да, глубокие. Пиши, Коля, а на мать не сердись.

— Я и не думаю, только отца жалко. А стихи почему-то все больше печальные получаются. Вот еще:

*Росли, почти не зная детства,
Со взрослыми трудились наравне.
На стройках обороны Бреста —
Труднее было вам вдвоине.*

2.

Деловое лето, пыльное и сухое, подходило к концу, приближалась не менее деловая осень. Весной, по приезде, Федор бездельничал недолго — попросился на старую полуторку и все лето птицей носился по селу и району. Хроническое недосыпание однако, сказывалось. Вечерней зарей возвращался он как-то из районного центра и почувствовал, что засыпает. Скотил машину в неглубокий лужок, заглушил подальше от обочины мотор, положил под голову фуфайку и скрючился на сиденье, как в утробе матери. Едва

прикрыл глаза, как сон, тяжелый, тревожный, сразу сковал его.

Две собаки нагоняли кабину. Одна, высунув язык, смотрела не вперед, а на Федора. «Странно, бегают быстрее машины», — подумал он и нажал на тормоз посмотреть, что за лошадь мчится так быстро, но тут догадкой, как по сердцу щелкнуло: «Да не собаки то — волки!» Убрал с газа ногу — машина неслышно скатилась в яр, к стае. «И тяжкое ярмо рубиновым пятном», — пришли на ум строки, что вечером на крыльце читал Никольша, сидя с ним плечом к плечу. «Они что, с ума посходили — машину блокадой брать?» — весело усмехнулся он.

Решил отпугнуть светом — зажигание не сработало, нажал на газ — мотор заурчал и заглох. «Может, и к лучшему — не приведу стаю в деревню. З-заразы», — ругнулся он. Темнело очень быстро, следить за хищниками становилось все труднее. Самый крупный стронулся и пошел к машине, за ним потянулись другие. Они царапали кабину, точно просили открыть. Крупный прыгнул и, примостясь на капоте у стекла, глянул Федору в самые зрачки. Это, видать, ему быстро надоело, волк тягуче завыл, задрал морду. Федору стало жутко. «Вы что скулите?!» — крикнул он, вспомнив рассказ деда Степана про волчицу, задравшую на глазах лошадь. И когда дед помер, собаки завывали так же скорбно.

Хотелось толкнуть дверцу и выскочить — сдерживал страх быть растерзанным. «И тяжкое ярмо рубиновым пятном, — вновь вспомнил он понравившуюся строку. — Чего это я, могу ж просигнализировать!» — и нажал на гудок. Стая прислушалась и дружно, оркестром, завывала.

Под эти слаженно-оркестровые завывания Федор подростком в переполненном зале старой школы разыскивал совсем молодую еще Фросю, что училась классом ниже. Черные ее косы никогда до конца не



заплетались, и две пушистые метелочки сразу бросались в глаза, а смех разноголосым эхом застревал в душе, становясь потом музыкой дня. И все бы хорошо, но всегда вклинивался Петр, однако она предпочитала Федора.

Испытывая необъяснимую легкость и свободу, они парили сейчас, словно парашютисты, головой к голове, растопырив руки и ноги. Затем срывались, как гимнасты, с перекладин, и навстречу неслись большие глаза и живое, смеющееся лицо. Растворясь в милом взгляде, он мчался к перекладине, чтобы ощутить тепло Фросиных пальцев. Едва к ним прикоснувшись, тут же развертывался и опять парил, парил — до бесконечности...

Проснулся Федор от утренней прохлады. «Странно, в состоянии замурованности — и ощущение счастья. К чему бы?..» Нажал на гудок — он безответно пронесся по солончаковой степи. Подождал. Открыл дверцу. Вышел. На горизонте выкатывался большой огненный шар — примета погожего, ласкового дня.

Завел мотор и выехал на дорогу, размышляя, что жизнь прошла как взаперти. Вспомнил коллективизацию, когда все, как в улье, гудели, каждый на свой лад, а он, пятнадцатилетний, радовался, что отец с матерью выдернули для него козырную карту — родили ко времени, когда строилось всеобщее счастье.

Учился с отличником Андрюхой, соседом по улице. С ним готовил уроки, с ним делился сердечными тайнами. Однако «всеобщее счастье», о котором писали газеты и вещало радио, исчезло вместе с Андрюхой, родители которого носились весь световой день с сыновьями по полю, строя свой большой муравейник. В одночасье у большой и дружной семьи отняли все нажитое и сослали ее в тьмутаракань. И Федор будто себя потерял: обрести умного, доброго и талантливого друга было такой же ред-

костью, как найти в стогу иголку. Со временем рана притупилась, он пришел в себя и женился на Фросе. Девять прожитых с нею лет и были счастьем. Личным — не всеобщим.

Когда машина подъехала к дому, дверь открылась, и в ней показался Никольша с сумкой. Глядя на него, машущего с крыльца, Федор подумал, что красотой сын похож на Фросю.

— Ты где это пропал? — крикнул тот.

— Остановился вздремнуть и проспал.

— Я до ночи ждал. Мама там суп сварила, он еще теплый. Иди поешь.

— Она дома?

— Да нет, сварила и ушла.

Все, что готовила Фрося, казалось вкусным — Федор опорожнил две глубокие чашки. Закончил завтрак, сполоснул под рукомойником чашку с ложкой, на столе прикрыл рушником хлеб с солонкой и вышел.

Почти сразу по возвращении ему пришлось начать войну с пленом любви, ибо испелить его любовь никакой войне не удалось. Пробовал пить — не помогло. Заноза-боль была сродни концлагерям, но там в подневольном теле свободным оставалось сердце. Оно рвалось к Фросе, и он выжил. Дать свободу сердцу ему никак пока не удавалось — занятость плохо отвлекала.

Отец вспоминался теперь особенно часто. Сравнивая себя с ним, Федор находил много общего: «Однолюб я, как и батя. Любовь к матери была для него якорем, что удерживала в этой жизни. За что припечатали ему клеймо “враг народа” и отправили в штрафной батальон, отец так и не понял. Однако нет худа без добра: тяжелое ранение оказалось билетом в жизнь — почти на полных девять лет».

Думая так, Федор принялся во дворе за рубку дров. Отцу посчастливилось вернуться, а его, Федора, долгих десять лет продержали после войны в лагерях. Если бы не

это, жил бы сейчас семьей, растил детей-внуков, родителей похоронил бы, а то их Фросе хоронить пришлось.

Дрова Федор любил не столько пилить, сколько рубить. «Не хочешь холоду, полюбишь лес смолоду», — говаривал отец. Подвел как-то маленького сына к колоде и загадал: «Стоит баран: не столько шерсти на нем, сколько ран». Что это за баран без шерсти, сын никак не мог понять. Через несколько дней обратился, однако, внимание на сучковатую колоду. Зарубки-морщинки в ее основании напомнили 102-летнюю бабку Василиху. «Зарубки — раны, сучки — рога!.. Баран — терпеливый...» — догадливо заколотилось сердечко. «Я знаю, знаю!» — закричал он и понесся по двору в дом.

— Молодец, — скупо похвалил отец, — разрешать неразрешимые задачки придется в жизни не раз.

Дровяной запах, смоляной, осиновый, березовый, навел на мысль, что неплохо бы выкроить время и заняться рубкой вдвоем с Никольшей. Поразмяв таким способом мышцы, Федор сел за руль.

Машин в уборочную пригоняли на целину много. Люди трудились на износ — спешили успеть до снега. Обгоняя друг друга, водители пылили по грунтовым дорогам, что в тихие дни превращались в длинный темный туннель. Обехать густой черный шлейф не было никакой возможности — все радовались ветру: он освещал и прочищал полевые просторы.

В минуты, пока загружали полуторку, Федор ведрами и плицами¹ бросал зерно на веялки и маленькие фухтели². С воспаленными, красными от бессонницы и пыли глазами рулил он по району — на этот раз в Кулунду. Въехал в село и оторопел: боком по дороге катилась живая голова. Он резко тормоз-

¹ Черпак для сыпучих предметов или для отливки воды.

² Небольшая ручная машина для очистки зерна, веялка.

нул и выбросил дверцу. Широко вращая открытыми глазами, голова встала. Глазные яблоки крутились заезженной пластинкой, пока веки тихо не прикрыли их. Федор полоснул глазами даль: метрах в ста образовалось скопище машин. Он подошел.

Происшествие наблюдала старуха, что сидела на завалинке. Жестикуюлируя, она громко рассказывала о подробностях:

— Сначала шофера придавило, а владелец головы был еще жив — хотел из кабины выпрыгнуть. Тут из пыльного тумана еще одна полупортка — навстречу. Грохот, треск и — не дай, Господи, никому...

Сходились зеваки, кто-то требовал милиционера. Федор надвинул на глаза фуражку и, ничего не выясняя, направился к своей машине.

На элеваторе простоял около часу в очереди. Разгрузился, развернулся и отправился домой. Его знобило — то ли от того, что продуло, то ли от увиденного: перед глазами время от времени всплывала молодая кудрявая голова, что, расставаясь с жизнью, безмолвно наблюдала собственную смерть.

Утром проснулся он в поту, но к правлению все же отправился. Съездил в соседнюю деревню, чувствуя дрожь, которую не в силах был унять. То мерещилась голова с дико вращающимися глазами, то казалось, что сознание уходит, думалось: «Домой бы доехать...»

Он доехал. Остановил во дворе машину; пьяно шагнул к крыльцу; открыл, мобилизуя волю, дверь; почти ползком дотянул на кривых ногах до постели и отключился. Очнулся от прожигающего холода и усилий сына, что стягивал сапоги и укрывал всем, что попадалось под руки, однако колотить и подбрасывать едва не до потолка Федора не переставало. Никольша до полуночи удерживал тело, боясь, что, если оно свалится, одному будет не поднять. Штормить эту гору тряпок и подушек перестало лишь на рассвете. Не сомневаясь,

что в человеке скрывается сила «девятого вала», и окончательно выбившись из сил, сын плюхнулся рядом с отцом.

Разбудить утром сына Фросе не удалось, и он пропустил школу. Она приготовила завтрак. Уходя, еще раз взглянула на них: сын тикал ровным будильником, потный Федор — старым, сломанным, с остановками и присвистом. Решив, что к обеду подойдет и посмотрит, ушла: другое хозяйство и Мишаня тоже нуждались в ее руках.

Когда рванули дверь, она вздрогнула — кормила малыша.

— Ма, с отцом что-то случилось. Его срочно в больницу надо! — выпалил с порога встревоженный Никольша.

— Срочно? Почему знаешь?

— Знаю. Ночью с ним такое творилось!

Федор лежал без сознания.

Вторая колхозная полупортка была не на ходу, и Никольша увез его в районную больницу на лошадах. Воспаление легких и лихорадка смертельными диагнозами уже не были, однако нервная и иммунная системы оказались настолько слабыми, что больной целый месяц был на грани жизни и смерти — врачи активно боролись до момента, пока не наступило улучшение.

Осень, разноцветная и разнохарактерная, разгуливая по округе ядерной бабой, и Никольша на велосипеде ездил в больницу каждое воскресенье. Первое время сидел на постели ослабевшего отца молча. Он лежал с закрытыми глазами, но стоило сыну пошевелиться или убраться, что сжимала шершавую, натруженную ладонь, как больной с неммым укором в увядших барвинках¹ тут же размыкал ресницы.

Едва полечало, попросил почитать стихи, что бальзамом ложились на душу. Федор слушал выразительный, но негромкий голос и думал,

¹ Вечнозеленое растение с голубоватыми цветками.

что, несмотря ни на что, все-таки счастлив. Счастлив сыном.

Один раз навестила его и Настена. В редкие с ним встречи она обычно заводила разговоры, что хорошо бы «по новой» жениться — не знал, что Фрося настраивала. После таких свиданий дочь докладывала матери, что «толку от разговоров никакого: отмолятся, как в саду отсидится».

Федор нравился соседке Настены, потерявшей на войне мужа. Две женщины, молодая и постарше, часто вели долгие разговоры про семейную жизнь и убеждали друг друга, выражаясь газетными словами, в «оздоровительном факторе семейной жизни».

Сегодня, как только на широком пороге с двустворчатой дверью вырисовались две женские фигуры, Федор улыбнулся их нехитрому тайному умыслу. Умысел веселил, но принять его он не мог: ни одна женщина в деревне (а может, и в мире) не могла сравниться с Фросей, матерью его детей.

Настена поцеловала пушистую щетину небритых щек и принялась рассуждать, что он «не поберег себя». Соседка тут же подхватила, и получилось, что Федор «и питался ненормально, и не высыпался, а отдыху так вообще никакого — одна работа». Слова ложились на душу веселым калейдоскопом, и он начал внимательнее присматриваться к неожиданной компаньонше дочери. Говорила женщина складно, но была, как глист, бесформенная. «Да, Фросю не вернуть, надо как-то пристраиваться», — устало подумал он. Обе, казалось, совсем о нем забыли — говорили больше друг с другом. Наконец, начали прощаться, и Федор попросил Настену задержаться.

— Не приводи ее больше, ладно?

— Прости, пап. Уж больно просилась. Что мне оставалось? Сказать: «Не ходи?»

— В другой раз придумай что-нибудь.

— Ладно. Поправляйся, тебе еще внуков женить.



— Женю. Какие мои годы!

Выписали его к ноябрьским праздникам. Землю к этому времени уже выбелило снегом, и Федор вдыхал аромат бодрящей свежести. Дома ждали его тепло, уют и наваристый борщ — без Фроси.

Управлялся он с Никольшей. По утрам затапливали они русскую печь, ставили внутрь всякие чугуники с тушеной картошкой или каким-нибудь супом, кормили поросенка, давали корове сено и вычищали из-под нее — благо она уже отодилась и Фросе не надо было приходить на дойку.

Федор отдыхал от колхозных дел, но ремонтировать свою полуторку ходил каждый день. Он посвятил, сдружился с сыном, долгими вечерами обсуждал его стихи. Были среди них и о любви — поинтересовался, нравится ли какая девчонка. Оказалось, сын был неравнодушен к черноглазой Марийке, и Федор рассказал ему о своей школьной любви к Фросе.

В воскресенье договорились ехать за дровами. Летом их за речкой напилели для колхозников электропилой, но вывозить причитающуюся норму каждый должен был сам. Снег был неглубоким, и машины по дорогам еще колесили. Река, что протекала за огородами, давно застыла. По льду ездили уже на лошадях, а два дня назад кто-то будто даже на тракторе «Беларусь» проскочил.

Гружеными решили отправиться в объезд, по мосту, а пустыми проскочить по льду. Собирались весело. В кузов бросили веревку, чтобы скрепить дрова, забрались в кабину, и Федор запел фронтальную песню

«Вблизи у озера Хасан». Никольша слышал ее впервые, но простую мелодию запомнил быстро.

— Это что-о, — протянул Федор, — вот если бы твои стихи песнями сделать! Надо над музыкой подумать.

— Давай «Хасан» разучим и вечерами петь будем.

— Давай.

Пели слаженно, в два голоса, все громче и громче:

В боях высот начался жаркий...

— Ты как-нибудь, пап, о своих боях расскажи.

— Расскажу.

Нас вел в атаку комиссар, в боях испытанный Пожарский...

— А все-таки хорошая песня, — не стерпел сын.

— Хорошая, — согласно кивнул Федор и продолжил:

*И часто все любили мы
Вести беседу на привале —
Отцом его считали мы,
Душой своею называли...*

*И вот вчера он к нам пришел,
И объявил приказ почетный,
И с командиром нас повел
На штурм, на приступ пулеметный.*

Вдруг их качнуло и подбросило. Это произошло так неожиданно и быстро, что они ничего не успели сообразить. И лишь когда вода начала просачиваться в кабину, поняли, что лед не выдержал.

Машина погружалась... Они изо всех сил пытались открыть кабину — дверцы не поддавались.

— Сон!.. — крикнул Федор и начал руками бить по лобовому стеклу.

К ногам подступала вода. Вспомнив про железную в ногах рукоятку, которой заводил машину, когда садились аккумуляторы, он нагнулся, пошарил, пригнул к себе голову сына и со словами: «...и тяжелое ярмо рубиновым пятном» — ударил что было силы. Вода хлынула. Запаса воздушной подушки хватило лишь, чтобы крикнуть:

— Сынок, тебе — жить!

Федор сорвал его с сиденья, направил к лобовому стеклу, подтолкнул, и Никольша рыбой выскользнул из кабины. Наверху, держась за кромку льда, он жадно глотнул, выдохнул, отдохнул, чуть подтянулся и выбросил на лед плечи. Страх уйти под воду заставлял держаться. Уперся ногой в противоположную кромку и продвинулся на спине. Полежал, собрался, еще немного продвинулся, затем боком, усилив воли выбросил ноги, покатился перекасти-полем и поднялся.

К вечеру вытащили машину с Федором. Хоронили его в тихий декабрьский полдень всем селом.

Немым укором в увядших барвинках смотрел теперь на отца Никольша; Настена все плакала, что отец не женил внуков; Фрося тихо скулила на плече Петра; соседка Настены громко сморкалась: «Отвоевался ты, Феденька».

г. Берлин



Евгений РЫК



Окончание.
Начало в № 10, 11, 12 за 2010 г., в № 1, 2, 3, 4 за 2011 г.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

47.

Генерал Кононов в своем маленьком кабинете (у всех здесь персональные комнаты, кроме почетного, были маленькими) что-то усердно выписывал из разных книг на отдельные карточки. К нему зашел священник консульства, но понял, что не вовремя.

— Пардон, Алексей Леонардович! — извинился падре.

— Входите, батюшка... вернее, святой отец, так?

— Так. Спасибо. Я, знаете, без всякого дела. Навещаю паству, так сказать, на боевом посту.

— А я, знаете ли, пользуюсь служебным временем для шкурных изысканий, — усмехнулся Кононов. — Пишу таблицу наших разногласий с Британской империей.

Священник не удивился, знал страсть генерала к разным статистическим курьезам.

— Вы о левостороннем движении или о высылке из Лондона ста четырех советских дипломатов в середине семидесятых?.. Или, пардон, вы о разногласиях Грейт Бритен с нашей Тонгой?

— Нет, упаси бог. Я о метрических системах. Всяких там ярдах, футах и дюймах.

— Алексей Леонардович, должен вас огорчить, что слово «дюйм» не английское, а голландское, и означает «палец».

Генерал не сдавался:

— Но ведь они им пользуются!

— Да. Ну и что? Это даже романтично, согласитесь, приятнее, когда сказочную девочку зовут Дюймовочкой, а не какой-нибудь занудной 2,54-сантиметровочкой!

— Соглашаюсь, приятнее. В сказке. Но ведь уже весь мир перешел на движение правостороннее и на метрическую систему. Даже бывшие британские колонии, вроде Штатов и Канады.

— Ну, это дискуссионно: Австралия ведь или Япония та же — не перешли. Да и в Штатах больше в ходу фаренгейты и ярды. Вы над этим работали?

Генерал самодовольно потянул-ся в кресле.

— Да, составлял таблицу. Хотите взглянуть? — и уже сам протягивал листки пастору. Тот разглядывал аккуратные столбцы, доказывающие, что русский штык — молодец, а английская пуля соответственно дура.

Денежная система Великобритании состоит из: фунта стерлингов, который равен золотому соверену (чеканился с 1816 года). Соверен заменил гинею (чеканилась с 1717 года), которая была равна 21 шиллингу. Шиллинг = 12 пенсам, что составляет 1/20 фунта стерлинга. Фартинг (чеканился до

1968 года) = 1/4 пенни. Пенни равняется 1/109 фунта стерлингов (до 1971 года) или 1/240 — нынче, или 1/12 шиллинга...

— Представляете, Геннадий, как надо было высчитывать 1/21 фунта на шиллинги? Или 1/12 шиллинга по пенсам? А также 1/109 (sic!) пенни на фунт... Кем надо было быть для этого? Ньютоном?

Пастор продолжал читать сопоставления дальше:

Английский мерный фунт = 0,45359237 кг

Русский фунт = 0,40951241 кг

Английский фут = 12 дюймам = 0,3048 м

Русский фут = 1/7 сажени

Английская морская миля = 1,853 км

Русская морская миля = 1,852

сухопутная = 1,609 км

сухопутная (уставная) = 7,468 км

Англ. линия = 1/8 дюйма =

0,21167 см

Русская = 10 точкам = 2,54 см

Англ. точка = 1/72 дюйма =

1/8 линии = 0,3528 см

Р. = 1/10 линии = 0,25 мм

— Да... Алексей Леонардович...

— Вы дальше читайте! — сатанински улыбаясь, произнес генерал.

Священник очумело читал дальше:

— Ярд — это 3 фунта = 0,9144 м;

пинта = 1/8 галлона = 0,568261 ку-



бического дюйма; русская сажень = 3 аршина = 7 футов = 2,1336 кубического дюйма; золотник = 96 долям = 4,266 г; английский бушель = 36,3687 квадратного дюйма; бушель американский — 35,2993; галлон английский = 4,54609 кубического дюйма; американский = 3,78543 кубического дюйма...

— Каково!

— Впечатляет, — согласился священник Геннадий. — Знаете, Алексей Леонардович, я бы на вашем месте всю эту арифметику преобразовал бы в занимательные задачи.

— Не понял, — подумал генерал.

— Ну, что-то вроде... «Дано: один англичанин при росте 6 футов 9 дюймов и 5 линий; один американец, имевший 4,5 бушеля сорго; один русский шириной плеч 1,1 косой сажени (сажень косая = 2,48 м; сажень маховая = 1,76 м) имели на троих русских денег — 3 алтына; американских — 1 дайм; британских — 14 пенни, 8 фартингов, 3/4 шиллинга, 0,25 золотой гинеи и 1,26 современного фунта стерлинга, решили купить 7 галлонов чистой водки, 12 фунтов (английских) хлеба, 47 русских фунтов икры и 3 пинты пива “Гиннес”.

Спрашивается: не поехала ли у них головка, при том что температура тела у англичанина была 73 градуса по Фаренгейту (равна 1/180 разницы температуры кипящей воды и таяния льда или 5/9 по шкале градусов Цельсия), у американца — 29 градусов по школе Реомюра (5/4 шкалы Цельсия), а у русского была обыкновенная белая горячка, “белочка”?

Они прошли в центр Лондона, где по улице наркома Литвинова (у которого, кстати, жена была англичанкой!) дошли до американского культурного центра, прошагав при этом расстояние в 498 саженей = 1,0654 км и 24 вершка, равных каждый 1,75 дюйма, или 4,45 см.

При этом надо учесть следующее условие: что сила тока в электросети магазина “Харродс”, где они хотели

совершить покупки, была в рыбном отделе на 2 ампера больше, чем в винном отделе, а в хлебном мощность падала на 12,5 ватта».

— Как вам?

— Особенно понравилось про белую горячку, — недовольный вечным комикованием пастора, ответил генерал и присмотрелся к тому взыскательным взглядом, вырвав листки из лап самозванца.

— А что это вы, уважаемый Алексей Леонардович, так на англичанцев взъелись? Спокойные нынче люди, империя и империализм позади... Вы там бывали? Ну да, я так и понял... Кстати, единственная страна на континенте, жители которой не обязаны иметь при себе никаких документов. В отдельных случаях удостоверить личность может даже письмо с адресом, присланное вам. Или счет, например.

— Из вытрезвителя?

— Это... гм... замечание посвящает мне? — мило улыбнулся Лысый.

— Нет, так... вообще. В свете ваших математических экзерсисов. Так, значит, вы шли себе, шли... — грубо намекнул пастору генерал.

— Понял, понял, ваше высокопревосходительство, и удаляюсь, благословив, — шутовал Геннадий, закрывая за собой дверь.

«По-олный мудака!» — зло подумал о священнике Кононов.

Надо ли сообщать читателю, что пастор подумал о генерале в тот же самый момент?

48.

«Девушка и смерть» — вещица по сильнее, чем «Фауст» Гете. Здесь любов (без мягкого знака) побеждает смерть.

Иванов

Писатели — это инженеры человеческих душ.

Петров

Маяковский был и остается величайшим поэтом нашего времени!

Сидоров

Водитель Витя привез Рувима Ивановича к посольству Аргентины, что на Садовом кольце. Рувим кивнул милиционеру в капитанских погонах на улице, вошел в подъезд и доложил привратнице, что он в консульство республики. Ленивая совслужащая привычно кивнула: «Третий этаж» — и нажала на кнопку автоматического замка двери. За дверью был лифт, Рувим доехал на нем почему-то не до третьего, а только до второго этажа, вышел, спустился по лестнице до полуподвала, откуда черная дверь выводила его во двор посольства, к гаражам. В каменном заборе за гаражами была неприметная и почему-то незапертая калитка. Рувим через нее попал в еще один проходной двор, а оттуда в Ворониковский переулок столицы. Там стоял микроавтобус «тойота» с задернутыми шторками, номера на нем были желтыми — прокатная машина для интуристов.

— Шалом! А ваш святоша оказался писателем, — без всяких предисловий начала девушка, что когда-то наставляла Рувима и Витю в темном переулке.

— Ну и что? — невозмутимо ответил ее гость. — Мы там все писатели. Я сам столько бумажек в день...

Но барышня остановила вечного скептика:

— Он не просто писатель, а член Союза писателей. Вот что мы у него нашли.

— Это что? «Война и мир», «Муму»? — переспросил Р. И., глядя на толстую тетрадь в дамских ручках.

— Это его дневник.

— Интересно?

— Как сказать...

Рувим продолжал капризничать: — Сейчас эти союзы ничего не значат. Я вам куплю бумажку любого, хоть академика.

— Да нет, не все так просто. Что-то мне кажется странным, что на одной свалке работают учитель, чекист, писатель...

— Там им самое место.

Девушка его даже не слушала, стала рассматривать свои ногти. Рувим тут несколько занервничал:

— Я вообще-то просто так сказал... Что же в дневнике?

— Наши читали и очень смеялись — он талантливый. Юморист.

— Например...

Девушка открыла текст перевода: «...Жена и очки — вот что защищает интеллигента от цивилизации».

— Ха, он такими каламбурами каждый день сыплет. А как же он оказался на помойке? Там нет?

— Есть, как ни странно... И это меня настораживает — не подстава ли этот дневничок. Вот он пишет: «Оказаться на дне можно и без дурачка Горького. Просто однажды ты приходишь в бухгалтерию и узнаешь, что на тебя там лежит исполнительный лист. Неприятно? Конечно. Если при этом ты о своей бывшей жене старался вообще не думать. Ребенок? Ребенок — да, сколько можно и когда можно...

Но почему государство решило выдавать бывшей матери 25% моих гонораров? Наш самый знаменитый поэт СССР Евгений Х. нанимал даже юрисконсульта Московской писательской организации СП, чтобы тот не допустил выплаты на малолетнего ребенка четверти его ежемесячных гонораров. Адвокат надрывался в суде Ждановского района столицы, что у Евгения Х. в месяц набегают до десяти тысяч рублей (тут судья и присяжные рухнули в аут) и выходит, что бездельнице будут перепадать тыщи — зачем ей, товарищи, тогда работать? Как же мы с такими иждивенками построим коммунизм?!

Не помогло. Тогда Союз советских социалистических писателей задумался над жизнью: как бороться с подобными хищницами? Старое поколение этот вопрос не интересовало, они спокойно себе доживали со своими тамарпетровнами век. Молодых литераторов — тоже, кроме тетрадки стихов, у них за душой ничего не было. Но вот среднее живчиковое население творческого союза этот вопрос крепко беспокоило.

Сначала было еще ничего. Ну что могла знать разведенная жена? Про гонорары? Ну, издательства... Их в Москве не так-то и много. Есть писательский профсоюз — Литфонд, там, бывало, что, кроме путевок, выдавали и материальную помощь. Бюро по пропаганде советской литературы? Да, это болевая точка: с путевками БПСЛ можно было неспешно собирать в житницы — 45 минут = 15 рублей = ужин в ЦДЛ. А три выступления в день? Удар, что и говорить... Самое страшное для прилично пьющего, разведенного литератора и не секретаря правления — это исполнительный лист (далее — и/л) в бухгалтерии Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП). Сберегательную кассу № 0247, что находится в подвале дома в Лаврушинском переулке, 17/19, знают только посвященные: там выплачивают гонорары за издания. Суммы бывали такие, что бюджет иного малого городка мог бы позавидовать. И/л в ВААП — это хуже туберкулеза для платящего алименты писателя. Но, как справедливо заметил один государственно-политический руководитель страны, писатели — это вам не какие-нибудь рабочие, техники или старшие техники человеческих душ, а вот именно что инженеры. Отложила твоя экс-благоверная, как муха-дрозофила, свои листы во все известные бухгалтерии, но умный и бедный литератор изобретал все новые адреса и способы получения гонораров в обход этих подлых флажков. Например, принципиально никогда он не получает денег через сберкнижку — это доказательство увливания от отцовского долга. Можно, конечно, нанять подставного человека и получать на него все деньги от халтуры. Но с человеком то тоже тогда надо делиться, а кроме всего этого, у подставного такие знания реалий — хороший способ для шантажа; либо — когда гонорар тысячный — бедного родственника можно с теми деньгами и не найти...

Здесь члены СП СССР выработали такую тактику: искать места новых “водопоев” и разрабатывать улучшенные методы получения денег в бухгалтериях.

Увы, бывшие жены тоже быстро скооперировались, узнавали почти все хитрости. Например, в стране было двадцать киностудий, где производили художественные фильмы. Одни разведенки для верности рассылали с уведомлением о вручении письма со своими гнусными и/листочками всюду, включая и Ялтинскую киностудию, которая была лишь филиалом Московской, имени Горького. Другие обходились централизованной бухгалтерией Госкино, через которую проходили все контракты и договоры.

Постепенно петля стягивалась: пали студии документального и научно-популярного кино, мультипликации и Бюро по пропаганде советского киноискусства. Какую-то гадину надоумили про мою главную кормушку — студию “Диафильм”... Прощай, халтура! Эти крысы протоптали дорожки к финансовым законам Министерств культуры СССР и РСФСР, Госкомиздата, Комитета по телевидению и радиовещанию, редакциям газет и журналов...

Писатель все еще не сдавался: а настенные отрывные календари? А военное издательство, которое справок не дает, а?! Наконец, многочисленные республиканские автономии: поди-ка поищи мои деньги в Киргизии или в Корякском национальном округе!

Но жены, которым делать было не фига, сделали из вышибания денег от пишущих б/супругов вид спорта: они по спискам Госкомиздата рассылали письма во все, что дышит, — в областные филармонии и районные радио, в городские отделения общества “Знание” и литературные кружки...

Бывшие мужья стали брать псевдонимы. Бывшие жены их разоблачали.



Бывшие мужья старались из-даваться за любой границей. Их подлые бывшие половины — кидать заявления во Внешторгбанк...

Оставались еще лазейки, но тут вдруг стали “гибнуть” члены КПСС: в стране возможно было все, кроме утаивания партвзносов. Достаточно было жене выяснить, с каких сумм платит благоверный мзду партии, как эти сведения тут же летели к судебным исполнителям. Писатели-коммунисты, как могли, выкручивались, они стали переходить на партучет в малочисленные организации редакций журналов или прямо-таки в жилконторы, это разрешалось... Но борьба была неравной...»

Рувим мелко подсмеивался:

— И какой же вывод из его писательства?

— Самый простой. У него где-то есть ребенок.

— Возможно.

— Он нам нужен.

У Рувима Ивановича медленно, как в кино, стала падать челюсть.

49.

В понедельник, наделав тихого ужаса у служащих, в консульство явился средних лет дядька в военформе младшего лейтенанта. Он козырнул помощнику, секретарше и машинистке. Достал из потертого портфеля опечатанный сургучом пакет и заставил помощника расписаться на отрывном талоне к нему с приложением печати. Затем снова козырнул, развернулся лихо, по-гусарски, через левое плечо, и тут же упал. Фельдшер был тяжело пьян. Поднявшись, он тем не менее удалился из приемной строевым шагом.

На конверте не было имени адресата, только какие-то загадочные цифры и буквы: «№ 287/7 ТН-Щ. Совершенно секретно».

Пакет лег на стол почетного. Тот, удивленный не меньше своих подчиненных, распечатал кон-

верт. И сразу его ошарашили две позиции: гриф и сопроводительная записка. Бланк назывался «Служба внешней разведки Российской Федерации». Ниже стояли реквизиты отдела, номер выписки, количество экземпляров.

Записка же не вязалась своим весельем с мрачностью казенной бумаги и гласила: «Мишка-падла, вот так друзья для тебя стараются! А ты станешь говенным кандидатом наук — забудешь, как нас и зовут. Целуем тебя прямо в научную задницу, твой по гроб дружки — Буня и Буля».

Михаил Васильевич теперь твердо был уверен, что это письмо от Геннадия. И почему-то на него разозлился, приказал вызвать пастора к себе в кабинет. Пока того искали, Никитин рассматривал пожелтевшие бумажки с ужасными словами: «Строго секретно», «Подпись на конверте», «Только по принадлежности» и тому подобные страшилки. В пакете было несколько десятков листков разного размера, со следами дыроколов. Что-то было отскерокопировано, а что-то было в подлиннике и написано на очень пожелтевшей бумаге фиолетовыми чернилами.

На интерес консул взял рукописные странички.

«...По донесению агента Ильза, разведорганы Финляндии состоят из следующих подразделений: Карельское академическое общество (КАО, АКС), адрес — Гельсингфорс, Техтаанкату, 5; Ингерманландский комитет, г. Мариенхамн (Аландские острова), Нора Эспланаданкату, 10; Шюцкор (Суелускунта), Гельсингфорс, Вуорими-ехенкату, 5.

Наши секретные сотрудники, внедренные в эти разведорганы противника с 1922 по 1938 г.».

Никитин отложил листок, взял другой.

«...Приговорены к высшей мере наказания сотрудники разведки и контрразведки ОГПУ — НКВД за шпионско-диверсионную деятельность. По секретному спи-

ску высшего состава ГУГБ НКВД СССР в разные годы:

1. Нач. УПБО НКВД ЗСФС комбриг Широков.

2. Нач. Погранвойск НКВД АзССР комбриг Никольский.

3. Нач. УПО и полномочн. пред-ль ОГПУ в Средн. Азии Бабкевич.

4. Нач. ГУ ПОВ ОГПУ Вележев.

5. Начальники Отд. ГУПВО НКВД:

май 1937 — комбриг Ульмер

янв. 1938 — комдив Кручинкин

март 1938 — комбриг Шугинин

апр. 1938 — комбриг Петров

дек. 1938 — НПВВ НКВД СССР комдив Ковалев».

— Что за бред?! — удивился бумагам почетный консул Тонги, но продолжал их листать дальше.

«...Оперативными силами закордонной разведки выявлены резиденты иностранных государств на территории СССР, скрывающиеся в настоящий момент от органов государственной безопасности, в частности:

Польша — подэкспазитуры 2 отдела Штаба Генерального надпоручик Гжегож.

Маньжоу-Го — генералы в Нанкине — Дин Чао, в Харбине — Си Ся.

Эстонии — капитан Эйк, зам. нач. 1 Служб в Кайтселиит.

Латвии — лейтенант Стрыя, общество “Айз-сарги” (женский отдел — “Айзсардес”).

Персии — Ибрагим-бек и Джунаид-хан (против Туркмени).

Турции — п/п-к Департамента госбезопасности Эмин-бей и капитан роты диверсантов Кизил-Чазхакского погранбатальона капитан Селю (против Грузии и Армении).

Монголия-Тыва — помощник бея Алараш-Ар-дынской группировки. Пешков (против Казахстана и Сибири).

Афганистана — бывш. министр эмира Бухары — агент английской разведки в Мешхеде Мирбадалиев...».

Консул просмотрел с любопытством и другие листки. «Но зачем

Геннадию этот маскарад и где он достал бланки, печати, старую бумагу? Что за мистификация?»

«...Нелегальный агент СО ОГПУ СССР в Китае Кульбаченко 26.09.29 выстрелом в сердце убил своего платного осведомителя Шишкина. Был схвачен японцами, приговорен к смертной казни через отсекновение головы. Казнен...»

«...Сводка по списку № 2 (приложение “Восток”):

Нами ведется разработка бывших высших и старших чиновников Временного правительства России, правителей Средн. Аз. ханств и буржуазно-националистических партий, проживающих в настоящее время за границей и ведущих антисоветскую подрывную деятельность, в частности:

Верховный представитель эмира Бухарского в Лондоне генерал Шукимваев.

Высш. чиновник Кокандской автономии, представитель Керенского — Мустафа Чекаев.

Высш. чиновник Хивинского хана по пропаганде и диверсиям — Караджа-аксакал.

Глава аджарского правительства в Карее (Турция) Селим-Бек Хихиашвили.

Глава полицейского управления Трехречья (Хайлар) — бывш. царской гвардии полковник Куклин...»

Наконец в кабинете появился веселый священник.

— Слушаю вас, сын мой, — с порога перекрестил дипломата падре.

— Геннадий, что это за ерунда? — совсем не добрым тоном перебил его Никитин и бросил перед ним на стол листки.

Священник бегло их пересмотрел и удивился не меньше почтенного:

— Зачем это вам? Откуда...

— Вы хотите сказать, что это не ваша работа?

Консул и лютеранин удивленно взирали друг на друга. Молчание первым прервал Лысый, но почему-то вдруг севшим голосом и полупшепотом:

— И в мыслях не было... Да вы понимаете, Михал Василич... Это же ведь *настоящие!*

— Что значит...

— А то и значит! — жестко произнес пастор и очень-очень нахмурился. Оглядел еще раз конверт. — Вот черт! Как же его к нам занесло? Вам еще никто не звонил?

— Нет, Геннадий...

— Стоп! — перебил его непривычно сурово обычно жизнерадостный международник. — Я заберу эти бумаги к себе и сам разберусь с их адресатом. А вас, ваше превосходительство, очень-очень прошу о них никому ни звука. Ясно?

— Ясно, но почему их мне прислали?

— Видимо, ошибка... Вы все читали?

— Нет, конечно, так, полистал. Это, как я понимаю, просто архив?

— ТАМ не бывает «просто архивов». Это все работает и сейчас! Боже, что творится в стране?

Лютеранин от волнения перекрестился по православному обряду.

50.

В квартире генерала Кононова раздался звонок в дверь. Генерал ждал посетителя и дверь ему отворил. На пороге стоял человек без особых примет. Впрочем, наружная служба наблюдения и должна из таких состоять. Он протянул Алексею Леонардовичу плотный пакет, генерал только кивнул в знак благодарности и закрыл за пришельцем врата.

В кабинете, спокойно разрезав ножницами бечевку, Кононов вытащил из конверта небольшую тетрадку. Без заглавия, начала и конца. Просто в столбик были выписаны писательские причуды Лысого — вот и весь его литературный дневник. А разговору-то было! Одних денег на его находку сколько угрожали... Чтение продолжалось минут двадцать, но не дало ровным счетом никаких видимых результа-

тов, как то: закодированные тексты, номера телефонов, адреса и прочее. Да судите сами:

«И сказал Он: идите к фемиклийцам и скажите им: крысы вы позорные, фемиклийцы!

Это наш Главный перец на этой грядке! Виноват, виноват — если ты не за “Спартак”!

— А из нашего окна площадь Красная видна!

— А из нашего окошка только улицы немножко...

Адрес прежний: Белый свет, неизвестный сельсовет.

Ты уже не мальчик, юный барабанщик...

Что-то у меня разболелась западная лапа. Красная звезда — мчатся поезда, Ленина со Сталиным обманывать нельзя!

— Ты что здесь прятался? — спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома, — тихо ответил Архип, запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонче и ходить...

Но старость ходит осторожно / И подозрительно глядит...

И все равно: надежда им лжет детским лепетом своим.

Повар-окультист заявил, что только эстеты — гомосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма.

Жена убита за привычку читать вслух дорожные надписи во время совместных автопрогулок.

Все мы актеры анатомического театра.

В случае неудачного исхода операции... (Генерал на этом месте поставил птичку.)

Возвращение блудных родителей.

— Мне не нравится твой галстук!

— Но ведь это ты мне его подарила.

— Ну и что?!

— Ты как десятая строчка сонета — не рифмуешься ни с одной другой.

Скромность — мать всех пороков.

Ответим на красный террор белой горячкой!



Израиль — большая страна, так как? Если бы он был маленькой, то звался бы Изя.

Увы! Толстые умеют лучше на этом свете обделывать свои дела, нежели тоненькие.

Какие ручки — такие и приучки.

Сперва людям, потом бл...м, потом матросам.

Фотоальбом “Алмазы и говно”.

Он уже получил свой контрольный пакет акций. В голову. (Генерал написал: “Кто?”)

Шинель — это всего лишь, оказывается, пальто.

Где в Монако “места не столь отдаленные”?

Дикая пропасть между “изменниками” и “предателями” Родины... (Вторая галочка.)

Хочешь, убью? Впрочем, сам выбирай...

— Ишак!

— Сам ты ишак!

— Значит, в автобусе уже два ишака...

“...Российской Федерации, переименовать г. Тольятти в г. Муссолини”.

Слепит, но не зреет.

В утренней электричке понимаешь: действительно, народ и партия едины.

В трудовой книжке царя только 2 записи: родился и умер.

29 февраля — день св. Касьяна.

Антиквар — это просто разбогатевший старьевщик.

— ЮНЕСКО... Это что, румын?

Зверосовхоз “Красная чернобурка”.

Каково звучит: “Товарищ полицейский...”?!)

Серия книг “Слишком пламенные революционеры”.

Хорошие девочки попадают в рай, плохие — куда угодно.

Рабочий язык научной редакции книг по философии — мат.

Жаркий спор, где жара было больше, чем спора.

В. И. Ленин о директоре Петербургской лаборатории Главнефтекома профессоре Тихвинском в сентябре 1921 г.: “Он не случайно

арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга”.

Единственная причина того, например, что вы не гремучая змея, состоит в том, что ваши родители не были гремучими змеями.

К другу: “У нас с тобой пороков множество. За исключением мужеложства”. (Резюме: “Проверить!”)

Если в твой дом пришло несчастье — поставь ему стул, чтобы оно не бродило по дому.

Муха цеце и пистолет ТТ. Выступление покойного маршала с духовым оркестром.

На осинке не растут малинки.

— На вторую платформу четвертого пути прибывает бронепоезд дружбы. Повторяю...

Номер в гостинице длинный и узкий, как гроб баскетболиста.

Юмор — это в конце концов разум.

У парашютиста и прыгуна с шестом совсем разные взгляды на проблемы высоты.

Если скажешь правду, то все равно рано или поздно попадешься. (Кононов поставил рядом жирный восклицательный знак.)

Лучший способ избавиться от искушения — поддаться ему.

Так не грусти тогда, мой милый, и драм пустых не создавай...

Голос у него ну как у певца после драки. (Генерал начертал резолюцию: “Глупо и не смешно!”)

Никогда не откладывая на завтра то, что можно вообще не делать.

Превратим идеи в лозунги!

Самая знаменитая глава в мировой литературе — 7-я Четвертого сна Веры Павловны: два ряда точек.

Люди, не любящие сплетен, обычно не интересуются своими близкими.

Когда ходишь на кладбище, то хоть в одну сторону ничего не несешь.

Ссориться мы уже научились, а мириться еще нет.

— Любит эта бикса рассказывать (передразнивая): “Этими тихими арбатскими переулками я задумчиво ходила на лекции в Московский уни-

верситет...”. Глянули в профсоюзный билет: Ивановский пединститут!

Некрасов и Дзержинский — одно лицо.

Они хотели ее пересестрить!

Все ваши рассказы, как Голландия, находятся ниже уровня моря.

Половая связь сегодня — акт доверия.

Назови мне прилагательное к слову “валенки”!

Лев Толстой — сыну:

— Кем бы ты хотел стать?

— Великим писателем, папа.

— Ничего у тебя не выйдет, когда я был в твоём возрасте, я хотел стать Богом, а получилось — вот что...

Маленький зеленый друг — доллар.

Поставь чай для кофе!

Служебный ход художника...»

Здесь записи обрывались. «Нет, видимо, все же придется побеседовать с нашим лютеранином лично, — решил генерал. — А тетрабочка-то может в этом разговоре оказаться нелишней».

51.

В дверь постучали, а вслед за этим и зашли администратор Виктор Галамтер и Г. В. Лысый. Их уже ждало здесь, на даче Рувима, молчаливое общество ближайших сотрудников и добрых самаритян со стороны — всего человек пятнадцать. На столе ни намека на закуски. В «зале» была только одна женщина — Вика, но никаких записей она не вела, а сидела вместе со своим папой и Тамбовцевым на диване. Остальные гости раскинулись кто на чем. Посредине комнаты стоял стул, нетрудно предположить, что тот, кого на него усадят, будет давать отчет. Так всегда, как правило, и бывает: на парткомиссии, у Папы Римского или «Коза ностры». Кто попадает на стул посередине комнаты — тому не позавидуешь. На стул попал именно наш священник и тут же не позавидовал сам себе, ибо воображение имел достаточное.

Конечно, синклит молчал, молчал и пастор. Сейчас ни наглость, ни жалость, ни ирония его спасти не смогли бы: против каждого из трибунала персонально он был боец, но против всех — только свиная отбивная. Хорошенькое словцо!

Все собравшиеся тоже молчали и молча же рассматривали пастора, как будто его раньше никогда не видели. Как лютеранин ни храбрился и несмотря на то, что на улице жара по-ноябрьски отступила, на блестящих местах его головы и лица заблестала испарина. Зрителям этот симптом понравился, хотя нервная и иммунная система любого пьющего индивидуума способна дергаться по любому поводу.

Молчание неприлично затягивалось; Мише Смоку, например, на подоконнике было неудобно, но и он не решался задать своему коллеге по дипработе пару вопросов, хотя очень хотел. Негласно лидерство в комнате принадлежало Бате, генералу Забелину, — на нем скрещивались вопрошительно-понукавательные взгляды собравшихся. Но Батя не торопился. Как пишут в пособиях для курсантов школ НКВД, «подследственный должен проникнуться идеей своего задержания или ареста».

Когда генерал решил, что Лысый проникся, Акелла начал свою песню:

— Лысый, Геннадий Владиславович, 1955 года рождения, место рождения город Берлин, ГДР. Русский, бывший член КПСС, образование высшее: факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений. Семейное положение... Как?

— Холост, — ответил кюре.

— Ой ли? Не-ет, так не пойдет, так в наших анкетах не пишут!

— Но я не женат, — парировал Лысый и все же усмехнулся: — Да и сан не позволяет.

Никто, и Забелин в первую голову, на эти ерские штучки не среагировал.

— В наших анкетах пишут — разведен.

— Ну, разведен...

— Дети?

— А что здесь происходит? Конгрегация по делам вероучения? Суд инквизиции? Допрос у Торквемады?

— А хотя бы, — спокойно произнес Забелин. — Так что с ответом?

— Это вас не касается! Если желаете — я сейчас же сниму эти причиндалы. Хватит, наигрался.

— Это верно... — раздумчиво вставил Викин папа.

— Да чехо там?! — закипел архивариус консульства, но его-то Забелин мог перебить (папу — нет):

— Тише! Геннадий, вопрос задан.

— Ответ получен, — злился Лысый. — Комедия закончена, я возвращаюсь на свалку.

— Это еще заслужить надо! — встал со своего места Тамбовцев.

Священник пожал плечами:

— Думаю, с паханом я смогу договориться...

Тут оживился Швецов:

— Это хорошо, ваше преподобие, что вы про него вспомнили. Мы хотели чуть попозже... но раз уж к слову пришлось... Ребята! — скомандовал он.

Через несколько минут какие-то незнакомые «ребята» втолкнули в комнату пахана. Трудно теперь в этом избитом до черноты человеке было признать прежде надменного хозяина свалки и человеческих душ на ней. Руки у него были скованы за спиной наручниками, и сам он еле держался на ногах. Ему подставили табуретку. Он на нее упал. Священник посмотрел мельком на пахана и отвернулся; глаза того были закрыты.

— Тихонов, — скомандовал пахану Забелин, — просыпайся! Станция «Павелецкая»-кольцевая, приехали! А ну, повтори-ка нам историю вашего знакомства.

Но пахан только молча сглатывал слюни, мелко вздрагивая. Громко дышал носом.

— Давай, давай, хуже уже не будет, — подбадривал его экзекутор. — Ребята!

Один из «ребят» прошелся по спине «главпомойкина» короткой

дубинкой, тот дернулся и раскрыл глаза.

— Воля лучше боли, — неожиданно произнес другой генерал — Кононов.

— Во-во, — подтвердил, глядя на него, арестант, — а еще говорят: «Согнись дугой — станешь другой». Привет, Лысый!

— Привет, пахан...

— Так, значит, признали друг друга? Вот и отлично, вот и начало есть для разговора. Как ты, Тихонов, с ним познакомился?

— Я ж говорил...

— А ты повтори, не стесняйся.

— За него слово замолвили...

— Давай, давай! Кто замолвил?

— Опер из духовки.

Неожиданно в разговор вмешалась непосредственная, как «Пионерская правда», Вика:

— Фу! Он из милиции? А я-то себе думала...

— Цыц! — кинул ей кирпич генерал-председатель, но опамятовался папа и добавил уже мягче: — Подожди, Викуля. Из местной духовки?

— Не... центровой.

— С Петровки, 38?

— Не в цвет!

— Из министерства?

— Да. Дайте воды...

Ему дали.

— Ну давай, Тихонов, дальше вспоминай. Как его короновали?

— Никак, сказали, что придет человек от Александра. Чтоб не гнал. Больше ничего.

— Ничего?

— Все.

Генерал обратился к пастору:

— А теперь вас послушаем, уважаемый.

— Ерунда какая-то, не знаю никого Александра... Кроме вас!

Генерал нахмурился, а все присутствующие почему-то вдруг пристально обернулись в его сторону. Забелин зыкнул:

— Ребята!

— Стоп, ребята! — приказал Викин папа. — Еще не время. Лысый, вы так не шутите с Александром Семе-



новичем, он этого не любит. Вы из центрального аппарата? Из разведки МВД?

— Господи упаси!

— А откуда?

— Я сам по себе.

— Еще один неправдивый ответ — и превратитесь во второго Тихонова. Лысый, — предупредил пастора Тамбовцев, — мы тут нервничаем...

Неожиданно голос подал поднимающий фиолетовое лицо пахан:

— И среди святых много кривых...

Пастор нервически засмеялся, его поддержала только жизнерадостная и неглупая Вика, остальные заворчали, как недобитые немецко-фашистские псы.

Задал вопрос генерал Кононов:

— Геннадий Владиславович, вы не из ФСБ, не из СВР и не из военной разведки. Это нам точно известно. Что же остается? МВД, Служба охраны, ФАПСИ, пограничники, налоговая полиция?

— Прокуратура еще, — добавил молчавший до сего момента консультант Валерий Романов.

— И все остальные разведки мира, — дополнил помощник консула Сергей Августян.

— Ну, будем надеяться, что хоть до этого дело не дошло, — с сомнением покачал головой Кононов. — Не так ли, Лысый?

— Так ли. Никакие разведки, милиции и полиции меня не интересуют. Как, видно, и я их: живу, никого не трогаю, починаю примусы.

Журналист начал оклемаваться в жесткой атмосфере допроса, и по привычке его потянуло юморить. Однако все остальные веселости подследственного не разделяли. Меньше всего среди присутствовавших хихикать хотелось изуродованному пахану.

— Брось, Лысый, будут пытаться тебе не вынести — ты на угольном факультете не учился, расскажи им...

— Что такое «угольный факультет»? — невинно поинтересовалась Вика.

Пахан на нее даже не посмотрел, а ответил Миша Смок:

— Шахта в тюрьме.

— Ну, Геннадий, вы слышали добрый совет? — спокойно уже переспросил международника генерал Забелин.

— А что я могу сказать?

— Значит, не услышали... Ребяты, в подвал его! Но чтоб мог говорить!

Ребята сзади навалились на Лысого и очень умело защелкнули на завернутых за спину руках браслеты. Рывком подняли священника на ноги и задрали его сброшюрованные руки вверх, отчего пастор согнулся пополам и взвыл:

— Стойте!

— Стойте, — распорядился и Забелин. Лысого привели в прямостоящую позицию. — Говорите.

— Old fart... — пробормотал Лысый себе под нос.

— Что-что? — не понял генерал-инквизитор.

— Он сказал «старый пердун», — мило перевела Вика.

Ничего доброго к себе в этот момент в глазах Бати прочитать бы Лысый не смог.

— В поединке охотника и зайца победитель очевиден... — грустно вздохнул абсолютно трезвый священник.

— Вот именно, — согласился с ним Викин папа. — Так откуда мы родом?

— Разведка МИДа. Секретариат министра.

— МИДа? — удивился Викин папа, пожалуй, больше всех из присутствующих. — Какая такая разведка МИДа?

— Особая группа советников Департамента стратегического планирования, — выплюнул им в хари Лысый.

Все собравшиеся посмотрели на папу Вики. А тот на генерала Кононова, военачальник еле заметно кивнул. Викин папа кивком приказал посадить Лысого на стул.

— Ну хорошо, такая группа есть. Правда, не думал, что у нее еще и такие функции, но сейчас чего только не бывает... Ладно, ваше задание? —

слегка отринул конспирацию ответпапа.

— Подполковник Швецов.

— Майор, — быстро поправил его подполковник Швецов.

— Да бросьте...

Генералы быстро выбили глазами молчаливую морзянку, и Забелин сказал:

— Ладно, ладно... А почему он? Помойка?

— Помойка ни при чем. Это связано со слежкой: куда он, туда и я. А он до этого вел помощника нашего министра. Его засекли. Наши сами сначала не поняли, что Швецов делает на свалке. Потом обнаружили, что он активно занимается теми машинами, что привозят всякий бумажный хлам из международных организаций, из посольств и из нашего министерства. О таких рейсах ему сообщали. Министр решил, что Лубянка собирает компромат на нарушение в нашем ведомстве секретного режима, на разгильдяйство сотрудников, выбрасывающих документы... А когда узнали про консульство... Это была «Поэма экстаза»! Стравинский!..

— Скрыбин, — спокойно поправила пленника Вика.

— Да-да, верно, — поблагодарил эрудитку шпион.

— Пожалуйста, без зауми, Лысый, — попридержал вдохновение разведчика Забелин. — Ближе к заданию.

Швецов сидел пунцовый под бульжниковыми очами генералов и комическими ухмылками остальных.

— В общем, у нас считали, что вся работа подполковника — это подготовка директора ФСБ к торгу за места в российских посольствах за рубежом.

В допрос вступил Кононов:

— Что-то не вяжется, Лысый. За границей из спецслужб аккредитуются не работники Федеральной службы безопасности, а офицеры Службы внешней разведки или — по военному атташагу — Главразведупра Генштаба. Причем здесь контрразведка? Техническая часть

оперативной работы — это ФАПСИ... Неясно что-то. Темно.

— В посольствах имеются штатные лагуны, которые (по нашим аналитическим прикидкам) хотели бы занять эфэсбэшники. Чтобы быть солидными среди себе подобных, нужно было иметь и свою заграничную службу. Опять же трудоустройство детей... Сами понимаете. Можно открыть на Западе сто своих частных банков или фирм, но ведь только МИД дает дипломатическую неприкосновенность вместе с зеленым паспортом. А под таким прикрытием бизнес значительно спокойней.

— Предположим... — это уже Викин папа. — И что же вы сумели узнать? О работе нашего консульства? Я имею в виду не представительскую надводную часть.

— Лично я — немного. Да это и не входило в мои обязанности. За вами и так следят. Сколько бы людей вы ни привлекли на свою сторону — все одно останутся голодные, с завидующими глазами. А кроме того, министр и президент в Кремле живо заинтересовались нашей... вашей международной активностью. Сами небось знаете, что заграничная деятельность — любимая игрушка большого начальства. Это ведь не сельское хозяйство — всем интересно политикой заниматься: вот они и взяли вас под лупу. Не думайте, что теперь вы можете из страны выпорхнуть — вам всем кран на границе перекроют. Не по себе стали, господа, сук рубить.

Тамбовцев нервно перебил говорящего:

— Что, и сейчас следят?

Тот посмотрел на дерганого секретаря консульства:

— Вероятно... Во всяком случае, не обольщайтесь, что пробежите мимо с собачьим лаем!

— Миша, — быстро обратился Тамбовцев к Смоку. — Как?

— Ото! Все чистяк. У нас крухом типа заставы, сюда не пролезешь. Мы его обшмонали — ничехо. Никаких мажков. Наши держат радиоконтроль —

тишина на Ваханьковском кладбище. Это он понты кидает, нас на пушку берет. Кочумай, Лысый, ты не в библиотеке — здесь пужливых немає.

— Слышал? — зло переспросил пленника Тамбовцев. — Никто тебя не ищет и не защитит. Рассказывай, сука, что успел пронюхать. С подробностями, с деталями, с именами.

— Слышал, — согласился арестованный. — Имена, думаю, вам и так известны.

— Все же продолжим, — предложил Батя-Забелин, — но за этот маленький шантаж придется вас немного поучить. Ребята!

Вика встала с дивана:

— Папа, я пойду на улицу, не могу я слышать этого поросычьего визга!

Папа доброжелательно разрешил.

Ребята принялись колотить резиновыми палками по спине экс-журналиста. Последнее, что он услышал еще до мгновенной пронзительной желтой боли, был крик пахана:

— Прощай, Лысый!

52.

В этот день (обычный, рабочий, ноябрьский) почетный приехал на службу и поразился пустоте помещений. В присутствии работали только женщины в бухгалтерии, на месте была машинистка, на кухне переводчица пила чай со стенографисткой.

— А где... все? — поинтересовался Никитин в своей приемной.

— Сама не знаю, Михаил Васильевич... Ой! То есть ваше превосходительство.

— Да бросьте! — консул Тонги махнул рукой и пошел в кабинет.

Впервые в здании стояла полная тишина: не звонили телефоны, не жужжала оргтехника, никто никого не окликал, не хлопали двери и не приходили посетители.

«А может, они все сбежали? Афера закончилась и дело лопнуло? Не может же быть, чтобы в одночасье все заболели?»

Он нажал клавишу интеркома:

— А где священник? Он не звонил?

— Вообще никто не звонил.

— А бухгалтер на месте? Пригласите ее ко мне.

Через три минуты мадам — вся в мохере — возникла на пороге его кабинета.

— Вызывали, Михаил Васильевич? — впервые попав к нему предъясные очи, спросила она.

— Проходите, садитесь, пожалуйста, — вставая, предложил кавалергард. — Как дела?

— Вы по поводу баланса? Я Леониду Евгеньевичу уже докладывала...

— Нет-нет, я просто так. А кстати, где он?

— Не знаю. Ничего мне не говорил...

Обитая рядом с жуликами, Никитин и сам уже мог сыграть небольшую пьеску-заманку:

— Ах да... Он же скоро должен лететь за границу... Видимо, он в консульское управление с утра поехал. Там, если с утра не приедешь...

Бухгалтер спокойно слушала: не это дело.

— Он у вас деньги ведь под отчет взял уже? — деланно небрежно спросил почетный.

— Нет, не брал. А ему много надо? — без всякого напряжения поинтересовалась главбух.

— Чего не знаю, того не знаю. Там какой-то сложный график переговоров.

— Понятно.

— Вы знаете, мне очень с вами приятно работать!

Господи, какой старый ржавый это крючок — человеческая начальственная лесть. Дети, не верьте ей!

— Спасибо, Михаил Васильевич, — зацвела дама маковым цветом.

Усыпив бдительность мохеровой, Никитин взял из папки какую-то бумагу, надел очки и стал в ней что-то якобы выискивать. Спросил невзначай:

— Если у него там все сложится нормально, сколько мы ему можем дать с собой налички? По максимуму?



— У меня сейчас в кассе тысяч двести долларов, а так... Если срочно снять, то еще тысяч триста можно к после обеда. Надо?

— Не знаю. Позвонит или приедет сам, тогда потолкуем. У вас ко мне какие-нибудь вопросы есть?

— Нет.

— Извините, что оторвал от работы. Кстати, как вам ваша помощница?

— Да вроде... все в порядке.

— Вот и здорово. Ну, еще увидимся.

Вот так. Полмиллиона долларов на расходы. Это только сразу и на ликом. А что же тогда там с инвестициями, ценными бумагами, вкладами за границей?! Любопытно, интересно...

В кабинет вошла бледная Дина:

— Ваше превосходительство, Вики... то есть Виктории... тоже нет с утра, я пока за нее, а тут для вас почта.

— Хорошо, спасибо.

Корреспонденция обычная: приглашения, какая-то анкета, поздравления непонятно с чем... И письмо. Надписано по-английски, небольшой пухлый конверт желтого цвета. Вскрыл, кроме листка с текстом в конверте была пачка абсолютно чистой бумаги. Текст написан на родном языке:

«Друг! В моем кабинете в шкафу Библия. Ключ внутри».

Писал, разумеется, Геннадий, но это «Друг!», ключ... Странно это. Ключ тем не менее вот он, внутри бумажной пачки, и прощупать через конверт его было почти невозможно. Странная булавка кольнула почетного консула. Геннадий с ним до этого так не фамильярничал. Что сегодня за день такой?!

Неторопливо консул поднялся со второго этажа на третий и открыл дверь кабинета пастора. Заперев за собой дверь, включил свет, хоть за окном было светло, нашел на стеллаже книгу. Перелистывая ее на «быстрой перемотке», сразу обнаружил письмо.

«Михаил Васильевич, дорогой, шутки закончились. Умоляю вас поверить мне и засим *срочно* последо-

вать моему совету. Если вы это письмо получите, значит, мы больше не увидимся. Здесь, в комнате, под подоконником приклеен конверт. Там пятьдесят тысяч долларов. Это вам на первое время. *Немедленно* идите к себе, возьмите максимальное количество чистых бланков дипломатических паспортов и с ними, и с деньгами отправляйтесь в Шереметьево-2. Идите в зал VIP, берите билет на ближайший рейс в любую часть света. Оттуда сегодня же вылетайте в Лондон. Далее на Мальту. С Мальты ходят катамараны на Сицилию. На острове берите билет на каботажное судно до Туниса, где селитесь в небольшом (лучше семейном) пансионе. Цены там смешные, а договора об экстрадиции с Россией у них нет. В каждой стране прилета заполняйте новый паспорт на другое имя, а старый уничтожайте. Захватите с собой печать и побольше своих фотографий.

Прошу вас поверить мне. Прощайте, дорогой и симпатичный человек. Г.».

Ошеломленный консул перечитал письмо еще один раз, и состояние беды не только усилилось, но и разрослось неимоверно в его груди. Он как-то сразу понял, что произошло. И очень отчетливо представил, что произойдет скоро с ним.

Жизнь на помойке научила-таки его немедленно реагировать на любую тревогу: Никитин сунул руку под срез подоконника и обнаружил конверт. Там были деньги. Бывший учитель неспешно спрятал письмо и доллары в карман пиджака, погасил свет, вышел и аккуратно закрыл дверь. Теперь нужно было действовать расчетливо и беспощадно. Он механически выполнял все приказы своего друга. Кабинет — сейф — печать — паспорта — карточки: в кейс. Вызов через Дину машины. Тонкое английское пальто — шляпа — кейс — спуск по лестнице.

Никитин уж было совсем собрался садиться в «мерседес», но потом все же передумал.

— Наталья Михайловна, — обратился он к хозяйке главного сейфа, входя в пальто в бухгалтерию и улыбаясь. — Задергал я вас. Но тут вот какие два дела. Во-первых, я сейчас еду в консульское, он мне звонил... Сказал, триста заказывать не надо.

— Хорошо, Михаил Васильевич.

— Сказал, триста не надо, а те двести, про которые мы с вами толковали, надо прямо сейчас. Сделайте быстренько, а то моя машина уже ждет.

Та тут же отдала распоряжение Томе-кассиру. Но по бухгалтерской привычке сердце ее было всегда неспокойно, когда надо расставаться с деньгами, тем более наличными, тем более долларами и такой суммой.

Никитин это учел и сыграл на дамском тщеславии:

— Вы знаете, Наталья Михайловна, мне в МИДе замечание сделали, — отвлекал старый учитель дамочку от подозрительных дум так, как когда-то, бывало, его оболтусы пытались проделать то же на его уроках с педагогом.

— Вам замечание? За что? — купилась дешевке бухгалтерша.

— Понимаете, я вдовец... А по рангу полагается, чтобы в диппредставительстве был женсовет. Обычно его возглавляет первая леди, но... Так что я замминистра предложил вашу кандидатуру. Не будете меня ругать?

— Вот старый сердцеведец!

— Наталь Михайловна, здесь двести двенадцать тысяч, — сосчитала накопец Тома.

— Вам все? — рдея от счастья, спросила Н. М., видя себя уже в роли консулицы со всеми вытекающими отсюда приятными и необременительными заботами.

— Тамбовцев сказал двести. А там уж...

Консул с достоинством уложил деньги в кейс, раскланялся и удалился.

— В консульское управление, — велел он шоферу, повторяя про себя маршрут: «Лондон — Мальта — Сицилия — Тунис... Лондон — Мальта — Сицилия — Тунис...»

Розалия ВАХИТОВА, 12 лет



*Здравствуйте! Пишет вам
мама Розалии Вахитовой.
Розалия сочиняет
рассказы с пяти лет. В последнее
время учителя в школе стали
говорить, что у нее талант,
и посоветовали отправить
рассказы в ваш журнал.
Розалии двенадцать лет,
она учится в седьмом классе
141-й школы г. Уфы.*

С уважением, Гузель Вахитова



КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

1.

Это случилось прошлым летом. Папа пришел домой ужасно усталым и прямо с порога взревел:

— Мать! Кушать!

— Через пятнадцать минут будет готово! — крикнула с кухни мама.

Папа уселся в мягкое кресло, и лицо его приобрело блаженный вид.

— Роза, ты где? Иди сюда! — позвал он меня.

Я подошла к папе.

— Сыграй-ка мне что-нибудь из своих пьесок! — весело сказал он. — «Элизу», например, или «O sole mio», нет-нет... лучше эту! Тот, который Баха!

Я хитро ухмыльнулась и показала папе небольшой листок. Его глаза тут же округлились:

— Пятнадцать рублей за «Элизу»? Тридцать за Баха?!

— Ну надо же мне как-то зарабатывать деньги, — оправдывалась я.

— Тридцать... Сорок... Итого семьдесят рублей! — лихорадочно считал папа. — А если каждый день по семьдесят рублей... Я же обанкрочусь!

— Что поделаться... — сказала я. — Удовольствие стоит денег. Настоящие концерты стоят намного дороже!

— Тогда лучше вообще обойдусь без концертов, — сказал папа.

— Как это без концертов?! А на чем я буду зарабатывать деньги?! Мне нужно больше де-е-енег! А вдруг пока я буду копить, то платье уже ку-у-упят! А оно

такое красивое, белое... Я когда увидела, сразу поняла — мы созданы друг для друга! Я хочу это пла-а-атье!

— Так вот зачем тебе нужны деньги! — догадался папа.

— Па-а-апа! Мне не хватает всего сто рублей! Неужели так сложно дать ребенку сто рублей?! — заыла я.

— Если каждый раз я буду давать тебе по сто рублей, то разорюсь! — заявил он. — У тебя и так полно одежды. Зачем тебе какое-то платье?

— Но оно мне о-о-очень нужно! Очень-очень!

— Если тебе так нужны деньги, иди раздавать флаеры.

— Папа, у меня еще нет паспорта, — мрачно ответила я. — Вот если бы я родилась на год раньше, тогда бы... А-а-а! Ну почему я не родилась на год раньше!

2.

— Что вы тут раскричались?! — сказала мама. — Ужин готов. И, пожалуйста, Роза, будь добра, не кричи, без тебя голова болит.

— Ма-а-ама, папа не хочет давать мне деньги на платье! А мне нужно всего лишь сто рублей! — пожаловалась я. — Мне очень нужно это платье!

— Что поделаешь. В стране кризис. Обойдешься без платья, — ответила мама.

— Ну мама! И ты туда же! А я-то думала, ты поддержишь меня! — упрекнула я. — Мне ведь нужно всего лишь сто рублей! Эх вы, а еще родители называютесь...

Мама залилась краской и строго посмотрела на папу.

— Нет! — громко сказал папа. Он встал с кресла и ушел в другую комнату.

— Ну-у... Если тебе так сильно нужны деньги, — неуверенно начала мама, — то иди на рынок продавать фиалки!

— Фиалки?!

— Ну да, а то у меня их слишком много развелось. Я давно уже об этом думала... Почему бы не начать на них бизнес?

Я вздохнула. Делать нечего. Придется идти продавать фиалки... Хм, а это даже к лучшему, а то надоело их постоянно поливать.

Рано утром, умывшись и позавтракав, я сразу же отправилась к шкафу. Простояв возле него полчаса, я наконец-то выбрала, в чем пойти на рынок. Мои сиреневые юбочка и топик отлично сочетались с сиреневыми фиалками. Но передо мной встала проблема. Куда же положить фиалки?

Час спустя, облазив всю квартиру, я нашла большую корзинку, в которую поместила две фиалки. Я вышла на улицу и прогулочным шагом пошла к рынку.

Рынок встретил меня шумом и гамом. Повсюду носились люди. Кто-то что-то кричал, вопил... Я остановилась у длинных деревянных прилавков, предлагая фиалки каждому из продавцов, сидевших за ними.

— Что ты ходишь туда-сюда? Так ничего не продашь, — сказала мне бабуля с кактусами. — Садись к нам, вместе будем продавать.

Я уселась рядом с ними и, достав фиалки, поставила их на прилавок. Стала ждать покупателей. Но ни мои фиалки, ни кактусы бабули покупатели брать не хотели. Тогда у меня в голове созрел план.

— Фиалки! Кактусы! Недорого! — звонко закричала я на весь рынок.

— Покупайте цветы для своей жены, купите колочки для своей тещи!

Не помогло. Чаще всего люди отвечали: «У меня такие уже есть», «У меня и так их много», «Они у меня не приживаются» или «Ты сама как фиалка».

К сожалению, так я продала всего лишь одну фиалку.

3.

— Девочка! — крикнул кто-то.

Я обернулась.

Позади меня стоял незнакомый дяденька.

— Вот, возьми горох, — сказал он. — Съешь, а заодно помолчишь хотя бы немного.

Я взяла горох и улыбнулась: «Неужели я всех достала своими криками?»

Пока я ела горох, продавцы рядом кричали:

— Купите у девочки фиалку! Ребенку нужны деньги на карманные расходы!

— Купите у девочки фиалку! Отпустите ребенка домой!

«Точно достала всех», — подумала я.

Ко мне подошел полноватый мужчина в синей кепке и сказал:

— Покупаю фиалку и корзинку за двадцать пять рублей.

«Издевается», — решила я, показала ему язык и принялась орать дальше. Впрочем, кричать мне пришлось недолго, потому что на меня саму накричала какая-то вредная бабулька. «Видите ли, у нее голова от меня болит!» — возмущенно подумала я.

К пяти часам я все-таки продала последнюю фиалку. Итого — сто двадцать рублей.

Купив себе большую стакан кваса, я направилась к магазину одежды... «Ура! Наконец-то сбудется моя мечта: ах, платье, платье, платье...»

Через полтора года после этой истории мама развела у нас дома целый ботанический сад. А в этом году мы открыли цветочный магазин. Мы с папой обычно обходим его стороной. Нам этих цветов дома хватает.

Галка ГАЛКИНА



Эти статьи — общедоступным языком озвученные чувства людей, следствие измененного сознания и образа жизни, итог 6-ти летнего обустройства своей родовой усадьбы по принципам описанным в книге Мегрэ. К статьям «Ой козлятушки вы ребятушки, да не вышли бы обознатушки» и «Вольному воля» плавно подводят остальные... Статьи цикла написаны непривычным с начала, живым языком смысла в котором написание не искажает корневого значения слов, а знаки препинания не мешают смысловому восприятию текста. Не по ошибке написаны с маленькой буквы некоторые слова, имеющие значимость лишь в настоящее время...

Буква «ш» плюс «ъ» дают «щ» — лишь. При прочтении окончаний «ишь» и «ешь», мы про себя, автоматически исправляем это привычное искажение. Зачем же писать «ъ» за «шуршащими» буквами?

*Евгений Беденко,
Хакасия, Таштыпский район, село Анчул*

Орфография и пунктуация оригинала

Галка ГАЛКИНА:

Вот некоторые люди, недовольные порядком вещей, выходят на улицу и выказывают претензии к властям предрержащим, а Вы, Евгений решили совершить революцию в языкознании. Хорошо еще, что лишь на бумаге. Но ведь поначалу революционная ситуация должна созреть в умах.

Понятно теперь, почему у нас ничего не получается. Мы не овладели во всей полноте и прелести «живым языком смысла», который, пренебрегая всякими этими условностями со знаками препинания и особенно мудренными правилами орфографии, сразу ухватывает за хвост самую суть. Недаром они и зовутся знаками препинания, чтобы нормальные, то есть мы с Вами, Евгений, люди вечно об них спотыкались. А не упразднить ли их совсем к едрене фене?

Так же нельзя не поприветствовать Ваше неприятие «ъ», который не только смягчает реальную картину, но и порой искажает ее до неузнаваемости. И еще неизвестно, что скрывается за всеми этими «ешь» и «ишь»? Вернее, кто? Вот в чем вопрос!

Вот сидит себе человек разумный в тесной комнатульке, пишет трактат, а тут эти постоянно отвлекающие от высокого и оскорбляющие душу думающего человека «ешь». А в стране кризис, вот и думай: ешь — не ешь. А вот мы тапкой его, этот «ъ», чтобы не елозил почем зря и не мешался под рукой.

Пора навести порядок хотя бы на бумаге. А в головах и в жизни уже не обязательно. Само как-нибудь рассосется!

ФАЗА МЕСЯЦА:

**А когда же будет
Гео-парад?**



Оптимистическая комедь

- ☺ *В Москве крепчает коньяк!*
- ☺ *Во мне крепчает настрой!*
- ☺ *Может быть, я — бастард, а может, и барт-хорт?*
- ☺ *Хорошо работать сторожем на бахче!*
- ☺ *Съел арбузы — подтянул рейтузы!*
- ☺ *Вчера купил вторую лыжу, а снег сошел!*
- ☺ *Чувствую себя улетевшей гагарой (почти Гагариным)!*
- ☺ *В космонавты я б пошел, да кончается рассол!*
- ☺ *Пойду выйду на лужок, приходи ко мне, дружок!*
- ☺ *Прилетай ко мне, лебедка, будем жить с тобой вот как!*

Пессимистическая трагедь

- ☛ *А завяжутся ли бананы заново?*
- ☛ *Примет ли НАТО Пилата?*
- ☛ *Что делать МУРу в Муроме?*
- ☛ *Пили три богатыря с января до января!*
- ☛ *Съел я водки килограммчик, спел мне песню тараканчик!*
- ☛ *А пиво принял бочок, спел мне арию сверчок!*
- ☛ *А вина допил баклажку — и увидел Чебурашку!*
- ☛ *Шел я ГУМом, Детским миром с кровососом и вампиром!*
- ☛ *Шел проулком, шел канавкой, а уснул опять под лавкой!*
- ☛ *В новой жизни стану танком и поеду к персиянкам!*



© фото Ольги Рычковой

**SMS'ка, посланная лондонским
молодоженам:
Спокойной ночи!**